

КРИСТА ФОН БЕРНУТ



ТОГДА
ТЫ
УСЛЫШАЛ

Известная читателю по роману «Тогда ты молчал» главный комиссар уголовной полиции Мона Зайлер проводит новое расследование. В убийстве женщины подозревается ее муж, преподаватель интерната, где обучаются дети из состоятельных семей. Жертвами новых убийств оказываются бывшие учащиеся этого интерната. Во всех случаях используется необычное орудие преступления, каждое последующее убийство совершается со все большей жестокостью. Мона постепенно убеждается в том, что преподаватель непричастен к убийствам, а мотив преступлений следует искать в прошлом жертв...

КРИСТА ФОН БЕРНУТ ТОГДА ТЫ УСЛЫШАЛ

Вольфгангу

У нее не получится. Даже сбежать не получится.

Она смотрела на себя как будто со стороны и видела непричесанную женщину, в паническом страхе пробирающуюся через ночной горный лес. На мгновение остановилась, парализованная стыдом: перестать бояться не получалось. «Ненавижу себя», — подумалось, и эта мысль, знакомая, как мантра, на несколько секунд успокоила ее. Колени дрожали, зубы стучали, но дыхание выровнялось. Глубоко вздохнула и подняла голову.

В молочном свете луны впереди показалась небольшая прогалина. Здесь просто невозможно было ориентироваться. Она окинула взглядом неясные силуэты — это могли быть как небольшие скалы, так и холмы, поросшие частым кустарником. Запрокинула голову. В глазах вспыхнула холодным светом полная луна. Вероятно, это чистый осенний горный воздух так на нее действовал. Внезапно, безо всяких романтических ассоциаций, она увидела место, в котором оказалась, таким, каким оно было на самом деле. Над ней сияла мертвая планета, вместе с другими несущаяся во вселенной по вечной и неизменной траектории.

«Луна — это никакая не планета. Луна — это спутник. Ты все путаешь».

Она закрыла глаза, присела на корточки, и ужас вернулся. Она снова слышала стон Петера, признание в любви, которое он лепетал своей бывшей подруге Сабине, смотревшей не отрываясь на капающую свечу и не обращавшей на Петера никакого внимания. Атмосфера в маленькой хижине становилась все более удушливой, пока они один за другим не ушли — или чтобы сдать, или чтобы снова оказаться во власти страхов и бреда. Тогда она решила воспользоваться общим замешательством.

Наверняка напрасно.

«Он все это спланировал», — внезапно поняла она. Открыла глаза: новая мысль, новый страх. «В этом возрасте они принимают любой вызов», — сказал он ей месяц или два назад, вспоминая, очевидно, свою юность, то время, когда он тоже принимал любой вызов, чтобы стать сильнее. Он называл это *joie de vivre*^[1] (до кончиков ногтей — учитель французского языка).

Радоваться жизни. На ее напряженном лице появилась презрительная гримаса. На самом деле именно наркотики вызывали у него сильные чувства, которых боялись остальные: страсть, горе, любовь, гнев, страх.

Но эти времена позади. Теперь ему не нужны были ни гашиш, ни ЛСД, ни алкоголь, потому что у него была она. Долгие годы ей льстило, что она была единственной, кто мог дать ему то, чего ему не хватало, когда он был один. Впрочем, дать — это не то слово. Он просто брал то, что ему было нужно.

Это было в какой-то мере и ее виной тоже, потому что год за годом она это допускала. Поплотнее закуталась в чей-то анорак, который прихватила с собой, потому что свой в спешке не нашла. «Горетекс» на овечьей шерсти был на самом деле слишком шикарным для такой коровы, как она. Не созданной для самостоятельной жизни. Искавшей на всякий случай мужчину, на которого можно было бы переложить все заботы сознательного существования и в благодарность за это отдать ему все, что могла предложить.

Свою красоту, которую все еще можно было разглядеть под маской постоянного недовольства. Свой острый аналитический ум, «заржавевший» от долгого неупотребления,

но который еще вполне можно было восстановить. Свое терпение и дружелюбие — единственные качества, не изменившиеся за все годы.

Или все-таки нет? Может быть, именно поэтому он так вел себя в последнее время?

Вздыхнув, она поднялась и пошла по мокрой от росы траве. Обрато к нему и к остальным. Все это не имело никакого смысла. Сделав несколько шагов, она остановилась. Лунный свет утратил свою бездушность, но по-прежнему искажал контуры предметов и расстояния. Она помешкала, пытаясь сориентироваться. На какую-то долю секунды она чуть было снова не запаниковала. Забыла, откуда пришла. Вокруг нее, на расстоянии двадцати-тридцати метров стеной стояли хвойные деревья.

О чем она думала, когда пыталась сбежать? Было холодно, всего градуса два-три тепла, заночевать в лесу она не сможет — недостаточно тепло оделась. А что, если пойдет дождь? А что, если она не найдет дорогу в долину, даже когда рассветет? Было 28 сентября, погода менялась очень часто.

Впрочем, ему будет намного лучше, если она погибнет. Тогда ему не придется брать ответственность на себя.

Наконец она пошла дальше. Лучше уж было идти куда глаза глядят, неважно, куда, чем мерзнуть, сидя на одном месте. «Как мышь в мышеловке», — подумала она и вздрогнула — настолько это было похоже на правду. На ее собственную правду, это было ее субъективное самоощущение. Она добралась до конца просеки, и ей пришлось пробираться через низкий кустарник, сквозь внезапно наступившую темень. «Когда-нибудь этой темени настанет конец, — утешала она сама себя, — и тогда станет понятно, что делать дальше».

Горько рассмеялась, в настороженной тишине этот звук показался ей странным и неестественным. Казалось, из-за нее природа затаила дыхание. Ощупью нашла пенек, покрытый влажным мхом, и села на него. Слабость навалилась на нее, такая привычная и неотвратимая, что ей стало вдруг абсолютно все равно. Так или иначе, но умереть придется: слишком уж долго она ждала. И произойти это может здесь. Почему бы и нет?

Перед ее внутренним взором возникла картина: она стоит перед полкой в огромном книжном магазине, ошарашенная столь большим выбором, и не может найти того, ради чего заставила себя добираться сюда поездом целый час. Наконец продавщица отвела ее в отдел карманных книг и указала ей на корешок книги. «Со мной такого больше не будет» — было написано прописными черными буквами на белом фоне. И подзаголовок: «Изнасилованные женщины освобождаются».

Это было полгода назад, но она до сих пор не освободилась. Не то чтобы книга не оказалась откровением для нее, напротив. С все возрастающим интересом она обнаруживала в ней одну за другой свои абсурдные стратегии преодоления кризиса, свои модели поведения. Да, для нее было облегчением узнать о том, что существует огромное количество женщин, которые позволяют своим спутникам жизни обращаться с собой, как... ну, как обращались господа со своими крепостными в прошлых столетиях. Долгие годы она отказывалась признаться даже самой себе в том, что *это* не только бывает, но и имеет название. В *этом* нет ничего особенного, ничего уникального, *это* совершенно нормальная ситуация для многих супружеских пар. *Это* уже давно никто не замалчивает. *Это* уже стало темой телепередач — ток-шоу с участием экспертов, — которые она благоразумно выключала, даже если его не было дома. Потому что не хотела принадлежать к той категории женщин, с которыми это случается постоянно. Эти женщины сидели напротив мягко улыбающихся красивых и самоуверенных ведущих и, жалея себя, плакали, вспоминая о

своем несчастье. Неудачницы, которые не могли управлять своей жизнью.

Такой она не хотела быть. И когда она ни с кем не говорила об этом, то могла представить себе, что *этого* никогда больше не произойдет. Если она будет правильно себя вести.

Спустя годы она все еще верила, что справится. До тех пор, пока не делала очередное неверное движение. Или очередное неосторожное замечание, или говорила слишком много и не вовремя, или вообще ничего, или забывала, что он терпеть не может, когда она, моя посуду, открывает кран на полную мощность — *тратит воду зря*, — или что он не любит, когда она оставляет письма в кухне, вместо того чтобы отнести их на письменный стол, *где им и положено быть, Боже ж ты мой!* Он думал, что она делает это нарочно. Нет, он *притворялся*, будто думает, что она делает это нарочно, — тогда у него появлялся повод сделать *это*. Но самое странное было то, что отчасти он был прав. Иногда ее охватывало идиотское самоубийственное желание совершенно сознательно подыграть ему. Хотя бы для того, чтобы заслужить его доброе отношение. Чтобы, по крайней мере, активно поучаствовать в процессе. Самым неприятным, кроме боли, было понимание, что ничто из того, что она делала или не делала, не имело абсолютно никакого значения.

Она купила книгу, потому что ее всегда можно отложить в сторону, если покажется, что уже слишком. Поначалу «слишком» наступало очень быстро, а последние главы она буквально проглотила. Все, что она вынесла из прочитанного: сама она положить этому конец не сможет.

Одни преступники пили, другие не прикасались к алкоголю вообще. Одни были безработными ремесленниками, другие (такие, как он) — уважаемыми академиками с постоянным заработком. Одни вели себя на людях агрессивно, другие (такие, как он) подчеркнута сдержанно. Одни считали само собой разумеющимся вымещать свою агрессию на самом близком человеке, другие (такие, как он) выстраивали сложные стратегии оправдания, служившие для того, чтобы обвинять в своем поведении партнершу. Общим у них было только одно: отношение к близким по своей воле они не меняли. У женщин была возможность или бросить мужа, или, применив различного вида угрозы, заставить лечиться. Но о лечении она не думала, можно было даже не пробовать. Он считал, что это *у нее* проблемы, а не у него.

— *Да сиди, Боже ж ты мой! Это всего лишь лед, чтобы синяка не было. Да-да, возьми его в руку, приложи к шее, и опухоль тут же спадет. Я знаю, не надо было так... Ты просто-напросто не можешь понять, что эти твои бесконечные разговоры с сестрой по телефону портят мне вечер. Я сижу целый день, проверяю тетради, и мне потом нужно отдохнуть...*

— *Я тебе не мешала. Я специально ушла в спальню.*

Слабенький вежливый упрек, но все равно она ловит ртом воздух, шокированная собственной смелостью. Здесь, в ванной, так мало места, так много гладких твердых поверхностей и углов, которые легко отмываются. (Она могла бы поклясться, что даже в приступе сильнейшей ярости он обращает внимание на такие мелочи. Никогда не вспылит в кабинете, в его святая святых.) Когда он легонько проводит рукой по ее щеке, она непроизвольно сжимается. Он не знает, но прикосновения сразу после этого она просто ненавидит. Часто он бывает после этого нежен, иногда даже хочет спать с ней. Намерение благое — восстановить близость, поэтому, как правило, она стискивает зубы и

не сопротивляется. Но в этот раз — она и сама не может объяснить, что на нее нашло, — в этот раз она просто-напросто отстраняет его руку и смотрит в глаза. Не опускает взгляд, как обычно, чтобы казаться как можно незаметнее.

Она с ума сошла... Вот сейчас снова начнется, и тогда уже не посмотреть даже фильм поздно вечером, что всегда помогало ей отвлечься от боли.

Но ничего не происходит. Проходит томительная минута, он опускает руку, как-то неловко, как будто она и не его вовсе. Тишина. Она сидит на краю ванны и негнущимися пальцами прижимает лед к шее. Он с недоумением смотрит на нее, как будто это и не она, а какой-то совершенно чужой человек, потом поворачивается и уходит.

Это начало конца. Она нарушила неписанный закон, который раньше не смогла бы даже сформулировать.

«Не отождествляй меня с тем, что сейчас произошло». Наверное, так.

Она вскочила. На несколько секунд она действительно задремала. Посмотрела на часы: половина третьего. Больше всего ей сейчас хотелось бы лечь на холодную влажную землю, но она знала, что этого делать нельзя. Может быть, стоило позвать на помощь. Но здесь никого нет. А из той группы, которая в хижине, уже никто никому не сможет помочь, а ей и подавно.

Никто, кроме него, конечно же.

Интересно, как он мог бы ей *помочь*?

Идти. Нужно идти. Не важно, куда. Напрягаться не хотелось совершенно, но она поднялась, потрясла правой ногой, онемевшей от холода, и медленно пошла дальше. На ней были тяжелые горные ботинки. Она шла вниз и просто надеялась на то, что случайно наткнется на что-нибудь знакомое. На тропу, ведущую в долину. Или на дорогу к хижине. Если повезет. Она начала тихонько напевать какую-то мелодию. Как будто у нее не было никаких проблем. Как будто она не была здесь одна-одинешенька.

С того самого дня, когда она оттолкнула его руку и не опустила взгляд, *это* приобрело иное, совершенно новое качество. Он просто молча делал то, что, по его мнению, должен был делать, без всяких предварительных объяснений и обоснований, произносимых хорошо поставленным голосом, которые раньше были обязательной частью программы. Похоже, он не хотел дать ей ни малейшей возможности разоблачить себя. Боялся, что она узнает тайну Синей Бороды.

На самом деле ничего этого не было. Она так и не смогла понять, почему он *это* делает. Она только догадывалась. За все эти годы она ни разу не спросила: «Почему?» Потому что была уверена: он и сам не знает этого (и даже не хочет узнать). Она не сомневалась, что он все равно свалит вину на нее.

Может быть, дело было в этом. Он понял, что не может мирно сосуществовать с такой женщиной, как она. Поэтому он решил от нее избавиться.

С того самого дня ее не покидало чувство, что он хочет от нее избавиться. От этой мысли ее всегда пробирала дрожь.

Ничего хорошего больше не было. Таких вечеров, как раньше, когда они разговаривали о Боге и мире, о политике, фильмах и немецкой системе школьного образования. Таких ночей, когда он был только нежен и страстен, без малейших признаков злобы и агрессии. Всего этого с годами становилось все меньше. Но с того дня прошло уже два, вернее, даже три месяца, и все это время, кроме тех периодов, когда у него было *это состояние*, он просто не

замечал ее. Как будто хотел, чтобы она поняла: такого больше не будет. Казалось, каждый его равнодушный или нервный взгляд говорил ей: уйди же, наконец. Оставь меня в покое.

Разумеется, их связывала тайна, которая не должна была стать достоянием общественности. Допустим, он действительно разведется с ней — как он может быть уверен в том, что она из чувства мести не заговорит, не расскажет всем о том, что долгие годы прятала глубоко в душе? К примеру, на бракоразводном процессе, когда речь пойдет о выплате алиментов. Его поведение сделало его уязвимым для шантажа, и он, конечно же, это знает. Есть гинеколог, которая видела синяки на ее животе, груди и бедрах и сделала соответствующие выводы (она, конечно, все отрицала, но так поступают все женщины в подобной ситуации). Были свидетели. Понимает ли он это?

Может, поэтому он никогда не говорил о разводе? Потому что хотел уладить все иначе?

Она знала, что существует опасность помешаться на этой идее. Но чем больше она об этом думала, тем больше ей казалось, что все сходится. И его раздражение из-за того, что она ему как колодки на ногах, она ведь себе не придумала. Оно было совершенно реальным, очевидным, даже осязаемым. Иногда ей казалось, что она чувствует между лопатками его взгляд — жгучий из-за отвращения, охватывавшего его.

От осознания этого был всего один маленький шаг до ее — допустим, ужасного — подозрения. Какие же есть у него возможности избавиться от нее надежно и окончательно? Даже при относительно мирном завершении бракоразводного процесса существовал риск, что однажды она все-таки заговорит. Например, она могла каким-то образом предупредить его новую женщину — а она у него вскоре непременно появится. Даже заявить на него. И тогда конец его карьере, положительному имиджу, к тому же его обвинили бы в преступлении. Возможно, он даже знал о тех снимках «поляроидом», которые она тайком сделала неделю назад, после того как *это* произошло последний раз. Она хорошо спрятала их, но вполне вероятно, что он их все-таки нашел, тогда это стало для него последней каплей. Потому что зачем ей делать такие фотографии, если она не собирается их использовать против него?

И разве не было частью его хитроумного плана то, что он захотел, чтобы она непременно сопровождала его в походе в одинокую хижину в горах, где не было ни электричества, ни телефона? Потенциальных свидетелей, своих учеников, он ловко исключил из игры. В их теперешнем состоянии они ничего не заметили бы, даже если бы на них упала бомба.

Впереди показалось сероватое пятно, которое понемногу увеличивалось. Был ли это знак? Внезапно она улыбнулась, несмотря на то что было холодно и у нее онемели руки и ноги. Пожалуй, она теперь точно знала, что делать. В ее ситуации выходов было немного. Нужно было решиться: да или нет. Хочет ли она, чтобы муж, которому она никогда в жизни ничего плохого не сделала, убил ее? Нет, нет! В течение всей их совместной жизни она, по возможности, старалась систематически тренировать в себе мужество, уверенность, желание жить. До того самого дня, когда поняла, что удивительным образом сохранилось остаточное сопротивление, сломить которое он не мог. Всего лишь зародыш бунта, одна маленькая клеточка, и никто не смог бы сказать, жизнеспособна ли она, может ли она размножаться, но — она была.

А это значило, в данной ситуации, что, возможно, у нее все-таки получится. Жить без него, который до настоящего момента был центром ее вселенной, ее чувств и мыслей, ее страстей и страхов. Возможно, вообще жить одной, без мужа. Всегда знала, что она кто

удобно, только не «эмансипированная женщина». Всегда, еще с тех пор, когда была молодой девушкой, она мечтала о самой обычной, традиционной семье, чтобы было много детей и чтобы муж был главным. Но она не забеременела, а он отказался идти к врачу и выяснять причину своего бесплодия (дело наверняка в нем, с ней точно все в порядке). Так и вышло, что она стала всего лишь частью супружеской пары, не семьи, и до недавнего времени она считала, что придется этим удовлетвориться. Оказалось, совершенно не обязательно. В общем-то, она еще достаточно молода, чтобы начать все сначала. Может быть, даже удастся забеременеть. Сейчас многие женщины рожают после сорока. Она вовсе не обязана проводить остаток своей жизни с мужчиной, который ее...

Даже мысленно она не могла дать *этому* название. Но сейчас это была не самая большая проблема.

Серое пятно увеличилось, шагала она теперь увереннее и быстрее, пока не вышла на скалистое плато, показавшееся ей знакомым. Вид, который открылся ей, был просто чарующим. Прямо под ней чернело ущелье, из которого, как будто из ниоткуда, поднималась отвесная скала, белоснежная в свете луны. Легкий ветерок, от которого трепетала листва, внезапно стих, тишина стала просто всеобъемлющей, жуткой, нереальной. И внезапно она поняла, где находится: возле самой хижины. Сомнения отпали: придется все начинать сначала. И от этой мысли все ее мужество, которое она ощущала еще минуту назад, словно испарилось.

Сзади раздался шорох. Или это какой-то ночной зверь хрустнул веткой? Хотела обернуться, но тут же передумала, как будто у нее возникло подозрение, которое лучше было не проверять. Снова что-то хрустнуло, на этот раз точно ветка. Что-то приближалось к ней сзади. Человек. Захотелось обернуться и что-нибудь сказать, но тут эта железная штука оказалась у нее на шее. Врезалась, рассекла кожу. Было очень больно. Она попыталась просунуть пальцы между тонкой проволокой, которая перекрыла ей воздух, и шеей, но хватка была слишком крепкой. Ударила локтем назад: так сильно хотелось жить! Только теперь она поняла, насколько! Но это не помогло: жуткая боль отняла все силы. Еще успела подумать: «Если я притворюсь, что потеряла сознание, и упаду, то...» Но было слишком поздно пытаться проделывать такой трюк. Несмотря ни на что, смерть ее была похожа на мягкое падение в сияющий волшебный мир.

— Три-три-один, три-три-один, — напевают девушки.

— Выбери меня! — кричит одна из них, в белье с рюшечками, и гладит свои огромные груди.

— Позвони! Мне! — приказывает хозяйка в темном кожаном бикини, которое глубоко врежется ей в кожу.

Пульт со стуком падает на пол, и Мона просыпается.

Забыла выключить свет. Лампочка без абажура освещает уродливый шкаф из темно-коричневой древесной плиты, серый ковер с выцветшим пятном возле подоконника, не полностью распакованный чемодан, хотя отпуск уже недели две как закончился. Телевизор, стоящий напротив кровати, работает чересчур громко. За окном темно.

Наверное, сейчас часа два или три, кому-нибудь звонить или идти гулять слишком поздно, вставать слишком рано. Надо спать. Она ненавидела это время. Часы между двумя и четырьмя ночи — это время самого большого одиночества.

Иногда помогает стараться не заснуть. Бывает, она тут же засыпает. А вот от чего точно не заснуть — так это от мысли, что завтра предстоит трудный день.

Завтра предстоит трудный день.

Задумалась, не посмотреть ли, пришел ли Лукас. Потом вспомнила, что Лукас сегодня ночует у отца, и тут же провалилась в глубокий сон.

Гравелоттенштрассе, недавно отреставрированный старый дом с желтым фасадом. На въезде стоят две полицейские машины с включенными мигалками, перегородили улицу так, что нельзя проехать. Мона припарковала автомобиль во втором ряду. Шесть часов утра, еще темно и холодно. Журналисты разбежались, все разбежались. В дверном проеме стоит, скрестив на груди руки, мужчина; свет на него падает сзади, поэтому хорошо виден только его силуэт. Вполне вероятно, это Фишер. Она велела ему ждать ее. Раз уж так вышло, что ее известили слишком поздно, на целых два часа позже, чем остальных членов первой комиссии по расследованию убийств.

Это Фишер. Мона подходит к нему и видит, как мрачнеет его лицо при виде ее. Она женщина, но ее назначили его начальником.

— Что там у оперативной группы? — спросила она, когда они вместе вошли в крошечный лифт и оказались слишком близко друг к другу. Она пыталась быть с ним приветливой. Он не виноват, что ее не известили.

— Они уже многое сделали. Сейчас отдыхают.

— Перерыв, да? Рановато.

Фишер и не думает улыбаться, он, не отрывая взгляда, смотрит на потолок. Лифт приходит в движение. В неярком свете, падающем сверху, Мона замечает, что его короткие темные волосы на лбу уже редуют. Представляет себе, как он каждое утро внимательно и обеспокоенно разглядывает свои залысины. А ведь он еще молод, ему, наверное, лет двадцать пять — двадцать шесть. Под глазами темные круги. Он с четырех утра на ногах.

КРУ 1 в полном составе была на месте, и она, новый руководитель комиссии, должна быть с ними с самого начала. И кто виноват, что она оказалась на месте преступления последней?

— Бергхаммер был? — спросила она.

Бергхаммер — начальник 11-го отделения, к которому относятся пять комиссий по расследованию убийств. В таких случаях, как это дело, которое обещает стать громким, он всегда тут как тут.

— Да, — ответил Фишер.

Мона закрыла глаза. Бергхаммер был здесь, все были, кроме нее.

— А как это все выглядит? — спросила она.

— Его зарезали. Я бы сказал, чем-то необычным. Сейчас увидишь.

— Кто-нибудь из дома?..

— Никто ничего. Никто ничего подозрительного не заметил, никто ничего не видел, ну и так далее. Трое еще здесь. А до этого была целая толпа. Пришлось на людей по-настоящему накричать, чтобы они убралась.

Слегка дернувшись, лифт остановился на пятом этаже, и двери открылись. Фишер жестом показал на деревянную лестницу, ведущую наверх.

— Он живет на седьмом этаже. В мансарде. Вероятно, эта мансарда была пристроена позже.

— М-м-м.

Они поднялись на нужный этаж и надели белые защитные комбинезоны, лежавшие возле двери.

— Неплохо, правда? — сказал Фишер, верно истолковав молчание Моны. Квартира — нечто вроде «лофта»^[2].

Прихожей нет, есть огромная комната с высоким потолком и сужающимися кверху стенами, с «французским» окном высотой, по меньшей мере, три с половиной метра, с прилегающей к нему террасой, для сооружения которой застройщику, должно быть, пришлось подкупить не одного чиновника из Комиссии по земельному строительству федеральной земли.

— Это единственная комната? — спросила Мона.

— Так только кажется. — Фишер ухмыльнулся. — За ней есть еще спальня, кухня и ванная.

— А жертва?

— В спальне. Выглядит ужасно.

— Ясно. Но этот труп у меня не первый.

— Я имел в виду, что это выглядит действительно жутко. — Фишер снова скорчил обиженную мину.

Мужчина лежит на полу, голый, руки и ноги слегка раскинуты. Из глубокой засохшей раны на шее вытекло столько крови, что светлое ковровое покрытие окрасилось в красноватый цвет. Лицо у мужчины серо-синее. Глаза закрыты, кажется, что он спит. Странно, потому что обычно глаза у мертвых хоть чуть-чуть, но приоткрыты или уж крепко зажмурены. Убийца, очевидно, уже после всего опустил ему веки. Окно закрыто, в комнате стоит неприятный запах. Может быть, дело в отоплении, включенном до упора. Видимо, из-за этого уже начался процесс разложения.

Нет. Это не запах тления, слишком рано. Мертвец обделался.

Мона видела жертв уличных разборок, попрошайек с пробитыми черепами и женщин, избитых жестокими мужьями, но здесь все было иначе.

Обычно ей не приходилось с таким сталкиваться. Интеллигентная атмосфера. Красивые

мертвецы. А вот лужа крови, искаженные черты лица — это отталкивающее и похоже на фильм ужасов.

Фишер прервал молчание.

— На первый взгляд можно подумать, что кто-то перерезал ему горло.

— Но?.. — продолжила Мона фразу.

Заставить себя подойти ближе Мона не смогла. Пока не смогла. Странно, потому что она не брезглива. И дело не в запахе. Трупы, начавшие разлагаться, воняют куда хуже.

— Ребята из отдела криминалистической экспертизы хотели дождаться твоего прихода, прежде чем начать работу.

— Ну хоть кто-то! Как любезно!

— Посмотри на края раны, — сказал Фишер, не обращая никакого внимания на ее саркастическое замечание, но голос его все же стал немного добрее.

Моне все-таки пришлось подойти к мертвецу и склониться над ним. При этом она старалась дышать не глубоко и говорила сквозь зубы.

— Края раны какие-то рваные, если тебе интересно мое мнение, — донесся сзади голос Фишера.

Он был горд собой и говорил взволнованно. Хочет, чтобы его похвалили, ясное дело. Это не трудно, а вот атмосферу может разрядить.

— Э, хорошо, — сказала Мона. — Кажется, ты прав. Может, нож был не слишком острым.

Жуткая мысль. В таком случае смерть была более мучительной.

— Или это был совсем не нож.

— А?.. — Она воспользовалась возможностью отвернуться от трупа.

— Гаррота, — сказал Фишер.

— Что?

Хорошо бы сейчас на свежий воздух.

— Гаррота. Проволока с двумя ручками на концах. Все происходит очень быстро, оружие не нужно, шума никакого.

— Вот как. — Она медленно начала отходить к двери.

— Именно. — Фишер двинулся за ней.

Наконец они снова в гостиной. Стоять в такой огромной комнате глупо. Сесть не на что.

— Откуда ты знаешь? Ну, про гарроту?

— Из полицейской школы. Может, читал где-то.

— Звучит... э... убедительно. Кто он такой, собственно? Фишер вынул блокнот из кармана брюк и зачитал: «Константин Штайер, арт-директор и один из управляющих рекламного агентства «Вебер и партнер», что на Гизелаштрассе».

— Арт-директор? Что это такое?

— Что-то вроде главного чертежника. Отвечает за оформление рекламы.

— Сколько ему лет?

— Тридцать девять. Родился в Ганновере. С семнадцати лет проживал в Мюнхене. Учился здесь. Насколько нам известно, против него ничего нет. Даже по Фленсбургскому штрафному регистру.

— Кто его обнаружил?

— Его девушка, Карин Столовски.

— Когда?

— По ее словам, сегодня в три часа ночи. Вот так он и лежал. Она его не трогала. При виде трупа у нее началось что-то вроде истерики, она выбежала из квартиры, поехала на велосипеде к себе, рассказала все своей соседке, которую разбудила, и они вместе с ней и парнем соседки приехали сюда — ну, короче говоря, в четыре часа они вызвали патруль. Она уехала только двадцать минут назад.

— Кто?

— Карин Столовски, кто же еще? Домой ехать не захотела, плакала все время. Говорит очень быстро — совершенно не так, как здешние жители.

— А почему в три часа ночи? Я имею в виду, зачем она приехала к нему? И что она делала до этого?

— Карин Столовски говорит, что они поссорились. Она рассказала, что нарезала круги по городу на велосипеде, потом зашла в бар выпить, а потом поехала к нему мириться. Может быть, здесь не обошлось без кокаина или экстази.

— Откуда такая мысль? В квартире нашли наркотики?

Фишер затряс головой, как будто вопрос был совершенно неуместен.

— Ничего подобного не нашли, но это ведь еще ни о чем не говорит. Все они что-нибудь да принимают. *Для повышения креативности*, ха-ха.

И он презрительно скривился. Мона вспомнила, что раньше он, кажется, работал в отделе по борьбе с незаконным оборотом наркотиков.

— Когда они расстались со Столовски? — спросила она.

— Около половины двенадцатого.

— Кто-нибудь видел ее?

— Может быть, в баре, где она сидела с половины двенадцатого до двух и пила. Она не уверена.

— То есть, никто.

Фишер переступает с ноги на ногу, как будто куда-то торопится. Он вообще не может стоять спокойно. Теревит себя за губу, то скрещивает руки, то опять опускает, то засовывает в карманы брюк, то вынимает... Действует ей на нервы. А еще эта скрытая враждебность...

— Ты не можешь стоять спокойно?

— Я спокоен. Если тебя раздражает мое поведение...

— Ладно. Проехали. Ты просто очень беспокойный тип.

— Вовсе я не беспокойный тип, ты что, совсем? Психолог, что ли?

— А еще ты, наверное, очень впечатлительный. Это была вовсе не критика, так, просто соображение.

Фишер понемногу успокоился.

— Это надо проверить, — сказал он.

— Что?

— Слушай... — Он на секунду закрыл глаза. — Алиби Карин Столовски.

— Что она за человек?

— Двадцать девять лет. Учится на юриста, заканчивает четвертый курс.

— И? Какое впечатление производит?

— Нормальное. Только лицо заплаканное.

— Где она сейчас? — немного помолчав, спросила Мона.

— Патрульная машина отвезла ее домой. Она живет в Швабинге^[3], на Кенигштрассе.

— Она одна?

— Нет, с ней соседка. Ждала ее дома.

— Тогда поехали, — сказала Мона.

— Честно говоря, я не думаю, что ее сейчас можно допрашивать.

— Вполне вероятно, но я хочу на нее хотя бы посмотреть, чтобы составить собственное мнение. Позвони в отделение, хорошо? Перенесем утреннее совещание на половину девятого.

Карин Столовски плачет, и, кажется, не похоже, что собирается в ближайшее время успокоиться. Пожалуй, ее стоит положить в больницу или хотя бы отвести к психологу. Есть психолог в отделении, но пострадавшие редко прибегают к его помощи. Им говорят о такой возможности, но они, очевидно от волнения, забывают об этом. А когда потом они о нем вспоминают, уже после разбирательств в полиции, после похорон — наверное, уже не решаются к нему обратиться.

Карин Столовски сказать нечего. Она встречалась с Константином Штайером всего лишь три с половиной месяца, и, по ее словам, они были счастливы вместе. Ничто не указывает на то, что убийца — она. Мотива тоже нет: соседка, не колеблясь ни секунды, заявила, что «Константин и Карин страшно любили друг друга». Ничего.

— А вы знаете коллег и друзей господина Штайера? — спросила Мона.

Должно было прозвучать успокаивающе, но, видимо, не прозвучало. Мона не очень хорошо умеет утешать.

— Не всех, — сказала Карин Столовски.

Столько плакала — голос слабый и хриплый. Лицо не накрашено, и в свете неоновой лампы общей кухни оно очень бледное, возможно, и от бессонной ночи. Пальцы машинально приглаживают густые короткие волосы.

— Есть кто-нибудь, с кем ваш парень ссорился?

— Нет. Не знаю. Конни был... — И снова горькие слезы.

Фишер стоит у кухонного окна и упорно смотрит на стену дома напротив. На улице постепенно светает. Мона берет Карин Столовски за руку. Рука очень мягкая, как будто прозрачная. Детская рука, с облезшим малиновым лаком на ногтях. Мужчинам такие руки нравятся. Они ассоциируются с роскошной жизнью. Руки Моны сильные, с коротко стриженными ногтями.

— Видите ли, мы бы с удовольствием оставили вас в покое. Но вы — наша, может быть, самая важная свидетельница. Если вы ничего не сообщите нам, мы, вероятно, никогда не найдем убийц вашего парня.

Может, она слишком давит на нее? Всхлипывать девушка, по крайней мере, стала тише. Соседка подала ей платок, чтобы та могла вытереть слезы, и наконец Карин Столовски сказала:

— Он не распространялся особо по поводу своей работы. Владельцы агентства, должно быть, идиоты.

— Как это? — спросила Мона, надеясь, что это зацепка.

— У Конни было... было... очень много идей, очень классных творческих идей, но владельцы агентства такие люди, которым лишь бы ничего нового не пробовать, для них нет ничего лучше старого и проверенного. Они абсолютно не признавали таланта Конни.

— Вот как.

Не вышло.

Фишер и дальше продолжает притворяться, что его ничего не касается. Придется все делать самой.

— Конни хотел уйти оттуда. Уже давно. Но работа в «Вебер и партнер» довольно хорошо оплачивалась, кроме того, работать только на себя сегодня довольно рискованно...

— Поэтому он остался.

Сотрудник, который считает себя лучше начальника. По такой причине даже босс-холерик не пойдет на убийство.

— А так Конни все любили. Врагов у него не было, для этого он был слишком... — Снова всхлип. И полный упрека взгляд соседки — мол, какая же полиция бесчувственная!

Мона встала, Фишер наконец-то оторвался от подоконника.

— И что теперь? — спросила соседка уже в прихожей. — Вы еще придете, или на этом и все?

Мона посмотрела на нее. Лицо соседки бледное, немного опухшее. Длинный свитер скрывает фигуру. Не такая заметная, как Карин Столовски. Чем-то вся эта ситуация ей очень даже нравится. Теперь Карин полностью принадлежит ей.

— Вы ее подруга?

— Да. Ну да. В принципе, да.

Если у Карин нет на примете кого получше.

— Позаботьтесь о Карин. Ей сейчас нужна поддержка.

— А вы? Я хотела спросить, нужно ли Карин еще раз приезжать в участок?

В участок. Это она по телевизору слышала.

— Ей нужно будет прийти в отделение, как только ей станет лучше. Нам нужно знать, что произошло вечером накануне убийства. Так что уезжать ей сейчас нельзя. По крайней мере, не предупредив нас. Вы передадите ей?

— Я скажу ей.

— Твоя помощь была просто неоценима.

Фишер молчит. В машине пахнет дымом. Мона вспомнила, что еще не завтракала. В желудке — черная дыра. Больно. Если сейчас что-то съесть, очень может быть, что ей станет плохо. Снова дошла до ручки. Это все из-за того, что у нее часто бывает бессонница.

— Эй, я с тобой разговариваю!

— Ты же все держала под контролем. — Фишер завел машину, как будто разговор его вовсе не касался.

— Что ты имеешь в виду?

Фишер повернул на Леопольдштрассе.

— Классный допрос. Ты даже не спросила, что произошло вечером. Ты могла хотя бы попросить составить список людей, которые знают Штайера.

— Она была совершенно невменяемая. Кроме того, ты можешь поучаствовать в следующем допросе и делать все, как считаешь нужным. Я не стану навешивать замок тебе на рот только потому, что я твоя начальница.

Фишер снова замолчал. Одной рукой, расслабленно, ведет машину и делает вид, что Моны здесь вовсе нет. И как на это реагировать? Никак? Попробовать поговорить по-хорошему? А может быть, «по-хорошему» — это не что иное, как трусость перед подчиненным?

Это ее первая настоящая должность руководителя. С тех пор как она начальник, ей платят по категории А12. Раньше платили по А11 — она была главным комиссаром уголовной полиции, теперь — по А12, но она по-прежнему главный комиссар уголовной полиции. Со всеми этими ступеньками иерархии очень легко можно запутаться. ГКУП де люкс — так называется ее должность в среде посвященных. Достигнет ли она когда-либо А13? Тогда она стала бы первым главным комиссаром уголовной полиции — ПГКУП. Мона непроизвольно вздохнула. Тогда можно было бы позволить себе отправить Лукаса в международную школу. Учеников этой школы утром забирают на автобусе, а после обеда привозят обратно. И Лукас будет учить английский и французский, а ей не придется постоянно беспокоиться о том, занимается ли он на продленке и следят ли там за тем, чтобы он делал домашние задания, и все такое прочее.

Но если так будет дальше продолжаться, об этом придется забыть. Может быть, дело в том, что она устала. Внезапно ей показалось, что десяти минут сна будет вполне достаточно, чтобы почувствовать себя лучше. Иногда в такие дни ни о чем другом думать не получалось.

Очень странное чувство — узнать о смерти знакомого из газеты. Ну, скажем, узнать об этом больше. В принципе, она уже знала. Она сразу же купила вечерний выпуск «Абендцйтунг» — на первом этаже Центрального вокзала, там, где на холодной плитке сидят торговцы и предлагают свой товар. А она даже жила не в этом районе.

Когда она прочла заголовок «Ужасное убийство в Найдхаузен», было очень трудно оставаться спокойной. Охотнее всего она бы прочла газету тут же, но это могло показаться подозрительным. С другой стороны: ну и что? Она — просто безмянный прохожий, развернула газету на ступеньках и читает, что в этом подозрительного?

Долго колебалась, а потом поднялась с неп прочитанной еще газетой на эскалаторе в главный зал вокзала, оттуда вышла на одну из платформ и села на скамеечку. Это было ее постоянное место, и здесь она часто сидела целыми днями. Турки и итальянцы, которые, ловко огибая прохожих, носились по платформе со своими багажными тележками, похожими на гусениц, уже знали ее, приветственно махали ей рукой, но принимали то, что она не очень-то разговорчива, как должное.

И она раскрыла газету.

Жестокое убийство известного мюнхенского графика — полиция блуждает в потемках

39-летнего дизайнера Константина Ш., лежавшего в луже собственной крови, нашла его девушка. В три часа ночи она пришла к нему на квартиру на Гравелоттештрассе и в спальне сделала это ужасное открытие. По предварительным данным полиции, Константину Ш. самым жестоким образом перерезали горло. Убийца пока что не обнаружен. Мотив не известен. Друзья называют Константина Ш. приятным, щедрым человеком, у которого не было врагов. «Он и муху бы не обидел», — по словам шокированной соседки, такое впечатление производил Константин Ш. на всех. Креативный директор Швабингского рекламного агентства пользовался уважением коллег и сотрудников. Один из них сказал: «Я просто не могу осознать этого. Мы все скорбим по этому замечательному человеку».

И так далее, и тому подобное. Приятный человек, вот как! О да, Конни был чертовски

приятным человеком — всегда, когда это было ему удобно. Если же нет, он вел себя, как...

От того, что теперь он мертв, она ощутила глубокое, нездоровое удовлетворение. Все-таки она его победила. Он был таким живым, что в его присутствии она иногда чувствовала себя как зомби, но теперь с этим покончено. Она свободна. Зависть, последствие безответной страсти, ушла раз и навсегда. Теперь не нужно ненавидеть себя за то, что не может быть такой, как он. Она победила.

Мертвецы всегда проигрывают. Теперь ничего из того, что они когда-либо пережили, сделали и оставили после себя, не имеет значения. Ну хорошо, были Гете, Бетховен или — ну ладно — Гитлер; о них не скоро забудут после их смерти. Но Конни был всего лишь художником-неудачником. Она не смогла удержаться от улыбки и сильнее склонилась над газетой, затем быстро бросила взгляд направо, налево, чтобы проверить, не следит ли кто-нибудь за ней.

И в этот момент она услышала визг тормозов подъехавшего автомобиля. Она подняла глаза и с удивлением обнаружила, что платформа полна людей, которые тащили свои сумки мимо лавочки, на которой она сидела, и смотрели так, будто она, спокойно сидящая здесь и никого не трогающая, намеренно кого-то обидела. Звуки, доносившиеся отовсюду, не стихали, а, наоборот, обрушились на нее со всей силой. Смех, болтовня, скрежет тяжелых, перетаскиваемых по брусчатке чемоданов, глухое топанье резиновых подошв, острое постукивание высоких каблучков — все это вбивалось ей в мозг. Нужно было уходить от этих невыносимых звуков.

И тут же ей расхотелось идти обратно в свою квартиру, в это отхожее место. Постепенно она осознала, что какое-то время действительно думала, что хотя бы смерть Конни сможет что-то изменить в ее жизни. Но ее жизнь осталась такой, какой и была, вне зависимости от того, есть Конни или его нет. Пусто. Теперь ощущение пустоты вокруг нее усилилось, потому что одного из тех, кто так долго занимал ее мысли, больше нет.

Ничего не изменилось в ее положении. Напротив, все стало еще хуже. Она поднялась, аккуратно сложила газету и медленно пошла к выходу.

Когда семь лет назад Мона пришла в 11-ое отделение, в комиссию по расследованию убийств, на собеседование, она чуть не заблудилась. Сначала она обнаружила себя у входа в забегаловку в восточном стиле, потом перед «Пицца Хут», а потом поняла, что здание, которое ей необходимо, находится как раз между ними. Ничто на этой улице, расположенной неподалеку от Центрального вокзала, не указывало на присутствие полицейского учреждения. Само здание производило впечатление заброшенного, как и весь район, в котором оно находилось. Здесь были расположены отделения с 11-го по 14-е: комиссия по расследованию убийств, отдел судебно-медицинской экспертизы, отдел по борьбе с организованной преступностью, по борьбе с торговлей людьми, с проституцией и оперативный отдел, известная профильная группа Бергхаммера. Долгие годы Мона была закреплена за КРУ 3.

«Хотелось бы видеть на этом месте женщину, — сказал тогда ей Бергхаммер, после того как предложил повышение — должность руководителя КРУ 1. — Но тебе будет нелегко».

Сегодня она понимала: ей предложили эту должность, как прокисшее пиво. Возможно, ей тогда стоило поинтересоваться, не было ли других претендентов. С другой стороны, такие вопросы не задают, если хотят получить повышение.

Новое бюро Моны занимало помещение площадью двенадцать квадратных метров и казалось еще меньше, потому что слева и справа на полках возвышались толстые папки-регистраторы. Поскольку она проработала здесь всего десять дней, времени разобраться даже с самыми свежими записями еще не было.

Зазвонил телефон. Внутренний звонок.

— Мона, все уже на месте.

Совещание!

— Уже иду.

Она — единственная женщина, занимающая руководящую должность. Коллеги, которые за многие годы совместной работы знали ее, по крайней мере, в лицо, со времени этого повышения стали смотреть на нее, как на какую-то диковинную зверушку, если не отводили взгляд. Никто не вел себя по отношению к ней невежливо или открыто враждебно, но как только она входила в комнату, все разговоры прекращались и лица говоривших становились ничего не выражающими и замкнутыми. Или еще хуже: что бы она ни сказала, это тут же, с ошеломляющей быстротой либо принималось на веру, либо же пропускалось мимо ушей.

Если она все это себе не выдумала, это называется моббинг, но понимание этого ни к чему не ведет. После нескольких самоубийств подвергшихся унижению женщин-полицейских руководители отделений решили принять меры, направленные против дискриминации женщин. Как это выглядит на практике, она теперь видит сама. Прошибить стену молчания невозможно. Скорее, нужно притворяться, что ее просто нет. Тогда появляется шанс, что со временем эта стена исчезнет — взаимопонимание может этому поспособствовать. По крайней мере, в этом Мона пытается убедить себя каждое утро, когда снова с большой неохотой идет на работу, которая, конечно, не идеальна, *но все же лучше, чем никакой*.

Мона открывает дверь в конференц-зал. Ее встречает гул голосов.

— Этого не может быть! Я не верю!

— Я тебе точно говорю! Сам посмотри!

— Что случилось? — спрашивает Мона. Прямо, непринужденно — так, как, по ее мнению, должна спрашивать начальница.

Пятеро мужчин и одна женщина поворачиваются к ней, замолкают, опускают взгляды. Мона глубоко вздыхает и обращается к Фишеру:

— Ганс, может быть, ты мне скажешь, о чем речь?

Фишер борется с собой, раздумывая, стоит ли ее посвящать. «Кто-кто, — подумала она, — а он обязан ей сказать, ведь она возглавляет дознание. Так что можно не нервничать. Только так. Спокойно, глубоко дышать». Это действует — ей тут же становится лучше.

— Пришел факс. От родителей жертвы. Точно такой же факс пошел в СМИ.

Мона села на стул с бежевой обивкой.

— Ты имеешь в виду, что родители Константина Штайера прислали нам факс? С чего бы это? Их ведь уже допрашивали! — Вопрос о том, почему ее не информировали раньше, она решает проглотить.

— Они будут жаловаться. На то, как ведется расследование, — говорит Фишер и передает ей бумагу.

Мона читает и ненадолго задумывается.

— Переносим совещание на половину одиннадцатого.

— Не волнуйся ты так. Ты же не виновата в том, что они спятили.

Мона с недоверием смотрит на своего коллегу Армбрюстера. ПКУП Армбрюстер, глава КРУ 4. Он предлагает ей сесть. Разговаривает с ней как с равной. Ни того, ни другого раньше не случилось. С тех пор как она получила новую должность, Армбрюстер предпочитает ее не замечать.

— А как, по-твоему, мне реагировать? — спросила Мона и угрюмо отметила, что голос у нее звучит чересчур обиженно.

— Кто-нибудь из них находится под подозрением?

Армбрюстер, вероятно, выглядел бы лучше, если бы сделал себе другую прическу. А то у него просто кошмарный вид — волосы зачесаны вперед, уложены феном. Но, в конце концов, разве это проблема Моны?

— Нет, они были на приеме у друзей в Ганновере. С помощью коллег из Ганновера мы это проверили.

— О'кей, в таком случае это письмо — не отвлекающий маневр. Позвони им, спроси, действительно ли они уже связались с прессой. Ганновер ведь далеко отсюда. Они же не знают местных СМИ.

— Если бы! С позавчерашнего дня они сидят в «Рафаэле». Уже давали короткие интервью.

Армбрюстер присвистнул. Над столом распространился слабый запах лука.

— В «Рафаэле»!

— Ага. Они не бедные, насколько я понимаю.

— Поговори с ними, может быть, им просто нужен кто-то, кто бы их поддержал. Но одно я могу тебе сказать наверняка: ты с этим делом еще намучаешься. Богатые мертвецы — это сложно.

— Очень может быть. Это мой первый богатый мертвец.

Совещание закончилось быстро, потому что новостей не было вообще. Шестеро сотрудников допросили восемнадцать человек за три дня. Знакомых, друзей, коллег, соседей, родителей, женщину, убирающую в квартире Штайера, почтальона, сотрудников службы доставки суши, где обычно Штайер оформлял заказы. Никто ничего не видел и не слышал. Ни у кого не было ни малейших подозрений, ни одного достойного мотива, никто не мог сообщить ни о чем, что могло бы хоть как-то помочь. Не у всех было алиби, но поскольку их никто не подозревал, оно им и не требовалось.

— У этого типа не было врагов, — подытожил Фишер.

— Это едва ли, — не согласилась Мона.

— Вполне вероятно. Бандитам вовсе не обязательно знать свою жертву.

— Ты же знаешь, что об этом не может быть и речи. У Штайера даже бумажник не украли.

— Убийце помешали.

— Кто? И почему этот человек до сих пор не объявился — это при таком резонансе в СМИ?

Фишер промолчал. Об этом они уже говорили. Фишер придерживался той точки зрения, что, исходя из данных, которыми они располагали, какие-либо иные версии, кроме убийства с целью ограбления, стоит исключить. Сценарий он представлял себе следующим образом: взломщик просто позвонил в дверь, Штайер его спокойно впустил. Первое возражение: преступление по методике «застать врасплох» случается, но, как правило, днем, а не среди ночи. Возражение второе: почему после убийства преступник ничего не унес с собой, хотя, судя по тому, что им известно, ему никто не помешал? Потому что его внезапно охватила паника после кровавой бойни, которую он устроил, — так получалось по второй версии Фишера. А она основывалась на его опыте, согласно которому большинство уголовных преступников становятся таковыми потому, что для легальной деятельности они туповаты.

Мона знала, что чаще всего так оно и было. Возможно, существует маленький процент интеллигентных преступников-джентльменов, но, по крайней мере, ей еще ни один такой не встречался. И тем не менее, в убийство с целью ограбления она не верила.

— Гаррота — это железный ошейник. В Испании и Португалии с ее помощью приводили в исполнение смертный приговор, — сказал судебный медик, маленький кругленький человечек со здоровым цветом лица, профессор из Института судебной медицины.

Его фамилия Герцог, из-за невысокого роста и гордой осанки в одиннадцатом отделении его называют Наполеоном. Мона выше его на целую голову, но он обычно на нее смотрит так, как будто все совсем наоборот.

Они стоят на первом этаже Института судебной медицины перед тяжелыми матовыми металлическими дверями холодильников. Что-то загрохотало, и одна из дверей открылась. Лысый молодой человек вывез на каталке труп Константина Штайера.

— Куда его поставить?

— Подкатите его к окну, — сказал Герцог и жестом велел Моне следовать за ним.

Его шаги по кафельному полу эхом отдавались в просторном помещении. Слабо пахло дезинфицирующими средствами.

— И давно вы на новом посту? — тоном, каким ведут светскую беседу, спросил Герцог.

— Скоро две недели, — ответила Мона, хотя она была уверена, что Герцогу это известно, — ведь Фишер вчера присутствовал при вскрытии.

— Спасибо, Бернд, — сказал Герцог молодому человеку, который тут же удалился.

Мона откинула белую клеенку. Яркий дневной свет упал на мертвого Штайера, и его кожа показалась еще серее. От подбородка к гениталиям шел длинный шов. Рана на шее тоже была зашита — грубыми стежками.

— Фишер говорит, что он не задохнулся. Это правда?

Герцог улыбнулся. Если вопрос и поставил его в тупик, это совершенно не было заметно. С чего Фишеру врать ей? Ведь существует протокол вскрытия.

— Скажем так: он бы задохнулся. Если бы до этого не умер от воздушной эмболии.

— Ну да.

Герцог склонился над трупом и приложил палец к ране на шее.

— Яремная вена повреждена очень тонким, очень прочным орудием удушения, поэтому было много крови. Если из яремной вены идет кровь, то в систему кровообращения может попасть воздух, тогда сердце взбивает кровь в пену, если можно так выразиться. Это приводит к судорогам. И сердце перестает биться.

— Сколько это продолжалось?

— Что-то около шести минут, я думаю. Через четыре минуты он потерял сознание.

— А орудие преступления?

— Фишер подал мне идею, и я думаю, что это довольно разумно: вероятно, очень тонкая проволока, прикрепленная к двум деревянным рукояткам, чтобы руки не резало. Понимаете? — Герцог сделал движение руками, как будто растягивал эспандер. — Эту штуку накидывают жертве на шею и резко тянут за ручки. Очень простое, тихое и весьма эффективное оружие. Все необходимое можно купить на строительном рынке.

— Его не усыпляли? Наркотики, барбитураты и тому подобное?

— Производная бензодиазепина, — быстро сказал Герцог, как будто только и ждал этого вопроса.

Мона насторожилась. Этого Фишер не говорил.

— Валиум или что-то в этом же духе?

— Да, пожалуй. Может быть, и валиум. В любом случае, какой-нибудь транквилизатор. А как вам работается на новом месте? Кстати, примите мои искренние поздравления.

— Спасибо. А доза?

Герцог снова улыбнулся, и внезапно Мона почувствовала необходимость довериться ему. Но для этого они были недостаточно близко знакомы.

— Довольно высокая, но все же он не был одурманен, если вы это имели в виду. Может быть, немного. Но, в принципе, он был в полном сознании.

Мона не поняла. Герцог пояснил:

— Я думаю, что он сам принял его. Возможно, он принимал его достаточно долгий период времени. Ну, какой-то врач прописал ему, все законно. В качестве психологической поддержки. У него был кризис?

— Я не знаю. Все, кого мы допрашивали, утверждают обратное. Может быть, он был чем-то болен?

— Ничего подобного. Этот парень был совершенно здоров и находился в отличной форме. Органы в полном порядке. Кровь в порядке. Очень жаль, если вы понимаете, что я хочу сказать.

Мона кивнула и посмотрела на труп Константина Штайера, который теперь уже можно было передать близким для захоронения. Красивый труп, как говорили медэксперты, когда похороны и поминки проходили без задержки. Для Моны это выражение внезапно приобрело буквальное значение. Константин Штайер был по-прежнему красив, несмотря на рану на шее и грубый шов, изуродовавшие тело, хотя смерть забрала у него то, что характерно для живого человека. У него были тонкие черты лица, темные густые волосы, стройное сильное тело, широкие плечи. Не наркоман, не пьяница, не бомж, ослабленный болезнями. Нормальное безбедное существование, которое оборвала смерть. Человек, который любил жизнь, у него было много планов на будущее. Такое впечатление он, по крайней мере, производил на весь мир.

«...Наш сын был для нас всем», — сказано в письме родителей, напечатанном в местной прессе. «Он был дружелюбным, достойным любви, радостным человеком. Никогда никому не давал повода для ненависти или агрессии. Поэтому мы не успокоимся, пока не будет пойман преступник, оборвавший его жизнь самым жестоким образом. И мы решительно требуем активных действий со стороны местных властей. К примеру, существует неслыханная практика не информировать близких жертвы о том, как продвигается расследование. (А продвигается ли оно вообще? У нас сложилось обратное впечатление!) Вместо этого нам заявили, что на данный момент нет подозреваемых, но будут приняты все меры и проверены все возможные версии. Пытаться отделаться от нас такими пустыми, ничего не значащими фразами после того, как мы потеряли своего единственного ребенка! Горько сознавать это, и мы не потерпим такого отношения к себе».

И так далее. Мона так и видела перед собой заголовки газет: «Родители убитого жалуются на крипо^[4]».

Последовав совету Армбрюстера, она позвонила Штайерам и пообещала им прийти сегодня вечером в «Рафаэль» и рассказать о ходе расследования. Возможно, это было ошибкой. Но мать Штайера истерически всхлипывала в телефонную трубку, поэтому Мона решила, что лучше встретиться и поговорить. Иначе у матери произойдет нервный срыв, и пресса сразу же раструбит об этом.

— И еще раз по поводу гарроты, — сказала она Герцогу, медленно закрывая труп пленкой, но оставив открытыми лицо и шею.

— Это не гаррота. Я же вам объяснил. Откуда взялось это название?

— Фишер так решил. Из-за краев раны.

— Ну, по поводу проволоки я вам уже высказал свое мнение. Не гаррота, а проволока.

— Да, — согласилась Мона. — Я, в принципе, за формулировки не цепляюсь. Забудем про гарроту.

Она заговорила чересчур громко. Нужно взять себя в руки. Слишком уж эмоционально она реагирует и обнаруживает, таким образом, свои слабости. Но она внезапно так глубоко вздохнула, что Герцог с любопытством взглянул на нее.

— Вам нехорошо?

— Нет, — сказал Мона и тут же почувствовала, что атмосфера в помещении действительно тяжелая.

Старый пожелтевший кафель, бетонный пол, три серые каменные ванны. Сам труп. Она так много их уже видела. Так часто слышала звук, с каким труп кладут на каталку — глухое громкое «бух», потому что безжизненные мускулы уже не могут смягчить удара костей об металл. Она присутствовала при множестве вскрытий, выдерживала запахи кала, мочи и

гниющего мяса, вид крови и жидкости, содержащейся в организме, стекающих в каменные ванны. Тем не менее в этот раз все было иначе.

— Здесь нужно положить новую плитку, — наконец заявила она.

— К сожалению, на ремонт денег нет, вы же знаете, — сказал Герцог и посмотрел на нее в упор.

— Ну да, везде все одно и то же. — Мона попыталась взять себя в руки. — Но вернемся снова к орудию убийства. К проволоке.

— Да. — Герцог наконец отвел взгляд и снова стал профессионалом. — Края раны бахромчатые, не такие, как при порезе ножом. Кроме того, рассечена вся шея, то есть и сзади тоже. Хотите посмотреть на рану со спины? Тогда нужно перевернуть тело.

— Нет-нет.

— Вот здесь, на веках, вы видите точечные ранки, которые со всей очевидностью указывают на орудие убийства. Нет ни малейшего сомнения. Я бы сказал, убийца потянул со всей силы, так, что порвал яремную вену.

— Вы думаете, убийца хотел этого? Убедиться в том, что Штайер действительно мертв, я имею в виду?

Голубые глаза из-под бесцветных ресниц внимательно смотрели на нее.

— Я думаю, каждый преступник, который планирует убийство, хочет быть абсолютно уверенным в том, что дело выгорит.

Мона улыбнулась сжатыми губами.

— Не аффект?

Теперь — так же холодно — улыбнулся и Герцог.

— Расследование должны проводить вы. По моему мнению, никто не станет изготавливать подобное оружие, если не собирается его использовать. Я думаю, что эту гарроту, как вы ее называете, сделали только с одной целью: кого-нибудь убить.

Мягкий желтоватый свет, современная элегантная мебель. Мона жует кусочек белого хлеба. Госпожа Штайер хорошо подготовилась, как к официальному визиту. Ее муж безучастно смотрит в одну точку. Его красиво постриженные волосы растрепаны, дорогая куртка помята, как будто он не снимал ее несколько дней. Константин Штайер был их единственным сыном. Теперь у них никого нет, и Моне показалось, что именно это и есть самое страшное для обоих: необходимость быть вместе. Без сына, ради которого следует сохранять хорошие отношения.

Чего они ждут? Утешения? Как можно их утешить? Преподнести убийцу на блюдечке с голубой каемочкой? У полиции нет даже подозреваемого. Даже ход событий не удалось восстановить.

— Что-нибудь съедите? — хрипло спросил господин Штайер. Попытался откашляться и зашелся в кашле.

— Нет, спасибо. Разве что кофе, если можно.

— Пожалуйста, — сказала его жена. — Сделайте нам одолжение, поешьте с нами. Мы угощаем, само собой.

— Но я...

— Ну пожалуйста! Вы же наверняка проголодались после такого долгого дня...

— Перестань, Рената! Ты ее в краску вгоняешь! — заметил Штайер, однако еще раз передал Моне меню с молчаливой просьбой в глазах туда все же заглянуть.

Наконец она заказала курицу: дорого, но, тем не менее, дешевле большинства остальных блюд. Госпожа Штайер заказала морковный суп-пюре, господин Штайер — салат. Все намного дешевле, чем курица.

— Вы далеко уже продвинулись? Есть у вас подозреваемый?

Голос Штайера стал на пару градусов теплее, он выпрямился, выглядит оптимистичнее, энергичнее. Это единственная его цель, она и заставляет его жить: отмщение. В Америке родственники многих жертв не отказывают себе в том, чтобы присутствовать при казни убийцы. Как будто надеются, что его смерть что-то изменит. Но чувство удовлетворения никогда не наступает. Наоборот, боль возвращается, рано или поздно, более сильная и властная, потому что после акта возмездия, совершенного государством, нет уже ничего, что можно было бы ей противопоставить.

Мона читала об этом в статье. Когда кого-то убивают, оставшиеся в живых родственники настойчиво требуют возмездия. Мона решает скопировать им статью. Сможет ли эта информация помочь, она не знает. Иногда она бывает полезной. Со Штайером этот номер однозначно не пройдет. Он даже не признается в своих намерениях. Он будет цепляться за абстрактное понятие «справедливость» и крепко верить в то, что это важнее всего. Ему даже и в голову не придет попытаться забыть о своем горе.

Мона сказала:

— На данный момент у нас нет подозреваемых. Никаких следов. Я бы с удовольствием сообщила что-нибудь другое, но врать вам нет никакого смысла. Ваш сын был очень успешным человеком. Всем нравился, все желали ему только добра. Должно быть, у него был враг, но мы не знаем, кто это мог быть. Мы в растерянности, поэтому я и пришла к вам. Да, вас уже допрашивали, но, возможно, вы знаете что-то еще, что могло бы нам помочь.

— Что мы можем сделать? — спросила госпожа Штайер, загоревшись.

Было очевидно: ей хочется что-нибудь предпринять. Не сидеть просто так, окаменев в своем горе. Подали еду, но никто из них троих не обратил на это ни малейшего внимания.

— Ваш сын Константин жил в Мюнхене на протяжении семнадцати лет. Приезжал к вам три-четыре раза в год, всегда проводил с вами рождественские каникулы. И у него практически не было в Ганновере знакомых и друзей. Я права?

— Да, так и есть. Если он приезжал в Ганновер, то только из-за нас, — сказала госпожа Штайер.

— Он никогда больше никого не навещал, когда был там? Старых школьных друзей?

— Нет, Ганновер остался для него в прошлом. Был интересен ему только тем, что там живем мы. В порядке вещей для взрослого мужчины.

— Вы довольно часто приезжали к нему сюда. Где вы в таком случае останавливались? У него?

— Нет, нет. Здесь, в отеле. Мы часто обедали у него. Он так вкусно умел готовить...

Госпожа Штайер замолчала, борясь со слезами. Ее снова охватило отчаяние. Теперь горе будет всегда рядом, всю оставшуюся жизнь будет мучить ее. Никогда не почувствует она себя счастливой. Но еще ужаснее было осознание того, что, возможно, во всем виновата она. Может быть, Господь карает ее, потому что она недостаточно ценила то, что у нее было. Не благодарила Бога за то, что имела.

— Может быть, закончим? Уже поздно, и вы устали.

— Нет... Нет, прошу вас. Я справлюсь.

— Когда вы бывали у него, вы знакомились с кем-то из его друзей?

Госпожа Штайер нетерпеливо перебила ее.

— Извините меня, но мы уже рассказывали об этом вашим коллегам. Мы назвали имена людей, которых встречали у Константина, мы...

— Людей, которых вы нам назвали, мы уже проверили и перепроверили. Ни у кого из них не было повода причинить вашему сыну зло.

Госпожа Штайер покачала головой и сказала уже более миролюбиво:

— Мы вместе с вашими коллегами составили список. В нем было пять или шесть человек. Больше мы у Константина ни с кем не познакомились, это точно.

— В таком случае расскажите мне о Константине. О его характере. О темной стороне его души. Нет таких людей, которые были бы счастливы все время, никто не безупречен. Вы же знаете его лучше самого близкого друга. Подумайте. Были у него проблемы?

Супруги посмотрели друг на друга. Думают. Прилагают очевидные усилия.

— Он был просто чудным ребенком, — наконец сказала госпожа Штайер.

— Да, то же самое говорят все остальные. Но так не бывает, чтобы человек постоянно был счастлив.

Молчание. Мона задумалась, стоит ли рассказать им о бензодиазепине, обнаруженном в крови. О баночке с валиумом, которую оперативная группа нашла в ванной комнате в доме Константина. Вместо этого она принимается за свою курицу. Мясо остыло, стало жестким, к тому же оно какое-то волокнистое. Застревает в зубах. Холодное мертвое мясо. Осторожно положила вилку на тарелку, сделала поток воды. Кажется, время споткнулось и остановилось.

И тут госпожа Штайер сказала неестественно звонко и резко:

— Я не понимаю, куда вы клоните! Вы пытаетесь представить все так, будто мой сын сам виноват в... Это не так. ЭТО НЕ ТАК!

Она вскочила, стул, на котором она сидела, упал. Она настолько побледнела, что Мона и господин Штайер тоже машинально вскочили, но госпожа Штайер подняла руку жестом регулировщика, и они застыли на месте.

— Константин не виноват в своей смерти. Не было никаких темных сторон, никаких тайн...

— Мне кажется, вы неправильно меня поняли.

— Замолчите!

Штайер с ужасом смотрел на жену.

— Рената, ты бы лучше...

— И ты тоже успокойся! Ты не единственный здесь, кто имеет право выходить из себя!

— Конечно нет, но...

— Теперь моя очередь!

— Хорошо, госпожа Штайер, — согласилась Мона. — Мы оба помолчим, а вы скажете все, что хотели. Но сначала мы снова сядем. Идет?

Мона окинула взглядом полупустой ресторан. Остальные посетители напряженно усаживались в свои тарелки, официанты старательно держались от них подальше.

Штайер поднял стул жены и подставил его. Госпожа Штайер поспешно села. Лицо по-прежнему напряжено и выдает сильнейшее возбуждение. Муж стоит за ее спиной и смотрит на нее так, будто гордится ею. Вполне вероятно, что он никогда не видел ее в таком состоянии.

— Пару дней назад, — сказала, наконец, госпожа Штайер, — я стояла в саду и

разговаривала с почтальоном. Он уже далеко не молод и знает Константина с самого детства. Каждый раз спрашивает о Константине, как он там — мне это очень приятно. Он всегда говорил, что Константин был одним из самых вежливых, приветливых и веселых детей, каких он когда-либо видел. Тем утром я услышала, как зазвонил телефон, и побежала взять трубку. Я бросила старика одного, потому что ждала звонка из мастерской, в которой чинили мой автомобиль. Но это был звонок из полиции. — Она заплакала, опустив голову на руку.

Мона решила подождать, ей было неловко. Момент, когда можно было сказать о валиуме, однозначно упущен. Может быть, завтра. Господин Штайер подозвал официанта, а Мона попрощалась с ними.

Когда она наконец приехала на Штляйсхаймерштрассе, чтобы забрать сына, был уже двенадцатый час. Отец Лукаса, Антон, купил эту квартиру три года назад. Дом, в котором она находится, выглядит настолько запущенным, что кажется, вот-вот развалится. Но это впечатление обманчиво. Антон купил квартиру за смешные деньги, несмотря на удобное расположение дома — между Шеллингштрассе и Терезиенштрассе — исключительно потому, что состояние дома других покупателей не устраивало. А он переделал помещение на седьмом этаже в элегантную двухэтажную квартиру с террасой на плоской крыше, вложил в переоборудование квартиры, наверное, в два раза больше, чем стоило само жилье, и теперь наслаждался, глядя на удивленные лица гостей, когда показывал им это произведение искусства.

«Нужно видеть потенциал, скрытый в вещи», — говорил он всегда.

Мона еще не успела вставить второй ключ в замочную скважину, как он уже распахнул дверь.

— Где ты так долго была?

Звучит беззлобно, скорее несколько драматично. На нем — белая, слегка мятая льняная рубашка и черные льняные брюки, которые наверняка стоят немало. От него за три километра несет его любимым лосьоном после бритья от Йоопа. Тот, кто плохо с ним знаком, решил бы, что он так вырядился ради Моны. Но она-то знала его уже много лет, и ей известно, что даже посещение консультанта по налоговым вопросам — крупной женщины за шестьдесят лет — является для него поводом разодеться в пух и прах. Главное, чтобы это была встреча с женщиной.

— Как дела вообще?

Он так и сияет, крепко обнимает ее. Невольно Мона напрягается. Она чувствует себя доской, совершенно безжизненной. Так всегда: ей требуется время, чтобы оттаять. Антон до сих пор единственный мужчина в ее жизни, которому это, кажется, ни капельки не мешает. В таких случаях он просто крепко обнимает ее и ждет, пока она расслабится. Антон не намного выше ее, зато он широкоплечий, сильный, правда, с маленьким животиком, от которого он безуспешно пытается избавиться уже не первый год.

Жаль, что они не могут быть вместе.

— Ты хорошо пахнешь, — сказал Антон, как будто прочел ее мысли. Зарылся лицом в ее волосы.

— Да брось ты!

— Я серьезно. Потом и работой. Пот — это...

— ...духи рабочего, — закончила Мона фразу и осторожно высвободилась. — Твой

репертуар не меняется, — добавила она недовольно, но ей стало лучше.

— Хочешь стакан вина, прежде чем поедешь? Лукас уже спит.

Мона знает, чем все закончится, если она сейчас согласится. Но, с другой стороны: ради кого она, собственно, пытается себя контролировать? О'кей, Антон со своими делами постоянно балансирует на грани между легальным и нелегальным, и в тюрьме уже сидел за фиктивное банкротство. Если кто-то из коллег Моны узнает, что отец ее сына продает в Польшу машины и зарабатывает на этом кучу денег, не всегда честными методами, это может повредить ее карьере.

А если конкретно, она боится, что ее снова будут из-за него допрашивать.

Впрочем, какая разница? Кроме того, он — самый лучший отец, какого она только могла бы пожелать для Лукаса.

И поэтому она сказала: «О'кей» — и не только потому, что хотела быть честной перед собой.

Когда на следующий день Мона вернулась после обеденного перерыва, ее ждал невысокий седой мужчина. Сидел на стуле для посетителей и держал на коленях красный портфель. Мона никогда раньше его не видела.

— Мне сказали, что вы — э... та самая сотрудница, которая занимается делом об убийстве гарротой. Мы с вами коллеги.

— Убийство гарротой? Что это еще такое?

Мужчина протянул ей «Бильдцайтунг». «Полиция разыскивает душителя, использующего гарроту».

Откуда они знают про гарроту? Об этом на пресс-конференции не было сказано ни слова!

Мона молчала. Кто этот тип? Не из «Бильд» ли? Вообще-то она знает репортеров «Бильд», но, может быть, это новенький?

— Кто вы, собственно говоря?

Он представился Игоном Боудом, главным комиссаром по расследованию уголовных дел полицейского управления в Мисбахе. По его мнению, существует связь между ее делом и делом, над которым он в данный момент работает.

— Убийство?

— Да, конечно. Женщина. Задущена в ночь с двадцать восьмого на двадцать девятое сентября. Вероятно, также гарротой, или как там это называется. Чистая похабщина.

— Это не гаррота. Гаррота — это железный ошейник...

— Но здесь же написано!

— Вы что, верите всему, что написано в «Бильд»?

— Здесь написано, что это был кусок проволоки с двумя ручками.

— Это только наше *предположение*.

— Вот-вот. И мы так считаем.

Мона глубоко вздохнула. Она только что пообедала — съела гамбургер и картошку фри — и чувствовала приятную расслабленность.

— Убийство произошло в Мисбахе?

— Нет. В Тироле, под Тельфсом, в горах. Но женщина проживала в Иссинге, в округе Мисбах.

— Она там отдыхала? В Тироле, я имею в виду.

— Я бы так не сказал. Она путешествовала с мужем и десятью учениками, это была своего рода экскурсия. Они ночевали в хижине в горах.

— Она была учительницей?

— Нет, учитель — ее муж. Он преподает французский в интернате на Тегернзее, как раз в Иссинге. Вы знаете это место?

— Что, интернат? Нет.

— Ну, в общем, она там была. Еще одна сопровождающая.

— Ага.

— В ночь на двадцать девятое сентября она вышла из хижины. Почему — этого не знает никто. Наутро ее нашли в ущелье. Задущена, как я уже сказал. Вероятно, проволокой — так считает наш патологоанатом. Сильное кровотечение. Была повреждена артерия. После этого

она упала в ущелье и пролетела метров двадцать. Или ее туда сбросили.

Мона взглянула на календарь.

— Сегодня двадцатое октября. И все это произошло три недели назад в ста километрах отсюда. Не вижу никакой связи.

— Вот как? Сколько убийц, использующих гарроту, вам уже встречалось?

Последовала пауза.

— Ни одного, — призналась Мона. Пояс от «Ливайс» впился в живот, и она подумывала о том, как бы незаметно расстегнуть верхнюю пуговицу на джинсах. — Но бывают же иногда совпадения, — сказала она вместо этого. — Как эти амок-убийцы. Иногда месяцами ничего не происходит, а потом внезапно их появляется сразу трое.

Но даже саму себя ей убедить не удастся.

Последний день своей жизни Константин Штайер провел в агентстве «Вебер и партнер». Утром он сделал несколько оригинал-макетов и поговорил с фотографом, который хотел сотрудничать с агентством. Наконец Штайер разработал первоначальный вариант для рекламы производителя ликеро-водочных изделий. Днем пообедал вместе с владельцем агентства и клиентом в итальянском ресторане на Унрегерштрассе.

После обеда был на совещании, так как один из клиентов безо всякого объяснения в последнюю секунду отказался от заказа. Необходимо было всем вместе обсудить, что же получилось не так. Все утверждали, что Штайер вел себя как обычно. Никто ничего странного не заметил.

Штайер вышел из агентства около половины восьмого. Карин Столовски заехала за ним. Она хотела сделать ему сюрприз и купила все необходимое для курицы «карри». Они поехали к нему домой, приготовили курицу между 20 и 21 часом, потом они поели.

За едой Карин Столовски сообщила, что в выходные к ней приедут родители. Они хотели бы познакомиться с ее новым молодым человеком. В протоколе ее свидетельских показаний записано: «Я этого не предполагала, но Константин абсолютно не обрадовался. Начал придумывать дурацкие отговорки. Мол, ему нужно работать в выходные, он не в настроении общаться с чужими людьми, для этого можно выбрать другое время». Сначала Карин Столовски решила, что он шутит. Что такого в том, чтобы пообедать с родителями своей девушки? Это ведь не обязывает жениться!

Ошибкой было то, что она продолжала настаивать. И наконец он страшно разозлился. Сказал, что терпеть не может, когда на него давят, у него нет ни малейшего желания быть представленным в качестве жениха, пусть оставит его в покое, с него и так достаточно людей, сидящих у него на шее.

Что он имел в виду, говоря «сидящих на шее»?

Этого Карин Столовски не знала. И никто из тех, кого они допрашивали, не знал. Вероятно, он сказал это просто так.

Ну, в любом случае, дальше разгорелась ссора. Наконец Карин ушла, но, конечно же, надеялась, что он будет ее удерживать. Но он не стал этого делать. Она бежала по лестнице до первого этажа. На улице она взглянула на его окно, но он даже не посмотрел ей вслед. У нее было такое чувство, что он нарочно завелся, чтобы избавиться от нее.

Не считая убийцы, Карин Столовски — последний человек, который видел Штайера живым. Предварительные токсикологические исследования не дали ничего интересного. Не было чужеродной ткани под ногтями Штайера, никаких следов борьбы. Волоконный анализ

его одежды еще не закончен.

— А это не могла быть она? — спросил ПГКУП Кригер, руководитель всех КРУ и непосредственный начальник Моны.

— Кто? Эта Столовски? Нет, — сказала Мона. — Эта девчонка настолько... — В голову не приходило более точного слова, чем «невинна», но оно казалось ей неподходящим. — Чтобы такие начали убивать, должно произойти что-то из ряда вон выходящее.

— Может быть, у нее был негативный опыт общения с мужчинами, и вот он в этом случае выплеснулся. Может быть, у нее была причина для ревности. Вы не интересовались ее прошлым?

— Все в порядке. Хорошая ученица, хорошая студентка, много друзей, всем нравится. Кроме того, женщины из ревности не убивают, так поступают только мужчины. Женщины убивают лишь тогда, когда хотят от кого-то избавиться.

— Ну ты посмотри!

— Ты же сам это прекрасно знаешь.

— Эти дела...

— ...абсолютно разные. Я знаю.

— А чего ты тогда тут сидишь, если все знаешь?

Мона заметила, что ее лицо отражается в оконном стекле за спиной Кригера. Издалека оно казалось маленьким и изможденным, длинные темные волосы напоминали покрывало. Ей нужно сделать себе челку. Пять часов, а она еще ничего не ела кроме гамбургера и картошки. Для напряженного рабочего дня это нормально, хотя что она сегодня успела сделать? Разве что непрерывно разговаривала по телефону, совещалась, читала протоколы. Лукас, наверное, сидит уже в пустой квартире и переключает телеканалы. Может быть, он уже привел своего друга Яна, у которого всегда есть самые новые компьютерные игры.

— Ты хорошо себя чувствуешь? — вдруг спросил Кригер.

Мона взглянула на него. Что у него на уме? Ему действительно интересно или это скрытая критика?

— Нормально, — ответила она нейтральным тоном. — А почему ты спрашиваешь?

— Да так, просто. Тебя недавно повысили, у тебя первое дело, могу представить себе, что...

— ...все это для меня слишком?

— Нет! — Кригер нервно поерзал в кресле, что как-то странно выглядело для такого грузного человека. Он снял очки и стал покусывать дужку. — Берти думал...

— Берти?

— Берти Армбрюстер.

— Армбрюстер? Он-то тут при чем?

— Ни при чем. У тебя были проблемы с родителями жертвы, да?

— Это тебе Армбрюстер сказал?

— Какая разница, кто?

— У меня не было проблем с родителями. Родители ждали чуда, а чудес не бывает.

— Замечательно. Не хотелось бы проблем с прессой.

— С тех пор родители интервью не давали.

— Но они, тем не менее, в Мюнхене.

— Я не могу отправить их домой.

Молчание. На улице гудели машины, зазвенел трамвай. Мона решила, что не стоит дальше развивать эту тему.

— Чтобы закрыть тему, скажу: у меня все хорошо. И завтра хотелось бы поехать в командировку в Иссинг.

— Что-что?

— Да. Сегодня у меня был коллега из Мисбаха, Игон Боуд. У них там похожий случай, в Иссинге. Задущена женщина, вероятно, проволокой.

Мона подробно описала обстоятельства дела. Кажется, на Кригера это не произвело впечатления.

— Убийца тоже неизвестен? — спросил он.

— Да. Восемь учеников обеспечили алиби мужу. Пятеро просидели с ним всю ночь, выпивали и беседовали. Около четырех утра решили пойти спать и тут-то обнаружили, что ее нет.

— Жены учителя?

— Именно. Спальник был на месте, а ее нигде не было. Что-то в этом роде.

Кригер надел очки, потом опять снял. Затем положил их на стол. Потер переносицу, как будто на ней по-прежнему сидели очки.

— Мона, не обижайся на меня, но я все же не понимаю, зачем тебе ехать в Иссинг. Если у тебя есть какие-то вопросы, просто позвони этому Боуду.

Мона задумалась. Потом сказала:

— Здесь мы, честно говоря, топчемся на одном месте. Мы уже не знаем, в каком направлении вести расследование. Может быть, Иссинг что-то даст.

— То есть, ты хочешь устроить небольшой пикник за счет государства.

— По такой погоде? Ты же сам в это не веришь.

Кригер снова надел очки.

— С чувством юмора у тебя не очень, да?

Мона пару секунд молчала, потому что на такие вопросы она реагировала особенно болезненно. Ей постоянно говорили, что она понимает все *слишком буквально*. Она всегда реагировала не сразу, когда кто-то шутил.

— Значит ли это, что все в порядке? Можно мне взять с собой Фишера?

— Нет, не значит. Для начала разберитесь на месте преступления здесь. Можете поддерживать контакт с Мисбахом. Если что-то прояснится, мы к этому еще вернемся.

Когда холодало, она любила сидеть на разоженной печи. Приносила себе подушку, достаточно большую, чтобы не пропускать жар, но чтобы при этом чувствовалось тепло. Иногда она часами медитировала, сидя так в позе портного, чувствуя каждый раз, как согреваются замерзшие ноги, как потом тепло поднимается по попе и по спине и, наконец, охватывает живот. Иногда она сидела с книгой так долго, что в конце концов засыпала. Всегда брала одни и те же книги, но это казалось ей совершенно естественным. «Эффи Брист», «Превращение», «Заметки клоуна», «Разделенное небо», «Красное», «Жестяной барабан». Она знала их почти наизусть. Они были для нее как друзья, к которым всегда можно сходить в гости, или как знакомая местность, где чувствуешь себя спокойно и уютно.

Но сегодня ничего не получалось. Она пыталась. Натолкала в топку бумаги, дров, угля, подождала, пока огонь как следует разгорится, но потом, минут через двадцать, она прыгнула с печи и забегала по квартире — такая дыра! — как зверь по клетке. Ровное

течение ее будней нарушилось. И все оттого, что она снова и снова пыталась открыться окружающему миру. Она ведь думала, что нужно доказывать свою способность справляться с тем, что ей сваливалось на голову.

Забегаловка, в которую она хотела устроиться помощницей, находилась неподалеку от Терезиенвизе. Заведение в грубом мужицком стиле, где толстопузые старики напивались уже в обед. Сюда, думала она, ее могли взять. Но нужна была карточка начисления налога на зарплату, которой у нее не было. И запах там просто отвратительный. Она обращалась с посетителями как проситель и думала, что нужно выполнять все указания. «Так вы работать не сможете. Думаю, вам это ясно!» И, кроме того, те немногие посетители, которые туда приходили, смотрели на нее так, как будто она прилетела с Луны, или они уже уйму лет не видели женщин, которые не были бы такими же толстыми, как их жены. Она очень вежливо сказала владельцу, что подумает до завтра и сообщит ему. Тем не менее он посмотрел на нее так, как будто у нее не все дома.

— Катись отсюда, дура набитая!

Это настолько расстроило ее, что она никак не могла успокоиться. На улице было многолюдно. Все обращали на нее внимание, судили ее, манипулировали ее восприятием себя. И в этом была виновата она сама. Она допустила это, хотя должна была знать заранее, к чему это приведет, — если впустить мир в свои мысли.

Открыла дверь шкафа в крохотной спальне и посмотрела на свое отражение в зеркале на обратной стороне дверцы. Джинсы, толстый шерстяной свитер, добротная обувь. В забегаловке она была еще в старой армейской куртке. Она получала всего лишь социальную помощь, деньги на оплату квартиры и на одежду. Самое время купить себе что-нибудь новое из одежды; она была последней, кто это признал. Летом ей не было нужно ничего, кроме джинсов и пары футболок, которые она обрехала, потому что в моде был открытый живот. Но теперь уж поздняя осень, да и нельзя же каждый день носить одно и то же — на вещах появляются пятна. Нет, одежда не воняет, но эти пятна... Она их заметила в лучах заходящего солнца, которое, наконец, пробило покрывало из тумана, и ее дыра утонула в золотом свете.

Ей просто необходимо солнце, в этом весь секрет. Если тепло и солнечно, нервная команда прячется глубоко в мозгу. Не стреляет в нее страшными, просто кошмарными мыслями, когда она загорает в Английском саду и иногда заговаривает с людьми, которые здоровы, молоды и совершенно нормальны, и, тем не менее, охотно общаются с ней. Вечерами они вместе бегают по лужайкам, навстречу длинным теням от деревьев, слушая оглушительный грохот bongospielers ^[5], которые летом каждый вечер встречаются в круглом храме.

Она не любит зиму, и никогда не любила. Зимой все создает ей проблемы. Уже только для того, чтобы выйти из квартиры, требуется невероятное напряжение сил, потому что на улице ей нужно терпеть не только сдерживаемое безразличие прохожих, но и холод, сырость, мрачные цвета. В эти месяцы темноты ей было важно лишь как-нибудь выжить, борясь со страхом и яростью. Поэтому у нее появилась идея подыскать себе работу. Чтобы там нужно было напрягаться. Она думала, что это немного отвлечет ее... Ведь именно поэтому работает весь мир: чтобы не думать. Как только начинаешь думать, именно думать, докапываться до сути вещей, то узнаешь то, чего не выдержит ни один человек. А узнав однажды, забыть уже не можешь.

Как это сказано у философов? «Бытие и ничто». Как они жили с сознанием, что жизнь

— это просто существование, а смерть — всего лишь падение в абсолютную пустоту? Может быть, они только думали об этом, не чувствовали никогда. А вот она чувствует: абсолютное ничто, предвечное отрицание всех тезисов веры. В такие моменты она полностью переставала воспринимать саму себя. Ее больше не существовало, даже в собственном сознании. Ей приходилось причинять себе боль, чтобы почувствовать, что она есть.

Каждый раз, когда Моне было плохо, ее начинали преследовать воспоминания о старых делах. Этим вечером, который она проводила с бокалом вина перед тихо работающим телевизором, ее мысли были заняты делом Шефера. Ему было за тридцать, и весной девяносто шестого или девяносто седьмого года он обезглавил свою девушку топором. Жертва перевела своему убийце сто тысяч марок, чтобы он положил их на ее имя в банк. Вместо этого он сразу же эти деньги перевел на свой счет в Лихтенштейне. После этого поехал с ней в лес, задушил ее и потом обезглавил. Голову закопал в лесу, к телу привязал камни и бросил его в реку.

Через день тело было обнаружено в шлюзе, ниже по течению реки, и так как убийца забыл раздеть жертву (забрал себе только золотые украшения), очень быстро труп был опознан — помогла одежда.

На скамье подсудимых плакал убийца, бледный сгорбленный мужчина. Говорил, что ничего не помнит. Они это уже слышали, и быстро освежили события в его памяти. Это было нетрудно сделать. Смягчающие обстоятельства отсутствовали. Умысел был очевиден, убийца признан полностью вменяемым. На суде Мона встретила мать убийцы, толстую, с большим сердцем и сильной одышкой женщину, которая сказала Моне: «Он все равно останется моим сыном, что бы он ни сделал». В перерывах она бежала к нему и обхватывала его голову руками, пока он плакал. При этом она знала убитую девушку и, по ее же словам, относилась к ней очень хорошо.

Обычно убийцы — мужчины. У многих из них были матери, такие, как эта женщина, прощавшие своим мальчикам все. Им так было удобнее, так как они были слишком глупы или слишком слабы. У преступников в голове вертелась эта примитивная фраза: «Мамочка все простит». В общем-то, эти женщины готовы все отдать ради своих сыновей. А к дочерям они относятся как к дерьму, им плевать, что с ними будет.

Ну-ну, давай-ка ты не будешь преувеличивать только потому, что твоя мать...

Мона закрыла глаза и взяла в руку пульт.

У нее была прекрасная память, будь она проклята. Она спустя годы помнила все до мельчайших деталей. Наполовину разложившаяся, измазанная землей голова убитой девушки (левая часть верхней губы исчезла, видны коричневатые зубы). Плохо выглаженное голубое платье с маленькими белыми цветами, которое было на матери убийцы на суде. В нем она выглядела еще толще и казалась совсем нездоровой. Она вызывала сочувствие, но Моне ее было абсолютно не жаль, наоборот. Самый простой выход — видеть в себе всегда жертву обстоятельств.

Был ли Штайер жертвой обстоятельств?

Это не тот вопрос, который мог помочь сейчас.

Она снова открыла глаза, как раз вовремя — еще чуть-чуть, и бокал с вином выпал бы из рук. По телевизору показывали скетч о рейнландской домохозяйке.

Штайер больше не общался ни с кем из своего родного города Ганновера, поэтому убийцу надо искать здесь.

Но почему он не общался ни с кем из Ганновера? Ни со старыми друзьями, ни с кем-либо еще? Так не бывает, вообще-то.

Почему Мона знает здесь так мало людей?

Нет, нет. Что-то она путает. Жизнь Штайера никак не связана с ее собственной. У него совсем другой случай, насколько ей известно. Она встала, засунула руку в сумочку, нашла визитку родителей господина Штайера, на которой указан номер их комнаты в «Рафаэле».

— Мама.

Лукас стоял в дверях — в пижаме, волосы всклокочены, глаза заспанные. Мона протянула к нему руки. Это как рефлекс, хотя она знала, что Лукасу в его одиннадцать с половиной лет уже не так нужен физический контакт с ней, как раньше. Кроме того, время позднее, не меньше половины двенадцатого. Ему утром рано вставать.

— Ты завтра уезжаешь? — спросил Лукас, бросив взгляд на собранный чемодан.

У сына темные кудри и карие глаза, как у отца. И обаяние отцовское у него есть. И упрямство, если речь идет о договоренностях и обещаниях.

— Думаю, да. Всего на пару дней. Завтра ночуешь у Лин.

Лин — старшая сестра Моны. К счастью, она живет всего через два дома от Моны, у нее трехлетняя дочка и сын возраста Лукаса. Они любят играть вместе. Лин замужем, не работает и с удовольствием занимается детьми. Когда у Лукаса хорошее настроение, он радуется за мать, которая работает «ищейкой» и с которой случаются всякие интересные вещи. Ему нравится, что его семья состоит не как у всех — просто из мамы, папы, братьев и сестер, а из мамы, папы, тети Лин, дяди Петера, маленькой Марии и лучшего друга Герби.

Когда у Лукаса плохое настроение, ему хочется, чтобы мама и папа снова жили вместе и чтобы мама бросила работать и занималась только им и папой.

— И долго тебя не будет?

За последние месяцы голос Лукаса стал ниже, огрубел. На лбу появились прыщи. Голос еще не ломается, но пройдет не больше двух лет, и все — сын станет взрослым. Он красивый мальчик, Мона любит его больше всего на свете, но все чаще и чаще у нее возникает чувство, что он отдаляется от нее. Неужели все матери испытывают это? Или только она, потому что так редко видит его?

— Я же сказала, пару дней, — буркнула Мона.

— Почему так долго? Ты опять убийцу ищешь?

Мона вздохнула и опустила руки. Лукас продолжал стоять в дверях, прислонившись к косяку, но беспокойно переступал с ноги на ногу и подчеркнуто небрежно разглядывал комнату: потолок, окно — только бы не смотреть на нее.

— Хочешь спать у меня?

— Нет! — Как выстрел из пистолета.

— А что ты хочешь?

— Ничего. Мне кажется отвратительным, что ты постоянно уезжаешь.

— Я ничего не могу поделать, это моя работа. И она нас кормит.

— Папа зарабатывает намного больше. И проводит дома больше времени, чем ты.

«Да, — подумала Мона, — потому что у него есть кому выполнять за него всю грязную работу». Но она этого никогда не скажет, не Лукасу, по крайней мере. Ей страшно думать о том дне, когда Лукас поймет, чем на самом деле занимается его отец и каким способом. Одна надежда на то, что к тому времени Антон заработает столько денег, что сможет вполне

легально жить в свое удовольствие.

— Что это за убийца, за которым ты охотишься? Он убивает детей?

— Нет.

— А что он делает? Убивает с умыслом? Режет женщин?

— Глупости! Кто тебе такое сказал?

— Так что же он делает? — Лукас не отставал.

Мона представила себе, как на следующий день Лукас рассказывает все своим одноклассникам, которые замучают его вопросами.

— Я не могу ни с кем об этом говорить, ты же знаешь.

Лукас посмотрел на нее разочарованно. Она расстроилась. Страшные и интересные истории из ее полицейской повседневной жизни очень сильно подняли бы авторитет Лукаса среди одноклассников, она это отлично знала.

— Он душит гарротой?

— Откуда ты все знаешь?

— Слушай... — Лукас повернулся и исчез в коридоре. — Это же все знают! — крикнул он из другой комнаты, перед тем как захлопнуть за собой дверь.

На следующий день, впервые за несколько недель, светило солнце. Мона ехала по А8^[6] в сторону Мисбаха.

Она чувствовала себя почти счастливой, но не задумывалась об этом. Часть ее сознания фиксировала привычный ландшафт, небольшое движение на трассе и Фишера, который сидел рядом с ней и ковырял в носу. Большая часть сознания была занята Штайером и его родителями, с которыми она разговаривала прошлой ночью. Даже если это опять ни к чему не приведет.

— *Сколько лет прожил ваш сын Константин в Ганновере?*

— *Не понимаю. Что вы имеете в виду?*

— *О Боже... Извините. Я хочу сказать: ваш сын ходил в школу в Ганновере?*

Мона заморгала, обгоняя колонну грузовиков. На ее лице появилась улыбка. Она свободна. По крайней мере, на день, два. Ни затхлого офиса, ни сотрудников с кислыми минами (кроме Фишера, естественно, но одного выдержать легче, чем всех сразу), ни завравшихся коллег, которые притворяются, что относятся к ней хорошо, чтобы потом побольнее уколоть.

— *Сначала, первые годы, он был в Ганновере, — с сомнением в голосе ответил наконец отец Штайера.*

— *А потом?*

Долго колеблется. Молчание на другом конце провода. Потом Штайер признался, что Константин с восьмого класса был в интернате на Тегернзее. Иссинг, да, именно так называется это место. А откуда она знает?

— *Почему вы не упомянули об этом, когда давали показания?* — спросила в свою очередь Мона.

Родители, которые просто боготворят своего единственного ребенка, не отсылают его за восемьсот километров от дома. На другом конце линии ледяное молчание. Штайер окончил школу в 1981 году.

— *У нас был тогда кризис.*

— *У кого — у вас и вашей жены?*

— *Я... Это... Мы хотели развестись. Он не должен был долго оставаться в интернате. Только до тех пор, пока все не уладится. Потом Константин должен был вернуться и жить с матерью.*

— *Но вы тогда так и не развелись?*

— *Нет. Через год мы снова сошлись.*

— *И тогда вы забрали Константина обратно?*

— *Вовсе нет. Он не хотел возвращаться домой. Ему было хорошо в Иссинге. Быстро нашел там друзей. Это было только его решение, можете мне поверить.*

— Поворот на Иссинг, — сказал Фишер намеренно угрюмым тоном.

Он настолько был против этой поездки, что у него даже разболелся живот. Билеты на концерт «Prodigy» пришлось сдать, и только потому что Зайлер, его начальница, настояла на том, чтобы провести здесь минимум два дня. Теперь Фишер точно знает, что терпеть ее не может. С самого начала она показалась ему странной. Теперь понятно, почему.

Нет, дело не в том, что она плохо выглядит или неприветлива. Она просто не подходит для своей должности. Вдруг начала задирать нос, говорит некстати и не то, что нужно, не делает ничего, чтобы приспособиться к сложившимся отношениям. «Отсоси, — мысленно сказал он, и непроизвольно на его лице появляется легкая ухмылка. — Отсоси, ты, старая шлюха!»

Армбрюстер его предупреждал. Женщины, как часто говорил Армбрюстер, становясь начальниками, или работают на все 150 процентов, или абсолютно ничего не могут; и то и другое — одинаково плохо. Им это просто не дано. Полностью отсутствует умение руководить сотрудниками. Не чувствуют грань между жесткостью и полной свободой. Хорошие начальники всегда знают, что когда сказать. Он, Армбрюстер, в своей жизни встречал, наверное, трех хороших начальников. И среди них не было ни одной женщины. При этих словах Армбрюстер всегда бил ладонью по столу. НИ ЕДИНОЙ женщины! Он говорил это агрессивно и в то же время торжествующе.

Агрессия. У Фишера с этим проблемы. Он легко заводится, даже если только что был абсолютно спокоен. Подружки поэтому вечно на него обижаются. Он нетерпелив, часто провоцирует ссору. Это у него связано со стремлением к справедливости. Тот, кто хочет справедливости, волей-неволей становится агрессивным, потому что этот мир, как правило, мало внимания обращает на подобное желание.

Зайлер искоса смотрит на него, притормозив, чтобы съехать с автобана. Он отводит взгляд уже практически машинально. Дорога делает поворот на 360 градусов и ведет снова на запад.

Четыре часа пополудни, красноватое зимнее солнце исчезает за холмами. Вдалеке возникает шпиль церкви, а еще дальше виднеется темная громада Альп. У них назначена встреча в кабинете ректора школы *для мальчиков и девочек из хороших семей*. Фишер кривит губы, пережевывая эту формулировку. Все-таки ему немного интересно. *Мальчики и девочки из хороших семей*. Наверное, там есть парочка классных бабенок. Он представляет их себе: медово-золотистые прямые волосы, идеальная кожа, крепкие, не слишком пышные груди под футболкой от Армани или, еще лучше, под школьной формой (при этом он думает об очень коротких юбочках, застегнутых на все пуговицы белых блузках, гольфах до колен). Каждый понедельник Фишер пролистывает «Бунте», стоя у газетного лотка в своем Тенгельманне^[7].

Причем он обращает внимание не на скандалы в обществе так называемых *богатых и красивых*, а на роскошь, которой эти типы себя окружают, не делая при этом абсолютно никаких лишних движений. *Мориц, Гстаад*^[8], *виноградник Марты* — ему никогда не узнать, каково это: жить в мире, в котором *деньги не имеют значения*.

Каково это: шикарные женщины, машины, люксы, шале, которые всегда можно себе позволить. Никогда не узнать.

Он что, говорил все это вслух? Она опять поглядывает на него вместо того, чтобы смотреть на дорогу. Ее обычно скорее смуглое лицо сегодня довольно бледное. Темные прямые волосы, небрежно спадающие на воротник серого пальто, не блестят. Внезапно Фишер чувствует, что она несчастна или чем-то недовольна. Не именно сейчас, а вообще. Это злит его еще больше. Как будто она ему пожаловалась.

— Мы уже почти приехали, — сказала она.

Ее голос звучит хрипло и несколько неуверенно, как будто она почти разучилась говорить и теперь с трудом учится это делать заново. Может быть, его молчание действует

ей на нервы. В свои двадцать шесть лет Фишер уже выучил, что самое эффективное оружие против женщин — это молчание, а вовсе не агрессия. Они могут выдержать все, даже побои. Только если на них не обращать внимания, можно нарушить их душевное равновесие. Иными словами: от них можно получить все, пока их игнорируешь.

Проехав через круглую арку, они попали на усыпанный галькой школьный двор и оказались прямо перед большим, украшенным Luftmalerei^[9] зданием. Вокруг не было ни души.

Мона остановила автомобиль у невысокой каменной стены. Открыла дверцу, и от порыва ледяного ветра у нее на глазах выступили слезы. Здесь было намного холоднее, чем в городе. Чувствовалась близость гор.

— Куда теперь? — спросил Фишер. Его глаза слегка опухли, как будто со сна, а в голосе, как обычно, чувствовалось напряжение.

— Туда. — Мона указала на большое здание. — Это, должно быть, главный корпус. Luftmalerei, сказала секретарша. Там классные комнаты и учительская.

— Очень интересно, — насмешливо произнес Фишер, но все же пошел за ней, когда она молча направилась к зданию.

Первое, на что обратила Мона внимание, войдя внутрь, это на знакомый запах линолеума, мела и пота. Он как бы отбросил ее в прошлое, на двадцать лет назад. Некоторые вещи не меняются, во всех школах одно и то же.

— По коридору налево, — сказала она. — Комната 103. По-прежнему ни души. Грязные лампы под потолком дают слабый свет. Серо-белый пятнистый линолеум блестит, как будто его натерли. Мона постучала в дверь с простой табличкой «Ректорат».

— Войдите, — раздалось изнутри.

Ректору около шестидесяти лет, он высок и худ. На нем широкие вельветовые брюки, шерстяной свитер неопределенного цвета, поверх него — кожаная жилетка. Его кабинет маленький и захламленный, мебель старая.

Несколько томительных секунд они вчетвером молча стояли и никто не знал, что делать. Наконец ректор, фамилию которого Мона забыла, помог ей снять пальто и повесил его на вешалку у двери. Игон Боуд из уловной полиции Мисбаха воспринял это как знак того, что можно плюхнуться обратно в кресло, с которого он с трудом поднялся, чтобы поприветствовать Мону и Фишера. Мона присела на диван, Фишер тоже, как можно дальше от нее, а ректор принес себе старый стул из соседней комнаты. Даже не верится, что учеба в этой школе — федеральном интернате, как назвал его ректор, — стоит более трех тысяч марок в месяц. И куда идут все эти деньги?

— Новые спортплощадки, компьютерная сеть, ремонт помещений — для учительских просто ничего не остается, — сказал ректор, и Мона покраснела.

— Да. Это, конечно, необходимо...

— Ну, госпожа Зайлер, мы, конечно, очень рады, что вы специально приехали из Мюнхена, чтобы поддержать вашего э... коллегу. — После этих слов ректор замолчал.

Лоб Боуда теперь напоминал горный ландшафт.

— Господин Боуд обратил внимание на взаимосвязь, которую мы не смогли обнаружить, — сказал Фишер, и Мона удивленно посмотрела на него. Это были именно те слова, которые и надо было сказать.

Лоб Боуда разгладился.

Мона добавила:

— У нас двое убитых, мужчина и женщина, способ убийства один и тот же. Вероятно, задушены куском проволоки. Это очень необычно.

— Гарротой.

— В действительности это была не гаррота, — пояснила Мона. — Просто некоторые называют так это предположительное орудие убийства. Газеты называют это так, потому что звучит необычно.

Она сделала ударение на слове предположительное, не глядя при этом на Фишера. Может, это он проговорился, а может и нет. В день убийства это словечко обошло все отделение. Любой мог сообщить его прессе. Отсюда и заголовки. Поймать убийцу. Для этого полиция и придерживает некоторые факты — чтобы сразу распознать ложные признания. В данном случае сделать это будет затруднительно. Но все же по крайней мере одна деталь пока не попала в газеты.

— Гаррота, помимо этого, не единственное, что связывает обе жертвы. Константин Штайер между семьдесят шестым и восемьдесят первым годом учился в Иссинге. И эта учительница... Как ее имя?

— Саския Даннер, — ответил Боуд. — Она не была учительницей, это жена Михаэля Даннера, он преподает здесь французский. — Ректор поощряюще кивнул, как будто Боуд был не слишком умным, но очень старательным учеником.

Мона сказала:

— О'кей. В любом случае, обе жертвы имеют отношение к школе.

— Но Константин не был здесь долгие годы, — прервал ее ректор. — Ему тут нечего делать. Он даже не член Союза выпускников.

— Что это такое?

— Это объединение создано для оказания помощи стипендиатам. Многие после окончания школы становятся его членами.

— А Константин Штайер — нет?

— Нет. Я специально проверял. Он даже не приезжал на дни встречи выпускников.

— Дни встречи выпускников...

— Они проходят каждые два года в августе. Выпускники играют в хоккей, держат речи, а вечером всегда бывает небольшое застолье и танцы. Это способствует поддержанию отношений между бывшими учениками. Многие нашли здесь себе друзей на всю жизнь.

— Константин, очевидно, нет.

— На что вы намекаете?

Внезапно лицо ректора передернулось. Когда он осознал это, встал и пошел за свой стол, как будто там ему было лучше держать оборону. Мона удивленно разглядывала его. Внезапно она подумала об Антоне, который часто говорил ей о том, что ей необходимо научиться лучше разбираться в людях. Антон называет то, чего Моне, по всей видимости, не хватает, женской интуицией.

— Что случилось? — наконец спросила она, когда молчание стало невыносимым.

— Вы же не станете утверждать, что наше заведение имеет какое-то отношение к смерти Константина Штайера?

— Нет, но...

— Тогда и не намекайте, пожалуйста, ни на что такое.

Ужинали они за так называемым преподавательским столом, который был установлен на возвышении рядом с главным входом в столовую. Мона сидела спиной к залу, где было невероятно шумно. В федеральном интернате Иссинг учились две сотни учеников, и казалось, что все одновременно кричали друг на друга.

— Как вы это выносите? — спросила Мона женщину, сидевшую слева от нее, которая представилась так: «Зигварт — история, природоведение».

— Фто? — спросила Зигварт с полным ртом и улыбнулась.

На ужин приготовили котлеты из гороха и картофельные крокеты, и все ели с такой скоростью и так сосредоточенно, что можно было подумать, будто тому, кто первым все съест, дадут приз.

— Ну, этот шум. Невероятно. Так всегда?

Зигварт подняла голову, как зверь, который почуял след. На секунду она даже перестала жевать. Ее улыбка стала еще шире.

— Эй, а вы абсолютно правы. Действительно невыносимо. А мы так привыкли уже... Просто глохнешь, понимаете?

Взгляд Моны упал на Фишера, сидевшего как раз напротив нее. Его тарелка была почти полной, и он совершенно безучастно смотрел в одну точку прямо перед собой.

Что они здесь, собственно, делают?

Рядом с Фишером сидел муж убитой Саскии Даннер. Он хорошо выглядел. Ему нельзя было дать сорока четырех лет — стройный, с хорошей фигурой, узкое, слегка загорелое лицо, глубоко посаженные глаза. Его жена только три недели как умерла, а у него что-то подозрительно хороший аппетит. Часто у людей, у которых умирают близкие, начинаются проблемы с пищеварением. Страдают от отсутствия аппетита. У некоторых появляется язва желудка или двенадцатиперстной кишки. У Михаэля Даннера таких проблем, очевидно, не было, иначе он вряд ли смог есть такую тяжелую пищу.

И в этот момент Даннер поднял взгляд от тарелки и посмотрел ей прямо в глаза. Мона отвела взгляд, но он продолжал на нее смотреть.

— Так как к вам, собственно, обращаться? — спросил он, и прозвучало это так, как будто он уже задавал этот вопрос.

— Что вы имеете в виду? — уточнила Мона, но она уже все поняла. *Можно называть вас «госпожа комиссар»?* Небольшая шутка из детективных романов, любителем которых, вероятно, был учитель.

— Главный комиссар уголовной полиции, я прав?

— Да, — удивленно подтвердила Мона.

— Даннер, социология и французский. — Он протянул ей руку через стол, и она смущенно пожала ее. *Притворяется, будто не понимает, что я здесь из-за него.*

— Перед летними каникулами я с двенадцатым классом был в уголовной полиции. Очень приятный начальник объяснил нам все, от рангов служащих до распорядка рабочего дня. У вас сложная иерархия.

— Да, так и есть.

Мона казалась сама себе деревянной. Что-то в этой ситуации было странным. Тем временем остальные коллеги перестали разговаривать и теперь наблюдали за ними обоими, как за экзотическими животными в зоопарке. Даже ученики, и те, казалось, стали вести себя тише.

— Вы будете меня допрашивать? — спросил Даннер.

— Вы имеете в виду, брать у вас показания? Может быть, да. Но не сейчас, вы уже все рассказали.

Его глаза. Взгляд вроде бы теплый и дружелюбный. Очевидно, у него есть чувство юмора. Приятная улыбка. Но, тем не менее, ей стало не по себе. С другой стороны, ее знание людей, по всей видимости, действительно оставляет желать лучшего.

Боуд сам снимал показания. Копии протоколов с показаниями учеников лежали в ее комнате в отеле, куда ей очень хотелось вернуться. Мона любила ночевать в отелях. Она, самое смешное, чувствовала себя там менее одиноко, чем в собственной квартире, когда там не было Лукаса. Даже в наилучшем образе изолированной комнате время от времени слышно, как кто-то разговаривает в коридоре или сливают воду в туалете.

— А какова, собственно, причина вашего приезда, можно узнать? — Даннер качался на стуле, как строптивый ученик.

— Дальнейшее снятие показаний в школе. — На такой формулировке они сошлись с ректором и Боудом. — Надеюсь, такой ответ вас удовлетворит, — добавила она.

Еще одно слово, и она встанет и уйдет. Она и сама не знает, что ищет. Если эти два дня не дадут никаких результатов, она больше не сможет этим заниматься.

А: Нет, Боже ж ты мой, у моей жены не было никакого нервного расстройства. У нас не было никаких проблем.

Ф: Ваша жена тайком вышла из хижины. Она часто так поступала?

А: Как «так»?

Ф: Шла своей дорогой. Уходила, не предупредив вас.

А: Нет.

Ф: А почему же на этот раз?

А: Я не знаю. (Свидетель Михаэль Даннер всхлипнул.)

Ф: Ваша жена в последнее время ни с кем не знакочилась?

А: Не думаю. Я вообще-то полдня занят в школе. Я никогда не задавался вопросом, как она проводит первую половину дня. Возможно, это было ошибкой.

Ф: Она не вела себя странно в последнее время?

А: (Пауза.) Может быть, разве что была тише, чем обычно.

Ф: Как человек, который чем-то озабочен?

А: (Пауза.) Возможно.

Ф: Не было необъяснимых телефонных звонков? Встреч с людьми, которых вы не знаете?

А: Была пара звонков. Я не спрашивал ее, кто звонил, я никогда так не поступаю. У нас были очень доверительные отношения. Но обычно она мне рассказывала. Это мне, в принципе, запомнилось.

Ф: Что?

А: В последнее время мы меньше разговаривали друг с другом. Она была несколько более закрытой, чем обычно. Но, знаете, может, это я просто выдумываю. Потом всегда пытаешься все объяснить, как-то интерпретировать. (Свидетель Михаэль Даннер всхлипывает.)

...

Ф: У вас был четырехчасовой горный переход. Вы устали?

А: Конечно, ясное дело. А что? (Свидетельница Берит Шнайдер долго кашляет.)

Ф: Но вы ведь сказали, что все вместе не спали до четырех утра.

А: Нет, не все. Верена, Надя и Янош пошли спать около... (пауза) ну, в полночь или около того.

Ф: Кто остался?

А: Я, Сабина, Хайко, Петер, Марко. Мы... мы так заговорились, что даже не заметили, как прошло время. Это было нечто!

Ф: Что?

А: Что время пролетело так быстро. Вам это знакомо?

Ф: Да. И о чем вы говорили все время?

А: Теперь и не вспомню. О книгах, которые мы читали. Чем остальные хотят заниматься дальше. О смысле жизни, ну, о всяком таком. (Свидетельница Берит Шнайдер смеется.)

Ф: Почему вы смеетесь?

А: Не знаю. Извините.

Ф: Должна же быть причина. Женщина, которую вы хорошо знали, внезапно умирает. А вы смеетесь. Почему?

А: (Пауза.) Дело в том, что Даннер... Мы все время должны говорить о серьезных вещах, когда сидим с ним. Тут же начинается дискуссия. (Свидетельница Берит Шнайдер сделала ударение на последнем слове.) Само по себе это здорово. Но, одновременно с тем, очень сложно, потому что иногда хочется и поразвлечься.

Ф: Значит ли это, что все происходившее не доставляло вам удовольствия?

А: Нет. Это было просто здорово. Я не могу вам этого объяснить. Всегда такое ощущение, что он хочет заглянуть нам в душу. Но там ничего нет. Ну, во всяком случае, не так много, как он думает. По крайней мере, у меня.

...

Ф: Вы сидели вместе до четырех утра?

А: Да, примерно. Потом мы пошли спать, и тогда выяснилось, что госпожи Даннер нет в ее спальнике.

Ф: Как это обнаружилось? Кто это заметил и как?

А: Михаэль, когда хотел залезть в свой спальник. Что ее спальник пустой, что ее нет.

Ф: Михаэль?

А: Господин Даннер.

Ф: Вы называете преподавателей по имени? Так у вас принято?

А: (Пауза.) Нет. Не все.

Ф: А кто?

А: (Пауза. Свидетель Марко Хельберг кажется растерянным.)

Ф: Это тайна?

А: Нет, чушь. Хайко, Сабина, Петер и я.

Ф: Вы вчетвером называете господина Даннера по имени и говорите ему «ты», в то время как ваши одноклассники с ним на «вы»? Вы и другим преподавателям говорите «ты»?

А: Нет, только ему. Мы говорим ему «ты», только если мы наедине. В присутствии остальных и на занятиях, естественно, нет. Так получилось. Мы хорошо понимаем друг друга, мы на одной волне. Но мы это совершенно четко разделяем. На уроке он

преподаватель, а мы — всего лишь его ученики. Мы не смешиваем эти вещи.

Ф: Ну хорошо. То есть, господин Даннер выяснил, что его жены нет. Что было потом?

А: Мы обыскали хижину. Снизу доверху. Это не заняло много времени, потому что хижина довольно маленькая. Она ушла, это было ясно.

Ф: И что потом? Как вы отреагировали на это?

А: Мы выбежали на улицу, стали звать ее как ненормальные. Минут через двадцать господин Даннер сказал, что мы все равно ничего не можем сделать, пока не рассветет. У нас был всего лишь один фонарик, и батарейка в нем почти что села. И мы пошли спать.

Ф: Все?

А: Господин Даннер сидел за столом внизу и ждал. Все остальные пошли наверх спать. На следующий день он разбудил нас в семь утра. И мы пошли искать. Но мы не нашли ее. Потом мы позвонили в полицию с мобильного господина Даннера.

Ф: Как господин Даннер вел себя?

А: Что вы имеете в виду?

Ф: Когда он обнаружил, что его жены нет на месте, во время поисков на следующий день — как он вам показался?

А: Обеспокоенным, конечно. Он был совершенно разбитым. А как бы вам было, если бы ваша жена внезапно бесследно исчезла, без всякой причины?

...

Ф: Ваши одноклассники Берит Шнайдер и Марко Хельберг говорят, что никто из вас не заметил, как ушла госпожа Даннер.

А: По крайней мере, я — точно.

Ф: Ваш ректор говорит, что спальня находится на втором этаже хижины. Второго выхода нет, то есть, чтобы выйти, нужно спуститься в общую комнату.

А: Именно в этом вся и штука. Она, должно быть, выпрыгнула со второго этажа.

Ф: А вы видели, как госпожа Даннер уходила наверх спать?

А: (Пауза.) Думаю, да. (Пауза.) Ну, точно никто не видел, как она уходила. Она, должно быть, спрыгнула. Или еще как-нибудь.

Ф: Окно, из которого, по вашим словам, выпрыгнула госпожа Даннер, находится почти в четырех с половиной метрах над землей. Это очень высоко. Коллеги из австрийской полиции должны были в таком случае найти, по крайней мере, четкие отпечатки ног под окном. Но не нашли. Как вы это объясните?

А: Откуда мне знать?

Ф: Вы же, наверное, задумывались над этим?

А: Это ж ваша работа, не моя.

Ф: Вы хотите что-нибудь добавить к своим показаниям?

А: (Пауза. Свидетель Хайко Маркварт несколько раз нервно сглотнул.)

Ф: Вы уверены, что вам больше нечего сказать?

А: Да, я уверен.

— Почему вы не сказали мне об этом? — спросила Мона и посмотрела на Боуда, сидевшего напротив нее за письменным столом.

Его кабинет был едва ли больше кабинета Моны, но с третьего этажа открывался чудесный вид на историческую достопримечательность Мисбаха — рыночную площадь. Мона на минуточку представила себе, каково это — работать в таком идиллическом окружении. Справа от нее сидел, развалившись на стуле, Фишер, как всегда молчаливый и насупленный.

Боуд же, напротив, выглядел очень довольным.

— Ага, вы тоже обратили внимание на эту странность. Я хотел, чтобы вы сами заметили, на основании протоколов. Решил не оказывать на вас давление.

— А-а.

— И что вы думаете по этому поводу?

— Ну, это же очевидно. Как госпожа Даннер вышла из хижины? И главное, зачем?

— Думаете, свидетели лгали? Все?

Ясно: его очень волнует этот вопрос, именно поэтому он и пришел. Потому как не знает, что делать дальше. Ведь подозрение, которое напрашивается после прочтения протоколов свидетельских показаний, просто жуткое, но, возможно, не имеет под собой никаких оснований. Если Боуд еще раз начнет допрашивать детей, у него могут возникнуть неприятности со школьным руководством, с родителями учеников и, наконец, со своим начальством. Но если подключится Мона, Боуда уже ни в чем нельзя будет упрекнуть. Вполне вероятно, что он сказал своему руководству, будто Мона просила его о помощи. Притом, что в действительности все было с точностью до наоборот.

— Дело Штайера пришлось очень кстати, а? Теперь я должна делать вашу работу, не так ли?

На это Боуд ничего не сказал. Взгляд Моны упал на календарь на стене — на нем были нарисованы лошади. Сегодня пятница, 18 ноября. Она решила отослать Фишера домой, а самой остаться здесь на выходные. Если до вечера субботы не будет ничего нового, придется Боуду действовать по своему усмотрению.

— Интернат Иссинг существует с 1930 года и был основан тогда одним фондом, — рассказывал ректор, когда они совершали небольшую экскурсию по парку. — Этот фонд существует и сегодня. Он, кроме всего прочего, выделяет средства на стипендии одаренным, но бедным ученикам. На данный момент у нас сто восемьдесят два ученика живут в интернате и сорок три приходящих. Изначально здесь учились только мальчики, до того момента, как руководство фонда в 1967 — я думаю, это было в шестьдесят седьмом, если не ошибаюсь, — решило ввести совместное обучение. Но по-прежнему в интернате мальчиков примерно в два раза больше, чем девочек, и это соотношение не меняется на протяжении уже двадцати лет.

— Как так вышло?

— Спросите что попроще. Вот, справа, Дубовый дом. В парке кроме здания школы с столовой на первом этаже и классными комнатами на втором есть еще четыре дома и большая спортплощадка. У всех домов свои названия: это Лесной дом, Буковый дом, Дубовый дом и Флигель. Здесь ученики живут по двое в комнате. Выпускники получают

комнату на одного человека, если хотят. Удивительно, но мало кто так делает.

— Чем вы это объясняете? — спросила Мона.

Ректор не ответил. Начался маленький дождик, он словно паутинкой опутал волосы Моны, ее ветровку, легкий пушок на лице, ресницы. Они все вместе пересекли ярко-зеленую лужайку по широкой дорожке, выложенной белой галькой, и подошли к главному корпусу.

Наконец ректор сказал:

— Здесь очень сильное давление коллектива. — И снова замолчал.

Мона посмотрела на него сбоку. Он показался ей почему-то обессиленным.

— Насколько? — спросила она.

— Здесь нельзя слишком долго быть одному. Тот, кто много времени проводит сам, быстро становится аутсайдером. А став им однажды, уже ничего не может изменить. Молодежь ведь не знает жалости.

Они стояли у подножия лестницы, ведущей к входу в главный корпус. Дождь усилился. В середине дня небо было таким мрачным, затянутым тучами, как будто уже наступили сумерки.

— У меня есть еще пара вопросов о происшествии в хижине.

— Мне очень жаль, но мне нечего вам сказать по этому поводу. Меня там не было. — Ректор скрестил руки на груди и бросил тоскливый взгляд на вход в здание. Он явно хотел избавиться от нее.

— А это не важно. Я хотела кое-что уточнить по поводу вылазок.

— Каких вылазок? Вы имеете в виду походы дружбы?

— Да. Они проходят каждый год в начале учебного года, да?

Ректор вздохнул и подал ей знак идти за ним. Они прошли в его кабинет.

— Походы дружбы — думаю, вы считаете, что это название слегка устарело...

— Ну да, в общем.

— Они уже давно так называются — просто привыкаешь, видите ли.

— Да. А какова цель этих походов?

— Их устраивают для того, чтобы усилить чувство товарищества между учениками и учителями. Все ученики являются членами определенного сообщества, и во главе такого сообщества стоит учитель. Раз в неделю, как правило, по понедельникам, устраивается так называемый вечер сообщества. Присутствовать на нем обязательно для всех учеников и, конечно же, для ответственного за эту группу учителя.

— И что они делают на таком вечере?

— Что-нибудь организуют вместе или встречаются дома у того или иного преподавателя, разговаривают, ведут дискуссии...

— И это повышает чувство товарищества?

Ректор улыбнулся.

— Да, именно в этом весь смысл. Если конкретнее, речь идет о том, чтобы помочь тем ученикам, которым сложно прижиться здесь.

— Принято ли, чтобы ученики в таком сообществе говорили учителю «ты»?

— Ну, такое, естественно, случается. Конечно, мне лучше, если сохраняется дистанция. Такая практика, прежде всего, плохо отражается на остальных учениках.

— Вы, конечно, знаете, что в сообществе господина Даннера четверо учеников были с господином Даннером на «ты», а остальные нет. Остальные были с ним на «вы».

Ректор напрягся, как будто его поймали на недоработке.

— Вы не знали этого?

— Нет, — признался он. — Я даже вынужден сказать, что если это правда, то я считаю это неправильным.

Он снова показался усталым и обессиленным.

— Мои возможности, знаете ли, ограничены. Я не могу заглянуть людям в душу.

Теперь он уже не мог скрывать свое нетерпение. Демонстративно бросил взгляд на открытый кожаный ежедневник, который лежал прямо перед ним на тщательно убранном столе. Вежливый, но однозначный намек. Он больше не хотел говорить на эту тему. С него довольно уже того, что здесь была полиция и перевернула все в квартире Даннера вверх дном и что родители начали беспокоиться о безопасности своих отпрысков.

— Еще один, последний, вопрос, — сказала Мона, послушно вставая. — Каким образом вы тогда узнали о происшедшем?

— Что вы имеете в виду? — Его голос звучал уже очень рассерженно. — Мне позвонили.

— Кто вам позвонил?

— Михаэль Даннер, конечно, кто же еще?

— И что он сказал?

Ректор тоже встал, повернулся к Моне спиной и стал смотреть в окно за своим столом. Стоявшей напротив окна Моне был виден только его силуэт. Тем временем дождь уже громко стучал в стекла.

— Что он мог сказать? Случилось что-то страшное... Я уже точно не помню.

Что-то, может быть, едва заметное колебание, заставило ее спрашивать дальше.

— Когда группа вернулась — что было потом?

— Скажите, к чему вы клоните?

— Просто ответьте. Что произошло здесь? Пришел ли Даннер к вам, чтобы рассказать обо всем, или вы пошли к нему домой? Как это было? Уточните, пожалуйста.

Ректор снова сел, вздохнул и сцепил руки на животе.

— Нет, не так. Они пришли сюда ко мне сразу же, как только вышли из автобуса.

— Вся группа?

— Да, — снова это колебание. — Нет. Только Даннер, Берит, Сабина, Петер, Хайко и Марко.

— Вам не показалось это странным?

— Станным в смысле удивился ли я?

— Да. Я имею в виду то, что они пришли к вам все вместе.

— Да-а-а... — медленно протянул ректор. — Они все сидели здесь, как будто Даннера нужно было...

— Защищать?

Ректор стал смотреть в точку, куда-то над головой Моны. Наконец он заговорил, и голос его при этом звучал отстраненно.

— Я был действительно тронут тем, что они не хотели его оставить в этот момент. Что между ними существует такая сплоченность. Это было очень трогательно.

Он не сказал, что это показалось ему подозрительным. Уже тогда, не только сегодня.

За ужином Мона села как можно дальше от Даннера, во главе преподавательского

стола. Ей было совершенно все равно, что она заняла чье-то постоянное место. Хотя в этот раз можно было не беспокоиться — многие, вероятно, уже отдыхали. Жуя жесткий стейк в расплавленном масле с зеленым сыром, Мона бросила взгляд на учеников. Они уже не казались ей безликой массой, как было в первый вечер. Она выделила некоторые лица: красивую светловолосую девушку, паренька лет четырнадцати, бросающего в другого ученика шарики из бумаги; полного мальчика лет двенадцати, молча поглощающего огромную порцию жареной картошки. Рука, лежащая на спине девушки, вероятно, была рукой ее подруги.

Странное ощущение: смотреть на этот микрокосмос сверху, как будто принадлежишь к другому виду живых существ. Впрочем, так оно и было: она сделана из другого теста, это однозначно. Ничто не связывает ее с этими подростками, даже воспоминания о том, что когда-то она была такой же юной. Было видно невооруженным глазом, что как индивидуумы эти подростки очень сильно отличались один от другого. Они относились к типу людей, совершенно незнакомых Моне, с которыми она до сих пор не сталкивалась. Несмотря на дикость поведения и распущенность, они каким-то образом выглядели воспитанными и осознающими, чего хотят, что казалось Моне неестественным, примерно как в случае со звездами кино и эстрады. С этим нужно было родиться или подсмотреть это у родителей, совершенно неосознанно.

У Моны не от кого было унаследовать это, не у кого подсмотреть.

После ужина ректор стал в дверях и попросил внимания. Прошло как минимум минуты две, пока в столовой не наступило относительное спокойствие. Больше двух сотен лиц повернулись к входу, и Мона снова почувствовала исходящую от них нервную энергию, как будто всех постоянно било током. Ректор, указав на Мону, представил ее как официальное лицо, ведущее расследование. Попросил всех учеников сотрудничать с ней, если это будет необходимо.

— Если кто-нибудь из вас что-то знает, — обратилась к ученикам Мона, — кроме того, что было рассказано полиции, может обратиться ко мне сегодня или завтра. Я живу в «Гастхоф цур пост», комната 41, телефон 764-41. По этому номеру меня можно застать сегодня и завтра целый вечер. Спасибо. Да, и еще кое-что. Если кто-то не сообщит того, что знает, он становится соучастником преступления. Так работает наше правосудие.

После этих слов она снова села.

Случайно ее взгляд упал на Даннера. Тот совершенно открыто смотрел на нее. Его взгляд выражал интерес и дружелюбие. Она отвернулась.

Что есть правда?

То, что мы подразумеваем под словом «правда», есть не что иное, как субъективное понятие, порождение мозга. Или же принимаемая по умолчанию социальная договоренность видеть вещи именно такими, а не иными.

Зачем нужна эта договоренность? (Qui bono est?)^[10]

Как правило, правящему классу. Он устанавливает нормы, по которым живут, думают, чувствуют, действуют в том или ином обществе. Они влияют на язык, создают осознаваемую действительность и, тем самым, способ понимания окружающего мира.

Например?

Стол называется столом на основании договоренности называть таким образом деревянную доску с четырьмя опорами.

Уже дня два у Берит такое чувство, что за ней следят. Ее соседка по комнате лежит в больнице — у нее грипп. И Берит приходится ночевать одной. И дневать тоже. Как раз со времени этого похода дружбы она поняла, насколько одинока, хотя вокруг нее постоянно были люди. Никто не замечает, что у нее на душе. По крайней мере, так ей кажется. Всегда остаешься одна, когда не можешь никому довериться. Нельзя довериться, зная, что никто не поймет, о чем речь.

Дело же не в словах, Берит. Важны не факты сами по себе, важна правда, которая лежит в их основе. Мы знаем, как звучит эта правда, да? И один в поле воин.

Но в кошмарах Берит постоянно возникает эта жуткая луна, которая однажды унесла всех. Она не может избавиться от воспоминаний о мечущемся пламени свечи в хижине, о моменте, когда Даннер поднялся наверх, — они слышали его шаги над своими головами и тихие глубокие вздохи, когда он забирался в спальник.

Тогда Марко, Петер и Хайко уже распаковали свою травку и прочее дерьмо, прямо на деревянном столе, на котором еще стояли тарелки с недоеденным ужином и полупустые залапанные винные бокалы. Сабина откуда-то, как по волшебству, извлекла одну из стеклянных трубочек с отверстием, которое нужно было закрывать рукой, когда затягиваешься. Потом следовало отнять руку, и получалась дополнительная затяжка. Они смешали все вместе, как в лихорадке. Зеленый турок, тайская трава и марокканское масло. Это была опасная смесь, и все это знали. Они еще до этого, под спагетти по-арабски, выпили по бокалу крепкого красного вина, которое принес Даннер, хотя знали, что алкоголь и наркотики сочетаются плохо.

— У кого-нибудь есть колеса?

Все покачали головами, с сожалением. Еще бы и колес наглоотались! Как будто им было все равно.

Петер раскурил трубку, глубоко затянулся и передал ее Сабине. Запах смеси гашиша с другой травой наполнил маленькую узкую комнату, пополз наверх, в спальню, но какая разница! Берит тоже было все равно, заметит ли Даннер что-нибудь, какая-то часть ее даже хотела этого. Спровоцировать его.

Ей хотелось сделать первую затяжку, почувствовать пряный вкус дыма и ощутить сухость во рту после затяжки. Она любила это чувство: медленно растворяешься в реальности, ощущаешь себя смелым и бесстрашным, как путешественник, бесконечно долго исследующий превращения собственного «я». Иногда она превращалась в безмолвный камень, иногда начинала болтать без умолку, слова изливались из нее, как водопад, и ей казалось, что вместо нее говорит кто-то другой. Иногда время и пространство в ее восприятии искажались, минуты становились часами, а предметы, находившиеся прямо перед ней, казались недостижимыми, словно были далеко-далеко.

В тот вечер все началось как обычно. Подозрительная тишина, пока все курили, безудержный смех потом, разговор, распадающийся на бессвязные предложения.

Они не докурили трубу до конца, хотя их было пятеро, и оставили первоклассное месиво тлеть в трубке, лежавшей в пепельнице. Это должно было их насторожить. Но все равно было поздно. Слишком сильный наркотик был в них, кружил по венам, отравлял чувства, разжигал страхи, превращающиеся в кошмары, которые забывались наутро. Но этого они никогда не забудут.

Сабина встала первой, она была бледной и слегка покачивалась.

— Мне нужно выйти.

И тут же Берит показалось, что стены деревянной хижины наваливаются на них. Тяжелый стол вдруг слегка закачался, пламя свечей становилось все меньше, как будто не хватало воздуха.

— Я с тобой, — сказала Берит.

А там была луна. Холодный угрожающий свет заливал остроконечные скалы напротив. Создавал тени, такие угольно-черные и страшные, что у обеих вырвался вскрик ужаса.

— Помогите, — прошептал кто-то рядом с Берит, которая и сама с трудом двигалась, не говоря уже о том, чтобы кому-то помочь.

Тем временем вышли уже все. Перед ней Петер упал на колени и стал блевать.

— Мне так плохо!

— Мне страшно.

— Я больше не могу.

Луна уставилась на Берит. У нее было лицо. Луна отвечала на мысленные вопросы Берит о вещах, о которых она не хотела знать. О смерти и разложении, об отсутствии безопасности и любви в ее жизни. О раке, зародышевая клетка которого уже притаилась в ней, чтобы затем убить ее или свести с ума (что одно и то же).

— Мне кажется, я больше не могу.

Берит одна в своей комнате. После возвращения из похода дружбы она ее ненавидит. Весь Лесной дом ненавидит, потому что тут все из дерева, точно как в хижине. Она ненавидит скрип половиц, неясные шорохи, которые по ночам издает дерево, когда потягиваешься или сворачиваешься калачиком, или еще что-нибудь, от чего просыпалась Берит. Открыв окно, она слышит вой ветра в высоких соснах, и это тоже напоминает ей о хижине.

Она слышит, как кто-то поднимается по лестнице.

Рывком вскочив, она подбегает к выключателю и включает свет. Потом, дрожа, становится за дверь и прислушивается к шагам, которые нерешительно приближаются. На лбу у нее выступает пот.

Мона снова маленькая девочка, которая идет с бабушкой в зоопарк. Солнечный день, такой жаркий, что воздух кажется пыльным, и кожа Моны сухая на ощупь, как будто она в песке. Они смотрят на слонов, которые качают своими тяжелыми серыми головами, и бабушка держит Мону за руку, и Мона так счастлива, как это только может быть, потому что в присутствии бабушки ей ничего не нужно бояться. Бабушка не молчит целый день, как будто Моны и нет вовсе. И не ворчит часами непонятно о чем, глядя при этом на Мону так, как будто первый раз ее видит. Бабушка ведет себя, как должна была бы вести себя мама: предсказуемо, не говорит ничего, чего не имеет в виду, она любящая и понимающая, и если уж Мона заслужила, может быть и строгой. Кроме того, она и выглядит так, как должна выглядеть добрая бабушка из сказки. И это нравится Моне. Уже только потому, что ее мама вообще не соответствует ни одному из критериев хорошей мамы из сказки.

— Когда мне снова возвращаться к маме?

— Сегодня вечером, сокровище мое. Ты же знаешь.

И на этом месте сон каждый раз заканчивается слезами маленькой Моны.

Она ненавидит этот сон.

Проснулась и некоторое время не может ничего сообразить. Половина десятого вечера, она проспала почти целый час как убитая. Мама явилась снова, и это надолго.

В Моне существует некий автопилот, который установила мать. Мона называет это именно так, потому что та управляет ею издалека. Автопилот гонит ее от людей, которых она любит. Заставляет ее говорить не то, делать не то, и близкие, любовные отношения становятся невозможными.

Именно так и вышло с Антоном. Когда он был в тюрьме, она не навещала его. Боялась, что их отношения станут известны всем. Комиссар уголовной полиции Мона Зайлер спит с заключенным. В этом случае на карьере пришлось бы поставить крест.

— *Я заботился бы о тебе, — сказал тогда Антон.*

— *Ты? Каким образом? Из тюрьмы?*

— *У меня ведь на свободе есть свои люди.*

Жить, подчиняясь закону, — это не для Антона. Закон — это одно, жизнь Антона и его бизнес — совершенно другое. Одно другого совершенно не касается, кроме тех случаев, когда они пересекаются. Это вполне может случиться, и от этого желательно застраховаться. Так это представляет себе Антон. Конечно же, при таких обстоятельствах жить с ним она не может. К тому же эта его ревность и постоянные истории с женщинами... Ему и в голову не приходит, что можно измениться.

За окнами отеля свистит ветер. Внизу, в кафе, шумит тесная компания, отмечает круглую дату. Тяжелые ритмы старых хитов диско проникают в ее комнату. Вот так и отмечают праздники в провинции. Мона представила себе гостей: покрасневшиеся дородные мужчины и женщины с взлохмаченными прическами «спереди-коротко-сзади-длинно» деланно смеются над каждой дешевой шуткой, чтобы люди видели, как им весело. В это время, наверное, пьют первые стопки шнапса, чтобы снова поднять падающее настроение.

Мона открыла застекленную балконную дверь. В комнату ворвался ветер, запахло снегом. Скоро выпадет первый снег. К Рождеству все снова растает, а где-то в конце декабря — начале января, возможно, снова пойдет снег и похолодает. Мона любит, когда холодно. В теплом климате она чувствует себя неуверенно. Она любит холод, потому что она сопротивляется ему, а ей необходимо сопротивляться, чтобы ощущать себя живой.

Мона закрыла балконную дверь, надела на футболку толстый свитер и снова вышла на балкон.

Ветер стал играть с волосами, лицо покраснелось. Перегнулась через перила балкона и посмотрела вниз на тихую темную улицу. Прикурила сигарету и стала следить за тем, как дым растворяется в темноте. Вкус у сигареты приятный, странно, но так бывает всегда, когда ей грустно или она чувствует свою беспомощность. Понимает ли она, что представляет собой мишень, потому что оставила в комнате свет и ее силуэт хорошо виден с улицы. Не надо ей тут стоять, нужно сидеть в комнате и ждать звонка или стука в дверь.

Если бы Кригер увидел ее сейчас, он бы подумал, что она не в своем уме. Пока это не ее дело, и, наверное, она и не будет им заниматься. Может быть, ее руководство даже не позволит оплатить комнату в отеле. У нее действительно есть только эти выходные, чтобы доказать, что между двумя убийствами существует связь. Но какая? Ни малейшего представления, ни малейшей идеи.

Она уверена только в одном: что-то тут не так. Ученики из группы Даннера солгали, это понятно. Боуд не хотел об этом говорить, да и она тоже, но все это выглядит как классическое умышленное убийство. У Моны по спине пробежали мурашки. От этой мысли стало не по себе.

Жена Даннера не выпрыгивала из окна. Если бы она это сделала — с высоты более четырех метров, — хотя бы кто-нибудь из них услышал бы шум. И остались бы следы на влажной земле. Но местная полиция ничего подобного не обнаружила. Даже трава под окном не была примята — так написано в отчете.

Теперь у нее есть два дня. Вообще-то она не верит, что кто-то придет к ней и станет откровенничать. Но, по крайней мере, она может сказать, что предоставила такую возможность. С понедельника тогда пусть снова приступает Боуд. А ей придется вернуться в город.

А если ученики следят друг за другом, чтобы быть уверенными, что никто не усомнится в их миленькой, крепко связанной истории?

Не глупи, Мона. Успокойся.

Что-то крепко зацепило ее, и дело тут не только в расследовании.

Берит, скрючившись, сидит в павильоне для курильщиков между Лесным домом и Сосновым домом. У ее ног лежат семь или восемь окурков, все ее. Она сидит здесь уже полчаса и курит сигареты одну за другой. Закуталась в пальто поплотнее, но оно модное, короткое и плохо греет. В павильоне очень темно и страшно холодно, и, тем не менее, здесь она чувствует себя в большей безопасности, чем в своей теплой и светлой комнате.

Раздается скрип шагов по гальке. Берит вся сжимается. Сейчас ей не хочется ни с кем разговаривать. Но чтобы избежать этого, ей нужно встать и бегом убраться отсюда, а это, опять же, слишком неприятно делать.

Шаги замедлились. Она видит, как вспыхнул красный огонек сигареты (вообще-то курить можно только в павильоне, но никто не придерживается этого правила). Через пару

секунд она узнает Хайко по его характерной осанке: голова слегка наклонена вперед, как будто он идет по следу. Хайко называют Стробо, потому что однажды на школьной вечеринке со стробоскопическим светом он упал в обморок. Когда световые вспышки стали мигать каждую десятую долю секунды, Хайко просто отключился.

Стробо стоит, небрежно прислонившись к столбу у входа в павильон, курит и молчит. Очевидно, в темноте он не видит, что здесь есть кто-то еще. Берит откашлялась. Парень вздрогнул.

— Эй, кто здесь?

— Я, Берит.

— Берит. — Голос Стробо звучал так, будто он произнес ее имя с улыбкой, как бы пробуя на вкус каждый слог.

Ей очень хочется доверять ему, но она не уверена, что может это сделать. Он — один из любимчиков Даннера, слепо предан ему.

— Где ты?

Стробо вошел в павильон. Берит помахала ему горящей спичкой. Постепенно ее страхи стали рассеиваться. Так хорошо, что Стробо здесь и что он рад ее видеть. Все остальное внезапно стало неважным и далеким. Стробо садится рядом с ней. Очень близко к ней. Его рука касается ее руки, и одного этого достаточно, чтобы в ней полыхнуло пламя, растопившее все страхи, и теперь осталось только ощущение тела Стробо, так близко к ней.

Половина десятого. Кто-то из гостей громко прощается на улице под окном Моны. Гудя и рыча, отъезжают машины, а вечеринка продолжается. Мона лежит на слишком мягкой постели с огромной подушкой и думает, можно ли сейчас позвонить сестре. Лин старше ее на шесть лет, в отличие от нее — уверенная в себе женщина, которая знает, чего хочет. Лин — самый важный человек в ее жизни.

И она хватается телефонную трубку с тумбочки. Потом, минуту подумав, берет мобилку: а вдруг ей кто-то позвонит.

Стробо целует Берит. Просто чудесно чувствовать его теплые крепкие губы на своих. Она словно в трансе. Все ее существо тянется к Стробо, который медленно расстегивает ее пальто и пробирается через многочисленные одежки к ее груди. Он тихонько вздыхает, когда, наконец, касается ее кожи. Берит еще никогда не ощущала ничего подобного. Даже не знала, что такое возможно. При этом она вовсе не неопытна (сейчас уже не встретишь таких, у кого в шестнадцать лет нет никакого опыта в этих делах). Но то, что было раньше, не идет ни в какое сравнение с тем, что происходит сейчас. Раньше секс был для нее чем-то вроде спорта. Им занимаются, чтобы потом рассказать подружкам, *как было в постели*. Надеюсь, что партнер ее, в свою очередь, похвалит. Конечно, всегда существует риск, что тот охарактеризует ее как фригидную и зажатую. Если это случается, пиши пропало.

Стробо мягко тянет ее к себе, пока она не садится на него верхом. Он не перестает целовать ее. Она как воск в его руках, и каждое движение, каждое касание кажется ей абсолютно правильным, как будто она ждала его всю жизнь. Этого мужчину. Такое ощущение, что ее губы не могут больше оторваться от его губ. Холод, ветер, вероятность, что кто-то будет проходить мимо и заметит их — все кажется таким неважным...

— Я хочу тебя, — шепчет Стробо и скользит языком по ее губам. — Я так хочу тебя!

Он опускается ниже, внезапно раздается резкий шипящий звук: он сделал огромную

дырку на ее тонких колготках. Вот так просто. Она улыбается. Это кажется ей диким, романтичным и смелым поступком, и вот Стробо уже в ней.

— Тебе следовало бы навестить маму, она ведь совсем рядом, — говорит Лин, подавляя зевок.

— Ты устала. — Голос Моны полон раскаяния.

— Ага. У Херберта проблемы в школе. По утрам ему постоянно плохо.

— Он же первый год в гимназии. Он привыкнет. У Лукаса тоже было так поначалу. Как у него дела, кстати? Как он себя вел?

— Хорошо. Говорил о тебе. Он постоянно говорит, как это здорово, что его мать — ищейка.

— Что?

— Да. Все хотела тебе как-нибудь сказать. Остальные дети при этом огорчаются.

Но Моне очень нравится, что сын ею гордится. Лин просто завидует. Мона себя одергивает. Не нужно сваливать с больной головы на здоровую: на самом деле это она завидует Лин. Не может забыть, что Лин росла рядом с отцом, в то время как ей приходилось мучиться с матерью.

— Когда ты видела маму в последний раз? — спрашивает Лин, и в ее голосе невольно появляются строгие нотки.

— Перестань. Ты же знаешь, я к ней больше не хожу. Она даже не узнает меня.

— Да, потому что ты к ней не ходишь.

Мона не хочет говорить о матери, которая уже много лет находится в доме для престарелых. Даже Лин она не рассказала всего, что случилось тогда. Уже годы Лин пытается уговорить ее пройти терапию. Лин верит, что правда освобождает, как только ее выскажешь. Она часто говорит это, когда они разговаривают по телефону. Может быть, она прочла об этом в журнале. Мона не может согласиться с тем, что есть вещи, которые становятся менее страшными от того, что их вытаскивают наружу. Они просто мутируют и становятся такими монстрами, что от них потом уже не избавиться.

— Мне нужен твой совет, — говорит Мона, потому что знает: так Лин отвлечь легче всего.

И точно — Лин тут же переключается.

— Что случилось?

Проблема в том, что Моне ничего не приходит в голову. Да, и правда, что случилось? Зачем она вообще звонит Лин?

— Дело в Антоне, — говорит она наобум.

Собственно, ей нечего сказать об Антоне, что бы уже не обсуждалось добрую сотню раз.

— Мона, этот тип не для тебя. Эти... эти махинации, которыми он занимается. И истории с женщинами. Какая разница, как он относится к Лукасу, он не нужен тебе — у тебя же есть мы.

— Да, я знаю. Но Лукас любит его.

На другом конце телефонной линии раздается громкий вздох.

— Лукас любит его... Очень смешно! Это *ты* не можешь его забыть.

— Вовсе нет, — настаивает Мона.

Этот разговор внезапно начинает действовать ей на нервы. Эти вечные стоны: ах, мужчины! Перед внутренним взором Моны возникает этакая бесконечная стена плача, а

возле нее в основном женщины, которые, громко рыдая, падают ниц, бьются лбом о землю, разбивают его в кровь. Снова и снова. Вечный бессмысленный ритуал. Возможно, в эту самую секунду по всему миру ведутся сотни разговоров на такую же тему. Я же его люблю. Но он тебе не пара. Но я не могу иначе.

— Да что с тобой такое? — спрашивает Лин, она слегка раздражена.

Все из Моны надо как клещами тянуть, никогда сама не расскажет. Зачем же тогда звонить, если нет желания разговаривать?

— Я... Мне очень жаль, Лин.

Так и есть. Она разбудила сестру неизвестно зачем. Лин не может ей помочь в той ситуации, в которой она сейчас оказалась. Лучше всего, если бы у Лин не было бесплатного приложения — ее семьи. Когда они обе были молодыми, некоторое время жили вместе. Самое счастливое время в жизни Моны.

— Ты еще помнишь, как мы с тобой жили в квартире на Тюркенштрассе?

Лин смеется. Вот и помирились! Она тоже любит вспоминать об этом. Но с тех пор ее жизнь стала насыщеннее, а жизнь Моны, очевидно, нет.

— Ложись спать, Мона, — мягко говорит она. — Можем еще завтра поговорить.

Берит начинает безудержно всхлипывать. Еще никогда во время этого она не плакала. Стробо крепко прижимает ее к себе, как сумасшедший. Наступает миг, когда Берит кажется, что она парит в воздухе. И в тот же миг возникает чувство, что внутри что-то разрывается. Маленькое горячее солнце взрывается у нее между ног, и вдруг все заканчивается.

Снова чувствуется холод и сырость. Стробо тоже дрожит в ее объятиях. Немного отодвигается от нее и откидывает с ее лба светлые волосы.

— Ты красивая. — Его голос тоже дрожит.

При этом лицо ее он помнит довольно смутно. Оба, смущенные, встают. Ноги, как ватные.

— Хочешь сигарету?

— Да, спасибо.

Берит держит сигарету, ее пальцы трясутся, когда он помогает ей прикурить. Наконец она жадно вдыхает дым. В этот момент она замечает, что сигарета необычная. Вкус у нее сладковатый, как у гашиша, и аромат странный. Стробо, вероятно, макал ее в марокканское масло. Берит кашляет. Не может поверить, что он дал ей это. После всего того, что произошло в хижине. Она злится на него, бросает сигарету на пол и топчет ее.

— Эй, что случилось? — спрашивает Стробо.

Его голос стал высоким и глухим, потому что в легких у него дым, он удерживает его, чтобы сильнее вставило. Теперь он не кажется ей привлекательным, он просто смешон.

— Зачем ты это сделал? Если я хочу покурить, я говорю.

— Извини. Мне очень жаль. Сядь, пожалуйста. — Стробо тянет ее за полу пальто. — Ну же, пожалуйста! — Он выдохнул дым, и голос его снова звучит нормально.

Берит снова садится, но теперь ей одиноко, и она чувствует себя протрезвевшей.

— Было здорово. С тобой.

Берит почувствовала, что он смотрит на нее.

— Да, мне тоже понравилось, — говорит она, улыбнувшись в темноту, хотя ей теперь совсем нехорошо.

В голосе Стробо слышна фальшь. Как будто он преследует некую цель. Цель, которая не

имеет ничего общего с тем, что они только что пережили вместе.

— Ты, вообще, в порядке? — спрашивает он. И снова слова прозвучали, как заученные.

— Нормально. Все о'кей. — Берит все еще дрожит.

Уже явно больше чем десять часов, и комендант делает обход. Комендант преподает в их классе физику и математику, он не очень хорошо относится к Берит, потому что ей не даются оба предмета. Но она в нерешительности остается сидеть.

— Я имею в виду, после всего этого. Нормально?

— Нормально, — говорит Берит, все еще настороженно, сама не зная, почему.

— А что именно ты рассказала ищейкам?

Вот оно что! Все это время Стробо думал о своем любимом Даннере. Боится, что она подведет. Разочарование настолько сильное, что у нее чуть было пол не ушел из-под ног. Может быть, он и переспал с ней только поэтому. Потому что хотел привлечь ее на свою сторону, а его сторона — это сторона Даннера.

Но она внешне остается спокойной.

— Я сказала им, как мы и договорились. Еще вопросы?

— Я просто... Это невероятно трудно для нас. Было бы неудивительно, если бы ты...

— Что?

— Сломалась. — Снова смотрит на нее настороженно.

Берит ушам своим не верит.

— Ты с Даннером об этом договаривался?

— О чем? Ты что?

— *Что ты меня приласкаешь разок...* — Невольно Берит подражает интонации Даннера, говорит слегка в нос, голос звучит елейно. Она все больше раздражается.

— Ты что-то имеешь против Даннера, — подытоживает Стробо.

Бросает на пол еще тлеющий окурочок.

— Нет, но...

— Что?

— Он делает так, чтобы вы зависели от него. От его мнения, его... не знаю... — Взмахнула руками в поисках нужных слов. — От его теорий *о жизни и любви*, этого устаревшего философского хлама...

— А с чего ты взяла, скажи на милость, что это устарело? Ты что, читала Канта или Гегеля? Или Виттгенштейна?

— Нет, но ты тоже не читал. Тем не менее, ты веришь Даннеру на слово, не пытаешься анализировать. И это притом, что он нам все время рассказывает, что мы должны ко всему относиться критично. Освободиться *от унаследованных теорий*. Но ты бы посмотрел на себя, когда месье Даннер начинает рассуждать. Такой упоенный взгляд! Такое... Да все вы. Вы становитесь как загнипнотизированные, стоит только Даннеру рот открыть.

Берит испуганно замолчала. Это не то, что она хотела сказать. Она не собиралась обижать Стробо. Тот молчит. Но вдруг другой голос прошептал ей на ухо:

— Очень интересно то, что ты про нас думаешь.

Целую жутко длинную секунду Берит считает, что это Даннер. Но потом улавливает резкий запах лосьона после бритья, каким пользуется Петер. Он подкрался к павильону с тыльной стороны, прячась между деревьями. Все предусмотрено. Стробо должен был ее размягчить, а теперь Петер возьмется за промывание мозгов.

В моменты прояснения она знала, что ей предстоит. Снова она начала слышать голоса. Голоса были бездушны и бестелесны, но, тем не менее, реальны. Они использовали все возможные подходящие средства. Хотя они были всемогущи, им нужен был *носитель*. Иногда они приходили из телефона, иногда из тостера или из духовки.

Это всегда начинается внезапно. Например, она на прогулке, в пешеходной зоне в центре, и вдруг ее взгляд падает на плакат, и человек с плаката — актриса, модель, политик — начинает разговаривать с ней.

Конечно же, это все происходит не на самом деле. Сначала она всегда знала, что это всего лишь галлюцинации, что все эти явления она себе просто выдумывает. Сначала она мужественно игнорировала голоса, которые велели делать ей страшные, бессмысленные вещи, например, есть трупы или убивать собак. Иногда голоса пропадали, разочарованные или ослабленные тем, что она их старательно игнорировала. Но если обратить на голоса внимание или же начать им сопротивляться, спорить с ними, они берут верх, становятся все сильнее и требовательнее. Они становятся *реальными*.

Во второй фазе фантомы в ее мозгу вели себя как сумасшедшие, давали ложные приказы и вызывали фейерверк причудливых идей с параноидальным оттенком. Она уже была не в состоянии последовательно думать. Это был психический процесс, возбудители которого все еще не были исследованы. По крайней мере, врачи сказали ей, что это так. Поверить в это она так и не смогла. В таких ситуациях она воспринимала собственные мысли не как болезненные и противоестественные, а как логичные и последовательные. Когда она чувствовала себя лучше, врачи иногда показывали ей видеозаписи второй фазы, и она действительно видела женщину, которая творила невообразимые вещи. Женщину, которая, к примеру, становилась на стул и выливалась себе на голову стакан воды, а потом снова начинала плакать или бушевать.

Нет, не то чтобы она потом ничего не помнила. Она не теряла сознания. Она знала, что сделала, но не помнила почему. Только то, что ей внезапно показалось совершенно нормальным встать на стул и вылить себе на голову стакан воды. Как будто речь шла о своеобразном ритуале, который она должна была исполнить. Но понять этого не мог тот, кто не слышал того, что слышала она.

Она подняла глаза к небу, но неба не было видно. Ночь была черна, как бархат. Мокрый бархат, потому что шел дождь.

Нет.

У нее не было времени на поэтические наблюдения. Она скатывалась ко второй фазе, и ничего не могла с этим поделать. Ей давали лекарства, которые наполняли ее, делали неподъемной, ни к чему не способной, уничтожали ее. Дверь была распахнута, и голоса воспользовались своим шансом, проникли в нее и полностью подчинили себе. Стали давать ей задания. Ноги несли ее помимо воли по блестящей черной мостовой совершенно чужого города. Ей не нужен был гид, голоса надежно вели ее, и она, как всегда, когда находилась во второй фазе, перестала им сопротивляться. Они были слишком сильными, им не могла сопротивляться женщина, у которой не было ничего, кроме отрывочных воспоминаний, да и те могли материализоваться только при помощи голосов.

Она остановилась. Где она?

На несколько секунд у нее перехватило дыхание. Ее охватила паника.

Что-то в ней знало: уже слишком поздно что-либо менять. Ее просто-напросто занесет, если она попытается попасть на широкую улицу разума.

Еще одна попытка. «Ну хорошо, — благожелательно сказали голоса. — Потому что мы тебя любим».

И она снова поплыла против течения времени — очень сложный процесс для второй фазы, потому что такие понятия как время и пространство значат здесь очень мало. Когда-то, сегодня, но раньше, она снова была На Центральном вокзале, намотала пару кругов вокруг лотка с круассанами, но все же не решилась подойти. И в какой-то момент ее взгляд упал на электронное табло, на котором как раз плясали буквы и цифры. Когда они наконец успокоились, она смогла прочесть: «Кобург, путь № 6». И в этот момент голоса взяли верх.

Берит в одежде лежит на кровати, ее охватывает отчаяние. Она не боится Даннера, или Петера, или еще кого-нибудь, ее страх неконкретен. Ее чувство более размытое и вместе с тем всеобъемлющее. С той самой ночи в хижине она знает, что безопасность — это иллюзия. Ее жизнь разваливается на куски, а она только и может, что безучастно наблюдать за этим. Может ли она что-то сделать?

— *Мы не можем помешать тебе заговорить. Но подумай еще раз, что произойдет в этом случае. — Голос Петера звучит у нее в ушах.*

— *Нам нельзя было лгать ради Даннера. Это неправильно.*

— *Ты можешь говорить такое только потому, что не доверяешь ему.*

— *Конечно нет! С чего мне ему доверять? После всего того, что я видела...*

— *Давай не будем об этом дерьме!*

— *Дерьме, вот как? У тебя, похоже, не все дома.*

Самое страшное то, что Стробо сначала молчал, а потом — а чего ей еще было ожидать? — стал на сторону Петера.

— *Берит, подумай хорошенько. Как это все будет выглядеть, если один из нас сломается?*

— *Ах! Вот это и все, что тебя волнует? Как это будет выглядеть? Ничего важнее для тебя просто не существует, да?*

Ее голос звучит холодно, он срывается. Она ненавидит этот голос, он принадлежит той Берит, которую она раньше не знала, вообще не подозревала, что она существует.

И что теперь делать?

Моне кажется, что она — единственный пассажир на судне, которое, взревев двигателем, взяло курс на окутанный туманом остров. Мужчина в капитанской фуражке, прокомпостировавший ее билет на экскурсию, сказал, что сегодня последний рейс перед перерывом на зиму.

Мона стала на носу и перегнулась через выкрашенные в белый цвет перила, хотя здесь очень сыро и холодно, да и видимость плохая, потому что все съедает туман. Она смотрит на серую вспенившуюся воду. Много лет назад она уже была здесь, тогда стоял жаркий летний день, она была с парнем. Они сели на деревянную лавочку на палубе, прямо под палящим солнцем, болтали, и никто из множества туристов и хохочущих детей не обращал на них внимания. На Моне были узкие брюки из очень тонкого материала, и она помнит, как все пыталась втянуть животик, чтобы парень не заметил небольшую жировую складку.

Состояние влюбленности всегда вызывало у Моны много сложностей.

Может быть, дело в том, что ее внешность производила на мужчин ложное впечатление? Мужчины, насколько она могла судить из своего опыта, видели женщину с пышной грудью и немного ленивыми движениями; им казалось, что ее ничто не может вывести из состояния равновесия. Поэтому они думали, что она очень простая в общении и с ней хорошо в постели. Когда они познакомились с Моной ближе, выяснялось, что она человек серьезный и не очень остроумный. И в постели она тоже была не особо хороша, потому что с определенного момента не отзывалась на движения партнера, а отдавалась собственному ритму. Она просто не могла иначе, когда была возбуждена, и пока только Антон мог как-то с этим справиться. Остальные мужчины были недовольны, когда она начинала задавать ритм.

Секс — как танец, сказал один из них. Просто не получается, когда ведет женщина.

Воскресенье, вторая половина дня. Последний день пребывания Моны в Иссинге. Уже смеркается. Еще ни один ученик из сообщества Даннера не захотел поговорить с ней, и вообще никто. Вполне вероятно, что и не захочет. Такое ощущение, что ее нет. Уезжать нужно сегодня вечером, самое позднее, завтра утром, ничего так и не добившись, а ее коллеги будут рады посплетничать о ее неудаче. Она чувствует себя подавленной и одинокой, и мысль о том, что скоро снова придется спать в своей неприбранной, неудобной квартире, отнюдь не улучшает настроения. Мона вздохнула и стала думать о другом. Как всегда, она страшно устала. Под ней бурлит и клоочет разрезаемая носом вода, а от монотонного гудения мотора клонит в сон.

— Извините, — раздался сзади молодой ясный голос, и Мона, глаза которой как раз закрылись, вздрогнула. Потом повернулась, удивленная тем, что кроме нее есть еще пассажиры.

Перед ней стояла шестнадцатилетняя девушка со светлыми волосами до плеч, в коротком сером дорогом пальто. Она могла бы принадлежать к кружку Даннера, по возрасту подошла бы. Лицо порозовело от прохладного влажного воздуха, но глаза были усталыми и испуганными.

— Вы... та самая дама из полиции?

— Да. Я могу вам чем-то помочь?

Девушка стала рядом, облокотившись на поручни, и сказала:

— Я шла за вами больше часа. А вы и не заметили. — Она говорила ровно настолько

громко, чтобы перекрыть гул мотора.

Мона не ответила. Мысль о том, что кто-то наблюдал за ней достаточно долгое время, была ей неприятна. Зачем преследовать ее? С ней можно было связаться в любое время.

— Кажется, вы любите бывать на природе, — сказала девушка светским тоном, немного натянуто улыбаясь.

Она облокотилась на поручни, как Мона, и посмотрела на нее сбоку.

— О да, — только и сказала Мона, глядя прямо перед собой. Она просто терпеть не могла, когда комментировали ее привычки и манеру поведения. — Послушайте-ка... Вы, собственно, кто?

Реакция девушки и удивила ее, и в то же время не была неожиданной. Ее лицо побелело как простыня, она так резко сглотнула, что было видно, как дернулся кадык.

— Вы боитесь, — сказала Мона, ощущая легкий триумф.

Эта ситуация — появление нервной свидетельницы — была знакома ей, она снова почувствовала себя в своей тарелке. Но дело было не только в этом. Примешивался еще и охотничий азарт. Теперь она была уверена, что прокуковать тут все выходные было правильным решением.

Девушка, стоявшая рядом с ней, уже не была такой бледной и стала казаться более покорной, чем раньше.

— Я могу помочь вам, если вы расскажете мне все, что знаете, — сказала Мона.

Это была стандартная фраза, но она, как правило, оказывала нужное действие.

Девушка снова посмотрела на нее. Глаза у нее были темно-голубыми, очень красивыми. Очевидно, она не могла произнести больше ни слова. Это нормально, дело в том, что она не знала, с чего начать.

Роберт Амондсен долгие годы был активным защитником окружающей среды, и с тех времен у него осталось несколько привычек. Например, ездить на работу на трамвае, а не на машине. Правда, в центре города в рабочий день все равно негде припарковаться.

Но сегодня было воскресенье, город пуст, холодно, моросил дождь. До ближайшей остановки идти двенадцать минут, а это много, особенно если подумать, что в гараже у Амондсена стоит «форд», и сиденье у него с подогревом. Кроме того, воскресное расписание трамваев он не помнил. Одной из самых больших слабостей Амондсена было то, что он патологически не выносил сырости. Он даже принимать душ не особо любил. В восьмидесятые годы он участвовал в демонстрациях против использования энергии атома, в Васкердорфе, и дважды полицейский его окатил из водомета. После второго раза в Васкердорфе его больше не видели.

Амондсен положил пару документов в старый портфель из свиной кожи и направился к гардеробу, где в нерешительности остановился. Надеть плащ — значит выбрать поездку на трамвае. Если же он поедет на машине, то плащ ему не нужен, потому что в офисе есть подземная парковка, где сегодня можно будет безо всяких проблем поставить машину.

Он посмотрел на себя глазами своей жены, как он стоит молча перед гардеробом и буравит взглядом плащ. Конечно же, она назвала бы его поведение идиотским, вручила бы ему ключи от машины и легонько подтолкнула бы его по направлению к гаражу. Она всегда смеялась над его муками совести, неважно, по отношению к чему он их испытывал. Карла жила в гармонии с собой, потому что, как правило, делала именно то, что считала правильным в тот момент. Она думала, что все просто, потому что ей все легко давалось. Но

для него это было невозможным. Амондсен постоянно испытывал чувство вины, часто из-за пустяков. Он ничего не мог с этим поделать, считая это неизбежностью. Он скучал по Карле, по ее шуткам и веселому нраву. Но Карла уехала неделю назад и забрала с собой их общую дочь. «Это не навсегда, — сказала она ему. — Я просто хочу кое в чем разобраться».

Но ему лучше знать. Она влюбилась в другого мужчину и ушла, потому что именно в тот тяжелый момент он оказался недостаточно сильным, чтобы скрыть от нее свою озабоченность. Он должен был выдержать, по крайней мере, какое-то время, хотя бы пока они не справились бы с трудностями. Вместо этого он не вовремя стал ей исповедоваться и тем самым укрепил в решении бросить его. Вот как оно, скорее всего, было.

Амондсен непроизвольно бросил взгляд в зеркало в стиле модерн, стоявшее рядом с гардеробом, и увидел там мужчину в черном свитере с высоким воротом, с узким лицом и светлыми с проседью волосами, редующими надо лбом. Благодаря Карле он хотя бы одевался добротно и со вкусом.

Больше она не с ним. И, вероятно, они уже никогда не будут вместе.

Боль заставила уголки его губ опуститься, и к своему ужасу он заметил, что его глаза наполнились слезами. Она ушла, а он уверен в том, что не справится без нее. Вспомнил фразу, которую сказала Карла лет десять назад. Они знали друг друга только пару недель, и он был влюблен, как никогда. Они стояли рядом на шумной вечеринке, и Карла сказала ему на ухо, что он первый по-настоящему хороший человек из всех, кого она знала. Он тогда покачал головой, скорее рассерженный, чем польщенный. Хороший человек — тогда он был твердо уверен в том, что этот комплимент в понимании большинства людей звучит как замаскированное оскорбление. Хорошие люди — это слабаки и зануды.

Теперь он точно знал, что так оно и есть. Хороших людей не существует, есть только слабаки и зануды, которым не остается ничего другого, кроме как примерно вести себя, чтобы рассчитывать на благосклонность своего окружения. Но как только у них появляется возможность безнаказанно продемонстрировать свое настоящее «я», они оказываются самыми худшими. Хуже, чем среднестатистические мерзкие типы, каких достаточно много на свете.

Это был последний день в жизни Амондсена, но поскольку он этого, конечно же, не знал, то не мог оценить этот факт должным образом. Позже другие люди попытаются воссоздать каждую минуту его последнего дня, и у них будет с этим множество проблем, потому что в воскресенье его не увидит ни одна живая душа — кроме убийцы.

Может быть, Амондсен и пережил бы этот день, если бы сделал выбор в пользу машины. Но он так и не решился на это. Хотя на улице уже темнело и дождь полил еще сильнее, он снял с крючка плащ и взял зонт. Он знал, зачем он это делает. Просто хотел наказать сам себя. А еще он хотел отвлечься от постоянной, мучительной тоски по Карле. Ледяной дождь отвлечет его, и он сможет, наконец, хотя бы на несколько минут забыть о своем горе. А как только он окажется в офисе и включит компьютер, за кропотливой работой забудет обо всем. Этим и хороша его профессия: физикой нельзя заниматься между прочим. Она требует от человека выкладываться полностью. Впитывает чувства и страхи, нейтрализует страсти.

Амондсен удостоверился, что взял ключ, магнитную карточку, позволяющую попасть на этаж, где находится его офис, и достаточно денег, чтобы потом зайти куда-нибудь поесть. Этот ритуал занимал у него больше времени, чем у остальных людей, потому что он всегда был очень неловок, занимаясь повседневными делами. А теперь, когда он снова жил один,

не было никого, кто мог бы ему в этом помочь. Никого, кто в случае чего открыл бы ему дверь.

К тому времени, когда Амондсен наконец вышел из дома и сделал несколько шагов по мощеной дорожке, направляясь к калитке, уже было половина шестого вечера и темно, хоть глаз выколи. Шарниры калитки, как всегда, скрипнули, когда он открыл ее. Амондсен бросил последний взгляд на дом, где они жили с Карлой. Они купили его вместе, вместе отремонтировали, а теперь он казался мрачным и неухоженным. Жутким, в прямом смысле этого слова.

Дождь слегка утих и теперь только немного моросил. Амондсен шел по длинной каштановой аллее вниз, на другом ее конце находилась остановка трамвая. Воздух приятно освежал, Амондсен был одет довольно тепло, так что не замерз. Ему было хорошо. Он думал о том, как мало ему, в сущности, нужно, чтобы поднять себе настроение. Хорошего самочувствия иногда вполне достаточно.

За двенадцать минут он дошел до остановки. В павильоне со стеклянной крышей не было ни души. Амондсен бросил взгляд на расписание и обнаружил, что предыдущий трамвай ушел примерно три минуты назад, а следующий будет только через четверть часа. В такой ситуации раньше он закурил бы сигарету, но вот уже полгода как он бросил курить.

Стоять он не мог, присаживаться не хотел. Что-то заставляло его постоянно двигаться, как будто он о чем-то догадывался. Рядом с ним проехала машина; шины скрипнули по мокрому, покрытому мертвыми листьями асфальту.

Обычно Карла каждый день звонила ему, не потому, что любила, как он, вероятно, предполагал, а потому что беспокоилась о нем. Но вчера он довольно грубо сказал ей, чтобы позвонила тогда, когда примет какое-то решение.

— Ты справишься, Роберт?

— Слушай, Карла, я не маленький ребенок. Мне не нужна мамочка.

— Ну, как скажешь.

При этом она тихонько засмеялась, и это разозлило его еще больше. Она влюбилась в другого, в того, кто был уверен в себе и обращался с Карлой не чересчур осторожно, а как с нормальной живой женщиной из плоти и крови. Это она сказала Амондсену, но еще хуже то, о чем он даже не хотел вспоминать.

— Просто оставь меня в покое. Живи своей жизнью, и дай мне жить моей.

Он знал, что этой фразой очень больно задел ее. Карла верная женщина. Она не может просто так бросить человека, даже такого, как он. Она всегда будет пытаться поддерживать отношения с ним. Поэтому единственная возможность задеть ее — это отказать ей в этом. Его единственное преимущество перед соперником — то, что он знает Карлу как облупленную. Он видит ее насквозь, предугадывает все ее обманные маневры, которые она придумывает, чтобы отвлечь внимание от своих слабостей. Она терпеть не может казаться слабой в присутствии других. Пока что он — единственный, кому она открыла, в чем ее уязвимость.

Он не строил по этому поводу никаких иллюзий. Доверие и влюбленность не обязательно сопутствуют друг другу, наоборот. Вполне может быть, что Карла не выносит, когда ее постоянно видят насквозь и, следовательно, могут просчитать каждый ее шаг. Может быть, она снова хочет иметь тайны.

Внезапно налетел ветер и сдул с каштанов целый ливень дождевых капель — прямо ему в лицо. Вдалеке послышалось дребезжание трамвая. И в этот момент он почувствовал, что у

него за спиной кто-то есть, какая-то тень. Внезапно холодок пробежал по его спине, и он замер. Почему-то на ум пришла история о жене Лота, которая превратилась в соляной столб, когда повернулась посмотреть на Гоморру. Ни в коем случае не поворачиваться, потому что тень сзади — это и есть Гоморра.

Абсурдная мысль. Его бросило в жар, но пошевелиться он по-прежнему не мог. Наконец его отпустило. Его руки метнулись к горлу на десятую долю секунды позже, чем нужно, но осознание, что он заслужил то, что сейчас происходило, еще больше замедлило его реакцию. И только потом он начал бороться за свою жизнь.

— Нас всех могут выгнать из школы. Всех нас, — сказала Берит.

— Не думаю, что это произойдет.

— Остальные будут ненавидеть меня.

— Такого не будет.

— Вы не знаете.

— У вас нет выбора.

— О Боже, я боюсь.

— Просто расскажите, что случилось. Начните с начала.

— Не могу.

— Но вы должны. Если вы не заговорите, это будет значить, что вы замалчиваете информацию о преступлении. Это тоже преступление, за это вас могут призвать к ответу.

— О'кей.

— Ну, давайте же.

Мона ничего не могла с этим поделаться, но, увидев Даннера сидящим здесь, в бюро Боуда, получила огромное удовольствие. Выглядел он по-прежнему слишком самоуверенным, но это скоро пройдет.

Понедельник, семь часов утра. Боуд сидит и пьет уже третью по счету чашку кофе, но все равно постоянно зевает, а Мона, как ни странно, чувствует себя бодрой и отдохнувшей. Еще этот допрос, и она поедет обратно в город, к счастью, с чувством, что поездка была не безрезультатной. Даже если не будет установлена связь между убийством Саскии Даннер и Константина Штайера.

— Почему вы солгали на первом допросе?

— Ради своих учеников.

Смело. Даже Боуд присел и отставил чашку с кофе. Мона, ни капли не смутившись, продолжила:

— Вы солгали и подговорили своих учеников тоже сказать неправду, вы со мной пока что согласны?

Даннер пожал плечами и посмотрел мимо нее. На нем джинсы, модный черный свитер с узким V-образным вырезом, сверху еще черный блейзер. Его волнистые светлые волосы немного длиннее, чем обычно носят мужчины в его возрасте, но это ему идет. Его манера держаться и выражение лица не оставляют никакого сомнения в том, что все происходящее он воспринимает как досадную необходимость и принимает в этом участие исключительно из вежливости. Кабинет Боуда кажется очень маленьким и запущенным — с тех пор как в нем появился Даннер. Хотя он *действительно* маленький и запущенный.

И Даннер здесь не при чем. Мона не позволит ему себя запугать.

— Это значит «да»?

— Что?

— Вы пожали плечами. На пленку жесты не записываются. Так что отвечайте, пожалуйста, да или нет.

Даннер усмехнулся. Не впечатлило.

— Вопрос повторите, а?

— Вы подговаривали своих учеников сказать неправду?

— Они курили что-то наркотическое. В нашем интернате это преступление, за которое обычно полагается исключение. Я не хотел этого. Это была всего лишь глупость, и я не хотел, чтобы это испортило им будущее.

— И при этом вы понимали, что убийство вашей жены не смогут расследовать при таких обстоятельствах.

— Чушь.

— Простите, что?

— Извините, но это действительно чушь, — то, что вы говорите. Никто из нас этого не делал, в этом я ручаюсь.

Мона глубоко вздохнула и посмотрела на Боуда. Тот отвернулся.

— Вы препятствовали проведению расследованию и уже поэтому нарушили закон. На вас можно завести дело в связи со лжесвидетельством. Вы понимаете это?

Впервые она заметила маленькую брешь в его защите. Она закурила, не спросив

разрешения у Боуда, который говорил ей, что не курит. Мона рассчитывала, что он хотя бы от этого проснется и примет участие в допросе. Но Боуд только сильно нахмурился и пододвинул к ней начищенную до блеска пепельницу, которую держал для посетителей.

— Можно мне тоже закурить? — спросил Даннер и, не дождавшись ответа, вынул из кармана блейзера пачку «Кэмэла» без фильтра.

— Если это так необходимо. — «Наконец хоть что-то сказал», — подумала Мона.

Даннер поймал взгляд Моны и слегка подмигнул ей. Внезапно они стали сообщниками, а этого ей меньше всего хотелось. Но ситуация все равно разрядилась. Даннер выпрямился и слегка подался вперед.

— Госпожа... Простите, я не знаю вашей фамилии.

— Зайлер.

— Госпожа Зайлер, мне очень стыдно за свое поведение. Я просто... Я понимаю, что как муж автоматически попадаю под подозрение, но мне это кажется настолько абсурдным...

— Что? То, что вы убили свою жену? В девяноста процентах случаев убийцами являются ближайшие родственники, чаще всего мужья. А вы на первом допросе солгали. Это факт. Вы позаботились о том, чтобы ваши ученики обеспечили вам алиби.

— Да. Ради моих учеников, я уверяю вас.

— О'кей. Что же произошло на самом деле?

— Спрашивайте, о чем вы хотите узнать.

Трамвайная остановка — это такое место, которое очень сложно изолировать. Для этого нужно проводить такие мероприятия, которые привлекают ненужное внимание, например, вызвать несколько патрульных, которые бы регулировали дорожное движение. Так как трамвай может ехать только по рельсам, мимо места происшествия, то любопытным и взволнованным пассажирам приходилось объяснять, почему данный участок пока закрыт, и что им нужно воспользоваться другими видами транспорта. А так как все должно происходить быстро, то соответствующее сообщение пустили по радиосвязи.

Понедельник, семь часов утра, еще толком не рассвело. Дождь идет и идет, уже много часов подряд. Осенняя непогода сильно потрепала каштаны в аллее, а кроме стеклянного павильона на остановке нет ни одного сухого места в радиусе пятидесяти метров. Труп, лежащий в грязной пожелтой траве за павильоном, тоже насквозь промок. Убитый — мужчина, блондин, возраст — около сорока лет. Он лежит на спине. На нем — застегнутый на все пуговицы синий плащ, под плащом, насколько видно, свитер с высоким воротом, а также джинсы и добротные кожаные туфли. Одежда, пропитанная водой, плотно облегает стройное, почти худое тело. Ноги слегка раздвинуты, руки вытянуты вдоль туловища, обе ладони повернуты вверх, как будто смерть застала его в тот момент, когда он жестом показал, что о чем-то сожалеет. Лицо очень бледное, как будто отмытое дождем за последние часы. Его глаза закрыты, но веки не судорожно сжаты.

То, что его смерть была насильственной, установили врачи «скорой помощи». Им позвонила по телефону в пять часов утра молоденькая секретарша, которая шла к Центральному вокзалу, конечной остановке на этой трамвайной линии. Держа в левой руке мобильный телефон, секретарша, согласно указаниям врача, стала на колени рядом с мертвым, приложила указательный и средний палец к тому месту на шее, где прощупывается артерия. Биения пульса не было. Врач, прибывший на место происшествия несколькими

минутами позже, откатил ворот свитера настолько, что стали видны следы удушения.

Смерть от внешнего воздействия.

Тем временем место происшествия оцепили, и дюжина полицейских и криминалистов искали на брусчатке, на тротуаре, в мокрой, холодной, пахнущей землей траве улики — при этом понимая, что дождь, скорее всего, уничтожил все следы или сделал их абсолютно непригодными для идентификации.

— Когда вы легли спать в тот вечер?

— Около одиннадцати. Я точно не помню, но примерно в это время.

— Ваша жена была рядом?

Даннер смотрел прямо перед собой. Потом он поставил локти на колени, положил на них голову.

— Это значит «да»? — невозмутимо спросила Мона.

Даннер поднял голову, затем снова откинулся на спинку стула и скрестил руки на груди.

— Да. Я думал, она спит. Она дышала ровно и чуть слышно. Я тихонько разделся, чтобы не разбудить ее.

— Вы сразу же заснули?

— Да, довольно быстро. Мы перед этим четыре часа шли по горам. Этот поход, да плюс еще выпитое вино сильно утомили меня.

Все сходится, но уж слишком безупречно, как говорится, без сучка без задоринки. С другой стороны, ее ощущения слишком часто подводили ее. Работа полицейского больше основывается на везении и тщательном поиске, а не на интуиции. Даннер продумал свои показания заранее. Хотя это нормально и в этом нет ничего криминального.

— Что было потом?

— Я проснулся от какого-то шороха.

— Шороха?

— Да. Кто-то вышел на улицу. Довольно громко хлопнув дверью. Я разволновался и встал, оделся и пошел вниз.

— Что было с вашей женой?

И на этот раз ответ последовал слишком быстро.

— Должен сказать честно, я не посмотрел, лежала ли она рядом. Было темно, хоть глаз выколи... Я просто предположил, что она там. Не было никаких причин присматриваться.

— О'кей, вы пошли вниз. Что там было?

— Со стола не убрали, вся грязная посуда стояла там, хотя они обещали убрать. Сильно пахло гашишем. Посредине стола, в пепельнице, лежал стеклянный кавум.

— Что?

Даннер улыбнулся.

— Кавум. Трубка для курения конопли.

Почему он использует, говоря об употреблении наркотиков, молодежные жаргонные словечки? Как будто больше не нужно было отмежевываться от ситуации с употреблением наркотиков.

— Где были ваши ученики?

Даннер закрыл глаза, как будто припоминая. Этот жест очень не понравился Моне, слишком уж он был театральным. Мона ждала. Тем временем Боуд стал делать заметки в своем блокноте в клеенчатой черной обложке. Она бы многое отдала за то, чтобы почитать,

что он там черкал.

— Не знаю, на улице было очень светло. Эта страшная полная луна, она и свела детей с ума, в их-то состоянии. Свет был интенсивным, но каким-то обманчивым...

— Что значит «обманчивым»?

И снова Даннер закрыл глаза, снова у Моны возникло чувство, что он притворяется. Но, может быть, он просто не мог иначе? Может быть, он принадлежит к тому типу людей, которые актерствуют, даже идя в туалет?

— Лунный свет *per se*^[11] обманчивый. Кажется, что он дает много света, а на самом деле — только сгущает тени.

Мона решила пропустить это замечание мимо ушей.

— Итак, вы просто пошли искать своих учеников. Где они оказались?

— Петер и Стробо были...

— Кто такой Стробо? — перебила его Мона, нахмурившись, и посмотрела в список опрошенных, который составил Боуд. Никакого Стробо в нем не было.

Даннер неохотно открыл глаза.

— Хайко. Стробо — это кличка.

— Хайко Маркварт?

— Да, — нетерпеливо ответил Даннер.

— Дальше. И не забывайте, пожалуйста, называть фамилии.

Снова Даннер скривился так, как будто он имеет дело с идиотами, но, по мере возможности, старается снисходить до их уровня. И стал рассказывать дальше с нотками раздражения в голосе.

— Итак: Хайко *Маркварт* и Петер *Белов* сидели рядом на скамеечке прямо возле двери. Оба очень бледные, было очевидно, что им плохо. Петера рвало. Марко *Хельберг* лежал на скамейке за домом и спал. Сабину *Хайльман* и Берит *Шнайдер* я нашел не сразу. Потом я их обнаружил тоже за домом.

— Что они там делали?

— Ничего особенного. Они стояли, тесно прижавшись друг к другу там, куда не попадал лунный свет. Насколько я помню, Берит обнимала Сабину. Сабина все бормотала что-то про луну, что ее свет сводит ее с ума, что больше никогда она не сможет как следует насладиться лунной ночью... Вы знаете, каково это — быть под кайфом?

— Нет, — сказала Мона и сама себе вдруг показалась неопытной. Может быть, он нарочно задал этот вопрос. — Но речь сейчас не об этом.

— Нет?

Его голос звучал издевательски. Как он может вести себя так в подобной ситуации? Берит Шнайдер уничтожила его алиби, снова возникло множество вопросов. Пятерс учеников накурились практически до потери пульса, остальные спали. Даннер снова оказывается главным подозреваемым. Не говоря уже о том, что он не справился со своими обязанностями.

— Нет, — сказала Мона резче, чем хотела. — Сейчас речь идет о вас и вашей жене Саскии. Вашу жену убили, и вы — главный подозреваемый. Если вы понимаете, что я имею в виду.

Но какая связь между Штайером и Даннером?

— Вы знакомы с Константином Штайером?

Внезапная смена темы разговора испугала его, это было очевидно. Но он быстро пришел

в себя.

— Он учился у меня. В начале восьмидесятых годов сдал на аттестат зрелости. А что?

Вот он и попался.

— Вы не знали? Я же именно поэтому здесь и нахожусь. Забыли? — И пусть ей не рассказывают, что ему не говорили об этом.

— Это правда, что вы издевались над своей женой?

Снова смена темы. Она попала в самую точку. На его лице внезапно мелькнула растерянность, он побледнел, потом все же взял себя в руки.

— Я хочу поговорить со своим адвокатом.

Судмедэксперт, стоя на коленях на влажной траве, подтвердил всем и без того известный факт: убитый, которого благодаря бумажнику идентифицировали как Роберта Амондсена, был задушен. По краям тонкого, одинаковой глубины следа удушения выступила кровь. Орудие удушения должно быть очень тонким и прочным. Если бы не воротник свитера, раны были бы намного глубже.

Фиксация следов, несмотря на дождь, дала результат — тело волокли по земле. Вероятно, убийца затащил труп за павильон на остановке, чтобы его не обнаружили, по крайней мере, в ближайшее время. Эксперт указал на то, что изменена не только поза убитого, но и его состояние. Кто-то закрыл ему рот после убийства. И, возможно, закрыл глаза. Убитого положили на спину и симметрично расположили конечности. Чтобы преступление, по крайней мере, казалось не таким страшным. Но это мало помогло. Труп человека на улице выглядит еще более жутко, чем в четырех стенах. Как будто природа силой взяла то, что ей принадлежит.

Вынужденная спешка. Несмотря на плохую погоду, вокруг места преступления, обнесенного пластиковой лентой, собралось много любопытных: море кольшущихся зонтов. Репортеры и фотографы местных газет были уже здесь. Пресс-секретарь давал скупую информацию. Главный комиссар уголовной полиции Бруно Штрассер послал двоих своих сотрудников к дому Роберта Амондсена, теперь они вернулись.

— Никого, — сказал один. — Десять раз звонили — никого.

Его лицо выражало огромное облегчение. Неприятно сообщать о *таком* родственникам. Никогда не знаешь заранее, как они отреагируют. Одни падают в обморок, других тошнит, некоторые как по команде начинают кричать и плакать, еще кто-то притворяется стойком — как в самых плохих комедиях. А некоторые кажутся бесчувственными. Заваривают кофе и начинают вести разговор, как будто не понимают, что произошло. И каждый из них может оказаться убийцей. Нужно быть внимательными ко всем проявлениям, быть начеку — как рысь.

— Может быть, он живет один, или его жена работает, — предположил Штрассер. — Все это весьма загадочно. Убийство с целью ограбления исключено, потому что ничего не было украдено. В портмоне Амондсена лежат несколько мокрых купюр по сто марок, кредитная карточка и карточка Еврочек. При себе у него оказалась даже практически полная чековая книжка. А еще часы, на циферблате которых написано «Картье» и которые выглядят так, как будто они и впрямь настоящие.

В полицейской школе Штрассер все время рассказывал новой смене, что рядовое убийство обычно совершается на бытовой почве. Убийства в кругу так называемого «высшего общества» — выдумка социал-демократов, пишущих детективы. За тридцать лет

службы в уголовной полиции ему пришлось столкнуться от силы с тремя такими случаями. Но ведь и Кобург — город не маленький. В этом месте Штрассер, как правило, подмигивал ученикам и, подтверждая сказанное фактами, заявлял, что есть местечки и пожарче Кобурга, но по этому поводу он, как оседлый криминалист, не собирался наживать себе невроз.

Сейчас у Штрассера другие заботы. Он раздумывает, как сообщить о происшедшем жене убитого раньше, чем она узнает об этом по радио. Но у них пока было время. В настоящий момент они дали только краткую сводку в местные СМИ, в которой, однако, ничего не говорилось о личности погибшего.

Штрассер вздохнул и погладил свои густые усы, которые за последние годы прилично поседели, и он уже давненько стал подумывать о том, что пора их сбрить. Но вот как он будет чувствовать себя без них, он не представлял.

С его согласия убитого накрыли пленкой и положили в серый пластиковый гроб. Более душераздирающее зрелище трудно даже представить, и Штрассер отвернулся, хотя за тридцать лет ему к этому давно надо было привыкнуть.

— Хороший адвокат, — сказал ректор.

Он сидел на краешке весьма хрупкого на вид стула в стиле ампир и казался себе слишком большим и тяжелым для него. Он просто ненавидит этот стул, который ему все время предлагали. Ведь Розы Тессен прекрасно знала, насколько он неудобен! Как будто она хотела оставить его в дураках. Ректор вполне мог от нее ожидать еще и не такого. Он уже более десяти лет занимал эту должность и ровно столько же знал Розы Тессен, но для того, чтобы установить с ней более-менее дружеские отношения, нужно было, пожалуй, еще столько же времени. Она — дочь основателя Иссинга и глава Фонда, и это означает, что все решения должны быть одобрены ею и зависимым от нее советом: обойти Розы Тессен невозможно, а характер у нее, как у большинства абсолютных владык, невыносимый.

Она еще долго будет держать поводья в своих руках. Ей семьдесят девять лет, ее лицо все в морщинках, но осанка — как у молодой девушки.

«Власть, — с сожалением подумал ректор, — бывает, дарит здоровье».

— Хороший защитник стоит дорого, — уточнил он, понимая, что разговаривает со стенкой. — Я думаю, мы должны взять на себя расходы. Я имею в виду, что это важно для престижа школы.

Комната Розы Тессен большая, но настолько заставлена мебелью различных эпох, что кажется маленькой и узкой. Старые персидские ковры лежат один поверх другого, несколько секретеров в стиле бидермейер уставлены фотографиями в рамках, камин и подоконники украшают изящные безделушки с различных континентов, которые Розы Тессен насобираала за многие годы путешествий. У нее слишком много вещей и слишком мало для них места. Раньше она жила на вилле на берегу моря, но потом ее муж умер, и она переехала в квартиру поближе к школе. Чтобы все было под присмотром.

Ректор сделал небольшой глоток слишком крепкого кофе, который здесь всегда подавали гостям — в белых фарфоровых чашечках, конечно же. Собственно говоря, он любил кофе только с большим количеством молока и сахара, но так как Розы Тессен предпочитала черный кофе, то ни сахара, ни молока у нее в доме не водилось.

— Нам удалось привлечь нового члена Фонда, — сказала она и ослепительно улыбнулась.

Ее зубы по-прежнему были безупречны, и она это знала. Черты лица ректора невольно разгладились. Улыбка — самое действенное оружие Розы. Она — обаятельная и искренняя, по-детски открытая. Своей улыбкой Розы заставляет самых отъявленных скряг подписывать чеки на большую сумму, потому что женщине, которая так улыбается, отказать невозможно.

Ее второе по силе оружие — привычка игнорировать новости, которые она не хочет слышать.

— Это прекрасно, примите мои поздравления, — сказал ректор с наигранной сердечностью и поставил свою практически полную чашку кофе на блюдце — наверное, слишком громко.

На этот раз он не имел права сдаваться. Михаэль Даннер — один из самых способных преподавателей. Он работает в школе уже более двадцати лет; было бы просто нечестно не помочь ему. И совершенно все равно, как к этому отнесутся какие-то шишки из совета.

— Михаэль Даннер не может себе позволить нанять хорошего адвоката. Мне хотелось

бы, чтобы школа помогла ему. Это наша обязанность.

Рози Тессен смотрит мимо него. Ее голова в аккуратно завитых локонах едва уловимо дрожит, как всегда, когда она взволнована. Ректор приободрился. Если она взволнована, это значит, что он достучался до нее. Теперь нужно только набраться терпения и тщательно подбирать аргументы.

— Я думаю, нехорошо, если мы бросим на произвол судьбы человека, которому на протяжении двадцати лет доверяли детей. Это будет выглядеть так, как будто мы знали, что он на такое способен.

— Никто даже и подумать не мог! — Теперь ее голос тоже дрожит. — Такой приличный, приятный мужчина... Он казался мне интеллигентным и безукоризненно порядочным. Он обманул нас всех.

— А вот этого мы пока что не знаем. Михаэль Даннер находится под следствием исключительно по подозрению в совершении преступления, — сказал ректор и добавил: — По подозрению, позволю себе заметить.

— Без причины никого в тюрьму не сажают, — раздраженно заявила Рози Тессен.

Теперь она держалась не строго, а сухо. Это значило, что она хотела отделаться от него, и побыстрее. Но на этот раз у нее ничего не выйдет.

— Напротив, так бывает, и очень даже часто. Согласно статистике каждый третий находящийся под следствием в дальнейшем оказывается невиновным. — Такой статистики не существовало, но Рози Тессен все равно не читала газет.

К сожалению, речь ректора впечатления на нее не произвела, опять на лице то же самое обидно сердитое, отсутствующее выражение. Она хочет остаться одна, но это удовольствие он доставит ей только тогда, когда она согласится. Он откинулся на спинку стула и стал ждать. Наконец она глубоко вздохнула.

— Вы знали об этой истории с его женой? — Теперь ее голос звучал очень тихо, почти смущенно.

Ректор пришел в ужас и опустил голову. Все-то она знает, ничего от нее не утаить. Повсюду у нее шпионы.

— Я не уверен, — сказал он наконец, и это было, по крайней мере, в данный момент, очень близко к истине.

Каждый раз, когда он думал об *истории с женой Даннера*, у него в мозгу все начинало запутываться. Муж ведь не может годами избивать свою жену, чтобы никто ничего не заметил. Получается, он что-то подозревал и, совершая настоящее преступление, предпочел закрыть на это глаза? Сам-то он, по крайней мере, этого ни разу не видел и ни с кем об этом не говорил. Даже с собственной женой.

В Иссинге все жили, если можно так сказать, бок о бок. Это создавало дистанцию — по крайней мере, так было между взрослыми. Коллеги практически не общались друг с другом вне школы, кроме нескольких молодых учителей. И так каждый день все виделись на педсовете — на большой перемене, в половине одиннадцатого. Вместе обедали и ужинали. А потом у каждого была своя жизнь. Новые преподаватели иногда составляли исключение и пытались бороться, полные оптимизма, «с закостеневшими структурами», пока либо не увольнялись, либо сами не становились частью общества, в котором все роли распределены. Изредка собирались вместе выпить пива, и то — ехали куда-нибудь подальше, чтобы не встретиться с учениками. Ни у кого не должно было возникнуть подозрения, что против него плетут интриги.

Вообще-то это совершенно бредовая точка зрения. И ложная, пожалуй. Но где истина? Очень сложно постоянно находиться в окружении молодежи: чувствуешь себя старым, медлительным и нерешительным. Их мощная аура впитывает все, что осторожнее, медленнее и тише? В любом случае, факт остается фактом: взрослые живут в микрокосме интерната каждый сам по себе и для себя. И, конечно же, для учеников. Так что вполне могло быть так, что никто действительно ничего не подозревал об *этой истории*. Или никто не считал, что следует задуматься об этом.

Но ученики знали, это очевидно. По крайней мере, Берит Шнайдер, которая, в конце концов, «подвела под монастырь» Даннера и за это исключена из сообщества. Ректор считал это неправильным, он должен был это осудить, но в действительности был очень рад, что так случилось. Такого отношения к сложившейся ситуации он от себя ни в коей мере не ожидал еще неделю назад. Но теперь все было иначе. Страшная, жуткая путаница. Михаэль Даннер, по крайней мере, оказался не тем человеком, каким ректор его считал. Или хотел считать — как кому будет угодно.

— Мы должны что-то предпринять, — медленно и со значением сказал он, обращаясь к Розе Тессен.

Теперь у него появилась хорошая идея, как привлечь ее на свою сторону. Она с недоверием посмотрела на него. В ее квартире было очень тихо. Настолько тихо, что он вздрогнул, когда заработал холодильник в кухне.

— Мы бросили Михаэля одного с его проблемами, — продолжал ректор. — И мы несем ответственность за то, что допустили это. Ему было не с кем поговорить, некому довериться, никто им не интересовался...

— Каждый отвечает сам за себя, — решительно прервала его Роза Тессен и встала. — Есть же эти... семейные психиатры...

— Семейная консультация. Да, но...

— Вот-вот. В наше время *такого* не было. Нужно было справляться самим. И никто об этом вообще не говорил. Когда люди женились, им нужно было как-то мириться друг с другом, и баста. И никто не жаловался. Сегодня есть специальные врачи на каждую царапинку. И к чему, скажите, это привело?

— Не знаю, — автоматически ответил ректор, злой и уставший, потому что игра была окончательно проиграна.

Роза Тессен не даст ни пфеннига, это было очевидно.

— К инфантильности, милый мой! Раньше люди в таком возрасте были взрослее. Сегодня они ведут себя как вечные подростки. А теперь извините меня.

Ректор послушно встал. Он посмотрел на Розу Тессен сверху вниз — росту в ней было, самое большее, метр шестьдесят, и, тем не менее, она намного сильнее его.

— Вы жесткая, бессердечная, как скала, — вырвалось у него. — Жадная и самовлюбленная. Это недостойно христианки, если вам интересно мое мнение.

Сказать такое Розе Тессен, которая считала себя глубоко верующей и уже более тридцати лет не пропускала ни одной воскресной службы, играла в церкви на органе, было более чем смело. И реакция последовала незамедлительно. Она сжала губы, слезы застлали ей глаза. Слезы гнева. Такую бестактность ему уже никогда не загладить. Но в тот момент ему было совершенно все равно.

Бергхаммер возглавил специальную комиссию, состоящую из тридцати служащих и

нескольких оперативников, которые должны были составить портрет серийного убийцы. Впрочем, никто не знал, можно ли говорить о серии. Серийные убийцы — как правило, мужчины в возрасте между двадцатью и шестьдесятью годами. Чаще всего они умны, имеют судимость и родились в неблагополучной семье. Часто, но не всегда, ими движут сексуальные мотивы. Одним из типичных серийных убийц был убийца-язычник Хольст, который, прежде чем его арестовали, изнасиловал и убил нескольких женщин. Убийства с целью ограбления тоже могут совершаться серийными убийцами. Но общим для большинства из них является одно: сами жертвы для них ничего не значат. В случае с убийствами на сексуальной почве они должны соответствовать некоторым внешним критериям, но, в принципе, речь идет о ритуальных убийствах.

Этот случай был совершенно иным. Двое мужчин и одна женщина убиты, предположительно, одним и тем же человеком, сексуальная подоплека исключалась. Убийство с целью ограбления тоже. Должна быть какая-то связь между Саскией Даннер, Робертом Амондсенем и Константином Штайером.

Пока известно было лишь то, что двое последних учились более двадцати лет назад в одном интернате, правда, не в одном классе. Судя по рассказам бывших учеников, они не дружили. О более поздних контактах между ними ничего не известно, да это и маловероятно. Саския Даннер, опять же, была замужем за преподавателем интерната, но всего лишь на протяжении двенадцати лет. Из чего следует, что она никогда не была знакома со Штайером и Амондсенем. Связывало ее и убитых мужчин только то, что все они знали Михаэля Даннера, который двадцать два года назад начал работать в интернате в качестве стажера, а потом уже стал преподавателем.

Как ни крути, все ниточки вели к нему.

На время совершения всех трех убийств у Даннера не было алиби. Более того: в тот вечер, когда был убит Константин Штайер, официантка видела Даннера в кафе неподалеку от квартиры Штайера. Он ушел из кафе около половины двенадцатого. Поначалу Даннер это категорически отрицал. Потом сознался, что был в том кафе, но не захотел говорить, что он там делал. Основание: это его личное дело.

Поэтому был выдан ордер на арест, который неделю спустя был аннулирован другим судьей, занимающимся проверкой законности содержания под стражей, на основании того, что косвенные улики бездоказательны. Необходимо было предоставить дополнительные данные по расследованию, которые бы указывали на Даннера как на убийцу. Никаких серьезных подозрений, никакой опасности, что он сбежит. Со вчерашнего дня Михаэль Даннер снова был на свободе.

Никто из тех, кто занимался этим делом, не понимал, почему это произошло. На данный момент Даннер был единственным подозреваемым, который был знаком со всеми жертвами. И, по крайней мере, для убийства своей жены у него был мотив. Но в суде земли Мисбах, видимо, думали иначе. Бергхаммеру удалось добиться только того, что теперь Даннера постоянно охраняли двое полицейских.

Лицо Карлы Амондсен необыкновенно бледное, почти как наволочка. Ее домашний врач сказал, что она принимает сильные успокоительные средства, и попросил разрешения присутствовать при снятии показаний. ГКУП Мона Зайлер и ГКУП Хельмут Штрассер и комиссии по расследованию убийств Кобурга сидели на табуретах у постели Карлы Амондсен. Эта уже третья попытка взять показания у госпожи Амондсен была такой же

бесплодной, как и две предыдущие.

— У нее шок, — сказал домашний врач, прислонившись к двери и скрестив руки на груди. Это он говорил не впервые. — Оставьте же ее, наконец, в покое.

Он говорил, как в сериале о врачах. Может быть, он был немного влюблен в свою пациентку. Карла Амондсен очень красивая женщина, даже в таком состоянии.

— Йозеф, — окликнула его Карла Амондсен.

Все присутствующие удивленно повернулись к ней. В первый раз она открыла рот по собственной воле.

— Йозеф, я сама справлюсь. Можешь подождать за дверью.

Домашний врач смущенно посмотрел на нее, потом обиженно кивнул и вышел из комнаты.

— Я вам не очень-то помогла, — сказала Карла Амондсен Моне.

Ее голос звучал глухо, что, вероятно, было связано с приемом медикаментов.

У Моны был трудный день. Специальная комиссия «Константин» работала круглые сутки, одно совещание переходило в другое, некоторые из них проходили среди ночи. Да еще эта постоянная езда туда-сюда на машине! Никто не выспался. И при этом расследование по-прежнему находилось в той фазе, когда сведения — то есть свидетельские показания — только собирались и анализировались. Куча бумаг — протоколов, записок и отчетов — становилась все больше, в то время как дело практически не продвинулось. Каждый день Мона ложилась спать не раньше двух, а то и трех ночи, а вставала не позже половины седьмого. Стирать было некогда. Уже неделю она носила одни и те же джинсы и свитер. Лукас жил у Антона, потому что очень просил разрешить ему побыть с отцом, не хотел к тетке. Лин, которая называла Антона не иначе как полууголовником, обиделась, а Моне это показалось странным. Поэтому сестры временно не общались.

— Мне очень жаль, — произнесла Карла Амондсен, снова глядя только на Мону, избегая смотреть на Штрассера.

Теперь на ее щеках появился румянец, и вообще она выглядела бодрее. Можно было надеяться, что она больше не будет плакать. Плачущие люди сильно выбивали Мону из колеи.

— У нас очень много вопросов, — сказал Штрассер и погладил свои поседевшие усы.

— Да, — согласилась Карла и ненадолго закрыла глаза.

Ее пышные темные локоны спугались. Когда она медленно и тяжело привстала и подняла повыше подушку, на которую оперлась спиной, стал ощутимее слегка кисловатый запах пота и болезни.

— Знаете, я хотела уйти от мужа. Поэтому в воскресенье меня не было в его доме. Я хотела переехать. Вместе с Анной.

После этого заявления она сделала паузу. Кажется, она считала, что сообщила очень важную новость, но это уже было известно. Друзья Амондсенов сообщили Моне о предстоящем разводе. Но все равно, рассказав об этом, она дала понять, что готова сотрудничать.

— Анна — это ваша дочь? — спросила Мона, умышленно не глядя на Штрассера.

Когда те, кто снимает показания, переглядываются между собой, это выбивает говорящего из колеи. Иногда это тактически выгодно, но не на этот раз. Четырехлетняя Анна сейчас находилась у родителей Амондсена.

— Да. — Опять слезы, катящиеся из-под закрытых век.

Мона решила проигнорировать их.

— Извините, но мы должны задавать подобные вопросы.

— Что? — Карла Амондсен взяла себя в руки.

Мона подала ей платок. Невольно вспомнилась Карин Столовски. Сцена практически идентична той. Мужчины заставляют женщин плакать. Так или иначе.

— Вы хотели уйти от мужа. Давно вы так решили и почему?

И снова Карла Амондсен начала всхлипывать.

— Вы поняли мой вопрос?

— Да. — Она высморкалась.

— Итак, давно ли и почему?

— Я решилась на это примерно две недели назад. Из-за другого мужчины.

— Вашего врача? — вставил Штрассер, и Мона с удивлением увидела, что Карла Амондсен улыбнулась сквозь слезы.

— Йозеф! С чего вы взяли?

Штрассер тоже улыбнулся. Карла Амондсен казалась ему привлекательной, это очевидно. И она это заметила, и ей это было приятно. В ее положении никто и думать не мог о флирте. Но с другой стороны, настроение у нее улучшилось.

— Если вы влюбились в другого мужчину, это ваше личное дело, — по-отечески, успокаивающе сказал Штрассер. — Если это никак не связано с нашим делом, можете не говорить.

Ее лицо снова посерьезнело, но глаза на этот раз остались сухими. Спустя некоторое время она произнесла:

— Меня не было рядом, когда я была нужна Роберту.

— Что вы имеете в виду? — спросила Мона.

— Если бы я была рядом, Роберт поехал бы на работу на машине, а не на трамвае. Тогда этого не случилось бы.

Оба удивленно посмотрели на нее.

— Откуда вы знаете? — спросил Штрассер.

Снова у Карлы Амондсен изменилось выражение лица. Теперь оно стало печальным. Есть люди, которые выглядят лучше всего, когда чем-то опечалены. Карла Амондсен принадлежала к их числу.

— Знаю, и все. В тот вечер шел сильный дождь, а Роберт ненавидит, когда сыро. Объяснить это трудно... Я думаю, что он хотел себя наказать или что-то в этом роде.

Штрассер наклонился вперед и легонько дотронулся до ее руки, лежавшей поверх одеяла.

— Вы считаете, что он хотел себя наказать за то, что не сумел быть вам хорошим мужем?

Она как будто с облегчением улыбнулась — радуясь, что ее поняли.

— Да. Именно так. Это было для него очень характерно.

— В тот день вы разговаривали с ним по телефону?

— Нет, за день до этого. Я беспокоилась за него. — Она замолчала.

— Вы думали, он мог что-то с собой сделать?

Она кивнула.

— Он говорил что-то в этом роде? Или намекал?

— Нет. Я... Я просто очень была ему нужна. Он часто говорил это раньше. Раньше,

когда все еще было хорошо. Он всегда был таким... беспомощным.

— И вы не выдержали? — Штрассер говорил как психоаналитик, и Мона почувствовала что-то вроде зависти.

Она никогда не смогла бы так. Он был таким чутким и всегда говорил вовремя и к месту.

— Да, в общем-то, — сказала Карла Амондсен. — Я такой человек, которого время от времени нужно просто оставлять в покое. Мне нужен мужчина, который может за себя постоять. Который не зависит от меня. Который силен сам по себе.

И в этот момент Мона почувствовала, что эта женщина что-то умалчивает.

Она хотела вмешаться, но Штрассер уже задал следующий вопрос, относящийся к вечеру, когда было совершено преступление, и касающийся алиби Карлы Амондсен. В момент совершения преступления она была с двумя подругами в кино. В процессе этого диалога Мона забыла, о чем хотела спросить: был ли другой мужчина единственной причиной развода.

— Мне кажется, так мы далеко не продвинемся. — Штрассер говорил с полным ртом.

После допроса Карлы Амондсен он уговорил Мону пойти с ним вместе ужинать, и вот теперь они сидели в неуютной пустой пиццерии с обшитыми деревом стенами и цветными стеклами в окнах. Штрассер ел пиццу «Ломбарда», Мона — салат «Ницца» с уксусом.

— Вы этим никогда не наедитесь, — сказал Штрассер.

— Конечно же наемся.

Мона не любила разговаривать за едой. По-настоящему она могла концентрироваться только на одной вещи, а если начинала говорить, аппетит пропадал.

— Что вы думаете об этой Амондсен?

Мона положила вилку на край тарелки.

— Не знаю. Я думаю, она нам не помощник.

— Этого я не понимаю. Они же были женаты. Почему она знает так мало о собственном муже?

Очевидно, Штрассер принадлежит к тому типу людей, которым обязательно нужно разговаривать за едой.

— Что вы имеете в виду?

— Я имею в виду то время, которое он провел в интернате. Четыре года. Это же должно было как-то изменить его.

— Ну и?

— А она вообще ничего не знает. Или почти ничего. «Мой муж практически не говорил о времени, проведенном в Иссинге». Этого я не понимаю.

Мона задумалась.

— Может быть, Амондсен принадлежал к тому типу мужчин, которые не любят рассказывать о себе. Вы своей жене обо всем рассказываете?

— Не обо всем. Но о таких важных вещах — да.

— Может быть, это не было для него таким уж важным. Может ведь быть такое, правда? Возможно, он просто вычеркнул те годы из памяти.

— Четыре года, между пятнадцатью и девятнадцатью? Это же время полового созревания, тогда... э... соки бурлят, и это...

— Запоминается на всю жизнь.

— Именно. — Штрассер усмехнулся и, очевидно, был готов оставить эту тему.

Мона улыбнулась. Хоть он и много говорил, а она еще не съела практически ничего, кроме тунца и четвертинки яйца. Но он — коллега, с которым ей было легко общаться. Все-таки какое-то разнообразие.

Они спали в пещере на берегу. Иногда ночью приходил деревенский полицейский с фонариком и на ломаном английском полусутоливо предупреждал, что им следует поискать себе для ночлега другое место. Потом он опять уходил, и все оставалось по-прежнему. В первые дни она боялась, что он вернется с подкреплением, чтобы арестовать их, может быть, даже чтобы выслать, но он всегда приходил один. Они привыкли к его посещениям. Когда они видели в полутьме под бесчисленными звездами свет его фонарика, складывали вещи, доставали литровую бутылку красного вина и приглашали его присоединиться к ним. Общались они при этом очень доброжелательно, было просто здорово. Полицейский всегда отказывался, но они замечали, что начинают ему нравиться.

Спустя три недели им уже казалось, что они всегда жили на пляже под обрывом. Каникулы превратились в будни, но чудо не исчезало, а обогащалось опытом. Они теперь знали, что действительно можно жить так, как жили они. «*Полная редукция потребностей*» — говорил Саймон. Без балласта, без обязанностей, практически без имущества. Каждое утро они завтракали в небольшом баре на другом конце пляжа. Там подавали маленькие сладкие булочки и «галао» — португальский кофе с молоком, которого им было всегда мало. У хозяйки была четырнадцатилетняя дочка, которая краснела, когда с ней заигрывали.

Каждый третий день они оставляли свой рай и поднимались по крутому серпантину к парковке, где стояла их машина, плавясь на солнце. Перед глазами танцевали радужные круги, когда они открывали машину и им навстречу ударяла волна духоты. Требовалось, по меньшей мере, пять минут, чтобы температура внутри нормализовалась и можно было сесть на сиденье из кожзаменителя, не боясь обжечься. Потом они ехали по узкой улице в Карвоэйро. Они направлялись к заправке на восточной окраине, где был душ с холодной водой и небольшой продуктовый магазин, в котором они покупали белый хлеб, сыр, салями, шоколад и вино. И еще — тонкие сигареты без фильтра такой марки, которую они никак не могли запомнить.

В течение дня пляж был полностью в распоряжении португальских туристов, а ночью — принадлежал им. А еще — небо, мириады звезд, бесчисленное количество метеоритов, которые в это время, в августе, падали практически каждую минуту. Позднее им стало казаться, что они всегда ночевали под открытым небом. Пещера была едва ли больше, чем средних размеров спальня, а их было шестеро. Но, тем не менее, они никогда не ссорились, и, как им потом представлялось, никто не повышал голос.

Конечно, в то время наркотики играли свою роль. Гашиш делал их миролюбивыми, веселыми и голодными. ЛСД расширял сознание и утончал чувство красоты, окружавшей их, а густое красное вино предотвращало нервные припадки. Но наркотики не были определяющими, они только усиливали то, что уже существовало, — всеобщую симпатию. Они любили друг друга, они принимали друг друга, ощущали сочетание различных характеров и индивидуальных предпочтений не как угрозу, а как обогащение.

Как же могло случиться, что их крепкая дружба, их нерушимая симпатия иссякла, как будто ее никогда и не было?

У детектива-криминалиста Бергхаммера под глазами темные круги, как у всех в комнате для совещаний, но его голос дрожит от переполнявшей детектива энергии.

Убийства — это вещь нехорошая, и никто не хочет, чтобы они происходили. Это с одной стороны. А с другой стороны, если бы не они, то комиссии по расследованию убийств остались бы без работы. Да, Бергхаммер уже говорил журналистам: при сенсационных происшествиях самое интересное — это поиск. Уже потому, что он высвобождает массу позитивной энергии. Вдруг все становилось возможным, это было справедливо даже для обычно негибкого чиновничьего аппарата. Находились деньги на дорогие генетические массовые исследования, Земельное и Федеральное ведомства уголовной полиции привлекали первоклассных экспертов, а о недостатке кадров больше никто не упоминал.

И никогда коллектив не работал лучше, чем в какой-нибудь нестандартной ситуации. Все интриги и внутренняя борьба за власть отходили на задний план ради достижения общей цели; отделы, которые прежде враждовали между собой, внезапно начинали эффективно сотрудничать, информацией обменивались абсолютно беспрепятственно, она практически нигде не задерживалась. И к тому же для многих было неимоверным удовлетворением видеть себя практически каждый день в газетах или на местных телеканалах. Об этом Бергхаммер не говорил, но все знали, как он любит вести пресс-конференции и иногда ходит на ток-шоу, и не только для того, чтобы стало ясно: полиция и СМИ — вовсе не давние враги.

— Я хочу, чтобы ты поехала в этот Иссинг, — заявил Бергхаммер, и все посмотрели на Мону.

— Как глава Первой комиссии по расследованию убийств я должна координировать работу группы здесь, — попыталась возразить Мона, при этом понимая, что это всего лишь нежелание отступить без боя.

Бергхаммеру не противоречат. Но, по крайней мере, ей нужно знать, что означает его распоряжение: понижение или повышение. Забыл ли он о ее должности (что равнозначно понижению — да еще перед всеми коллегами и сотрудниками).

— Ты проделала действительно хорошую работу в Иссинге, — сказал Бергхаммер, и в комнате послышался тихий гул голосов. — Я хочу, чтобы ты продолжила расследование на месте. В помощники я назначаю тебе Ганса Фишера, если он тебе подходит.

— Конечно, — отозвалась Мона.

Это была первая похвала от вышестоящего лица с тех самых пор, как ее повысили. Это могло означать в своем роде прорыв. Даже можно было смириться с присутствием Фишера с его неприятными манерами. Взгляд ее упал на недоуменно уставившегося на нее Армбрюстера, который еще десять дней назад очернил Мону перед Крюгером, и она улыбнулась ему прямо в лицо.

Ректор не отрываясь смотрел на играющих в хоккей — сборную из учеников девятого, десятого и одиннадцатого классов. Они тренировались перед предстоящей в субботу игрой с Нойбойерном. Холодно, срывается первый снег. На игроках леггинсы, шорты, свитера с логотипом Иссинга. Лица покраснели, волосы прилипли ко лбам. Кроме их пыхания слышен только топот ног по прорезиненному тартановому покрытию и сухое щелканье клюшек. Учитель физкультуры выкрикивает короткие команды.

— Давайте пройдемся немного, — предложил Михаэль Даннер, стоявший рядом с ректором.

Ректор взглянул на Даннера, на его волнистые светлые волосы, классический мужественный профиль с длинным прямым носом и тонкими губами и проклял свою

нерешительность. Вообще-то Даннеру нельзя было находиться здесь, даже если он невиновен. Ведь никуда не деться от того ужасного факта, что он склонил своих учеников ко лжи. Не говоря уже об истории *с его женой*.

— Как хочешь, — сказал он, хотя ему все же необходимо было как-то дистанцироваться от Даннера, особенно в присутствии учеников.

— Я полагаю, что меня временно отстранили от должности, — произнес Даннер как бы между прочим, когда они шли по направлению к лесу.

— Конечно же, так и есть.

Застегивая пальто на все пуговицы и поправляя шарф, ректор задумался, стоит ли передавать Даннеру разговор с Розы Тессен, говорить, что она вообще не собирается оплачивать ему адвоката. Даже частично. Тогда он острее осознает всю сложность своего положения, не сомневаясь: здесь его никто не поддержит.

— Все еще не закончилось, да? Я имею в виду, с полицией.

— Нет, — признался Даннер. — Наверное, нет.

— То есть, они продолжают собирать против тебя улики?

— У них нет другого подозреваемого. В этом-то и проблема. Против меня у них недостаточно улик, чтобы содержать меня под стражей, но нет других подозреваемых, никого, кто знал бы всех убитых. Нет, он, конечно, есть, — он коротко и горько усмехнулся, — но вот они не знают, кто это может быть.

— Я даже не хочу у тебя спрашивать, ты ли это был...

— Ну почему же! — воскликнул Даннер и внезапно остановился.

Воздух был свеж и прозрачен и его глаза казались темнее, а черты лица — резче, чем обычно. Возможно, даже за короткое время пребывания под стражей он похудел.

Внезапно он схватил ректора за плечи и впился в него в буквальном смысле горящим взглядом. Никогда еще они не были друг к другу так близко, как сейчас.

— Я хочу, чтобы ты меня спросил. Боже ты мой, спроси меня, пожалуйста! Все ходят вокруг да около. А ты можешь меня спросить. Я уже не так чувствителен. Они выбили это из меня.

Ректор увидел пару веснушек возле его носа, ресницы, необычно длинные для мужчины, — то, что замечаешь в женщине, в которую влюблен. Он отстранился. Только теперь он понял, насколько симпатизировал Даннеру. И тем тяжелее было разочарование. Теперь многое разрушено — и неважно, что даст дальнейшее расследование.

— Ну хорошо, — безразличным тоном сказал он. — Это был ты?

Даннер слабо улыбнулся и опустил руки, как будто испытал облегчение.

— Нет. Честно, действительно нет. Тех двоих — Штайера и Амондсена — я уже долгие годы не видел.

— Ты избивал Саскию, — вырвалось у ректора не только от возмущения. Он чувствовал угрызения совести.

— Ох, Боже мой, Томас! Это только наше с Саскией, это было... Я не знаю. Она сама выбрала роль жертвы.

— Это отвратительно, нездорово — то, что ты говоришь. Ты бы послушал себя со стороны.

— Никто не может понять этого, никто не знает наших отношений. Никто, даже ты, и это неудивительно.

Нет таких отношений, которые оправдывают насилие. Ректору это казалось настолько

банальным, что он решил промолчать. Они пошли быстрее и вскоре оказались возле еловой рощицы, окаймлявшей часть озера. Довольно ухабистая дорога, с выступавшими корнями, вела к купальне, принадлежавшей интернату, закрытой почти круглый год из соображений безопасности. Необходим был учитель, который взялся бы наблюдать за непослушными учениками, и пока такого не удалось найти. Слишком близко к Альпам, и купаться можно только в августе — холодно. А в августе — летние каникулы.

— И что же было такого особенного в ваших отношениях? Настолько особенного, что ты... — Он не смог это выговорить.

Перед его глазами стали возникать картинки, большинство, наверное, из виденного по телевизору: женщины со спутанными волосами и безумными взглядами, в порванных блузках, слишком сексуально выглядящие для невинных жертв. Он попытался представить себе в этой роли порядочную неприметную Саскию, постоянно носившую одни и те же длинные свитера коричневого и бежевого цвета, и у него, конечно же, ничего не вышло. Даннер — сумасшедший, поэтому бил ее? Тоже не выходило.

Ветви над ними зашумели от легкого холодного северного ветра.

— Я любил ее, — сказал Даннер, помолчав. — Она была такой мягкой, такой понимающей, такой умной. Она одна понимала меня.

— Я сомневаюсь в этом.

Тем временем они шли, почти бежали по веткам и камням, и Даннер взглянул на ректора сбоку.

— Это правда. Я не знаю, как это объяснить, но я попытаюсь, потому что мне очень важно, чтобы хотя бы ты понял меня.

Но ректор смотрел только вперед. Отмежеваться. Нужно отмежеваться от всего этого. Даннер кажется милым и достойным понимания как никогда. Но если это не так? Может быть, он всего лишь одаренный актер, который снимает маску, только когда падает занавес?

— Слушай, честно говоря, можешь не стараться. Я просто не хочу тебя слушать. Мы с тобой всегда друг друга хорошо понимали. Ты был первоклассным преподавателем. Твои ученики боготворили тебя. Ты не просто держал их под контролем, ты был для них примером. — Ректор шел все быстрее, отталкивая влажные ветки. Один раз споткнулся о корень, торчавший из-под земли, как огромная вена. Даннер едва поспевал за ним. — Это же ты пел песню о силе желания договориться, о понимании без насилия, именно ты!

— И что? — Даннер пыхтел у него за спиной. — Это что, неправда?

— Это было лживо! Ты даже с собственной женой не мог договориться без насилия!

— Да, у меня не вышло. Но это не значит, что я не хотел. Я хотел. Я был в отчаянии, когда не получилось.

— Это же чушь. Если бы ты действительно хотел, ты нашел бы возможность.

— Извини, но ты совершенно не понимаешь.

— Нет, видимо, не понимаю. И, пожалуй, вовсе не хочу понимать. Это вообще-то твоя проблема, не моя. Ты должен с этим справиться, а не я. Я должен подумать о том, как я объясню это родителям, ученикам.

Они подошли к купальне. Была видна всего лишь деревянная дверь, которая вела, очевидно, в высокий тростник.

— У тебя есть с собой ключ? — спросил Даннер.

Ректор нехотя кивнул, все еще негодующий. Собственно говоря, он с удовольствием оставил бы Даннера здесь одного. С другой стороны, ему казалось, что он должен с ним

поговорить. Он вынул большую связку ключей из кармана пальто и открыл примитивный навесной замок. Они прошли по мосткам через камыши до конца, прямо к месту, где обычно загорали. Отсюда хорошо было видно все тихое серое озеро.

Даннер сел на доски и закурил сигарету.

— Давай, Томас, — сказал он и похлопал по мосткам рядом с собой.

Ректор поколебался, потом присел рядом с ним. Странно, но у него было такое чувство, как будто за последний час он узнал о Даннере больше, чем за предыдущие десять лет. Например, он внезапно понял, почему ученики — как воск в его руках. Даннер очень хорошо выглядел, он красноречив, оригинален и самоуверен. Выдает философские теории о жизни и любви и бесстыдно, обладая хорошей фантазией, пользуется плодами трудов великих умов. Но дело не только в этом. Отвратительно то, что он воспринимает восторженное отношение к себе как само собой разумеющееся.

— Если муж бьет жену, он ее потом убивает? — спросила Мона.

— Не обязательно, — удивленно ответил полицейский-психолог.

— Это я тоже знаю. Я имею в виду, при каких обстоятельствах он это может сделать?

— Чтобы ответить на этот вопрос, нужно иметь намного больше информации о ситуации в семье. Насилие — это многофакторный феномен.

— Что?

— Не будьте так упрямы. Многие факторы играют роль, когда речь идет о насилии в конкретной семье.

— Насилие в семье — это когда муж бьет жену?

— Послушайте, коллега, вы же опытный человек. Вы же знаете, что это слишком упрощенный взгляд.

Мона кивнула. Опять она прет как паровоз. Нужно ей стать более гибкой. Как Штрассер. Этот всего добьется от человека, относясь к нему с пониманием, не давя на него, не навязывая собственные выводы.

— О'кей, начнем сначала. Итак, что это вообще за люди — те, которые бьют своих жен?

— Вообще? Хорошо: речь идет о фрустрационной толерантности. У одних порог толерантности выше, у других ниже. Что вы делаете, если у вас фрустрация?

— Я?

— Да, вы. Ваш шеф раскритиковал вас в пух и прах, и вы приходите домой и видите, что ваш супруг даже со стола после завтрака не убрал. Как вы отреагируете?

— Бить супруга я точно не буду.

— Конечно нет, он же как минимум в два раза сильнее вас. У вас есть дети?

— Да.

— Сколько?

— Сын.

— Если ваша фрустрационная толерантность перегружена, вы попытаетесь ударить сына. Правда?

— Это за уши притянуто.

— В таком случае ваш порог толерантности очень высок. Да?

— Не знаю. Нормальный, наверное.

— Видите ли, так ответил бы каждый. Каждому его чувства и реакции кажутся нормальными, потому что других он не знает. Именно поэтому очень сложно лечить тех, кто

бьет других людей. Потому что им кажется это нормальным. Тяжелые обстоятельства, шеф-дурак, несчастное детство, а особенно жена, которая постоянно вас провоцирует. И если ничего не помогает, всегда есть вариант непонятной потери памяти. Этакое ничего-не-помню-все-сразу-так-навалилось-потеря-памяти.

— А если это правда? Вы ведь не можете заглянуть им внутрь.

— Конечно, это возможно, при психопатической симптоматике. Но среднестатистический драчун ведь не сумасшедший. Большинство из них ведут себя в обществе вполне нормально. Никаких отклонений, ничего необычного. А дома они мутируют, превращаются в бешеных, в людей, которые не понимают, что делают. Странно, правда?

— Да. А почему они это делают? Зачем им это?

Психолог на несколько секунд замолчал, оценивающе посмотрел на Мону, как будто взвешивая, насколько она готова услышать то, что он собирался ей сказать. А потом пояснил:

— Мужья бьют своих жен, потому что в большинстве своем любят их и сильнее всего к ним привязаны.

— Да вы же сами в это не верите!

— А как вы объясните, что в случае любовной связи и случайного знакомства дело редко доходит до насилия?

— Это действительно так?

— Это так, милая моя госпожа Зайлер. Женщина уязвимей всего, когда она живет с кем-то уже довольно долго.

Так оно и есть, Мона знала это по собственному опыту. Самое опасное место для женщины — это семья. А вовсе не запущенный парк ночью.

— Почему мужчины такие? Склонные к насилию?

— Склонные к насилию мужчины не могут в разговоре излить свои негативные эмоции. У них нет доступа к собственным чувствам. Они ничего не могут сказать, когда речь заходит о проблемах. Это повышает уровень фрустрации. Видите ли, фрустрация — это не что иное, как негативная энергия. Мы воспринимаем негативную энергию как нечто неприятное и хотим от нее избавиться. Направить ее на кого-то другого, так сказать. Со слабыми это получается лучше всего. На них можно кричать, обижать и бить, при этом нет никаких негативных последствий.

— Все выглядит так, как будто они это планируют. Но ведь они не сидят по комнатам, выдумывая, как избавиться от негативной энергии.

— Нет, напротив. Они вообще не хотят знать, что делают. Тогда ведь им придется принять на себя ответственность за содеянное. Только когда они начинают проходить терапию, они постепенно понимают, что рука, которая поднимается, — это их собственная рука. Что они сами управляют ею. А вовсе не Святой Дух. И не алкоголь, который *снимает их с тормоза*. И не злая жена, которая их *провоцирует*. Только они сами позволяют этому случиться. Это их решение.

— Представьте себе мужчину, который на протяжении многих лет избивает свою жену. Логично ли предположить, что однажды он ее убьет?

— Не обязательно, как я уже говорил. Но если никто из них ничего не попытается предпринять, чтобы остановить насилие, то тормозной порог понижается.

— Он будет становиться все более грубым?

— Правильно. Но что касается вашего случая — если я могу, конечно, высказать свое мнение...

— Да, конечно.

— Тут другое. Убийство этой женщины не было совершено в состоянии аффекта, это было подлое убийство. Муж, который бьет свою жену, может причинить ей боль, но не убить ее. Он легко может представить себе ее смерть, но ему это не нужно. Он не хочет этого.

— Почему?

— Потому что тогда бы ее не стало.

— И ему не было бы, на кого...

— Выплескивать свои фрустрации, верно.

Убийства, как правило, совершают знакомые, и убийства, как правило, совершают мужчины. Каждый патрульный полицейский постигает это на первом году работы. Об этом даже не нужно говорить. После определенного количества дел это становится понятным даже самому тупому.

Впервые Мона задумалась над тем, как чувствует себя полицейский, когда арестовывает человека того же пола, что и он, который избил свою жену до смерти или до полусмерти. Что он чувствует при этом? Задумывается ли о собственной склонности к насилию? Или просто делает свое дело, как будто это его вообще не касается?

А как насчет нее? Думает ли она о жертвах? О женщинах, которые не бросают своих склонных к насилию мужей, или бросают только тогда, когда у них появляется хоть какая-то перспектива. Нет, не думает. Тогда ей пришлось бы заявить, что эти жертвы — идиотки, а ей этого не хочется. Это ни к чему хорошему не приведет.

Но что бы делала она сама в таком случае, если бы, предположим, любила своего мужа? Пока ее не били, но обижали по-другому, и очень даже часто. И как правило, из этого она либо не делала никаких выводов, либо делала, но слишком поздно. Когда душевные раны уже были нанесены и нужна была целая вечность, чтобы они зарубцевались.

Антон утверждает, что у мужчины есть два варианта совместной жизни с женщиной: насилие или отступление.

Мужчины не любят зависеть от женщин, говорит Антон. Когда они чувствуют себя зависимыми, это делает их агрессивными. Но мужчины, как думает Мона, странным образом не испытывают проблем с тем, что могут впасть в зависимость от других вещей или людей. Например, от работы, от шефа и, в первую очередь, от собственных представлений, что это значит — быть мужчиной. И если присмотреться к кому-нибудь, например, к Фишеру, то становится понятно, что он по-прежнему так же упрям, как и много лет назад.

— Что для тебя значит быть мужчиной?

— Э?..

— Ты меня очень хорошо понял.

Вечер, они едут по Доннерсбергскому мосту по направлению к автобану, ведущему на Зальцбург. Теперь за рулем сидит Фишер. На его лице не такое отсутствующее выражение, как обычно, когда Мона находится поблизости, но это вполне может быть следствием мягкого красноватого света задних фар машин, едущих впереди.

— Странный вопрос.

— Несмотря ни на что, я хочу получить на него ответ. И прямо сейчас. — Мона говорила негромко и, тем не менее, почувствовала, как изменилось состояние Фишера. Он бросил на нее короткий взгляд. Потом поглубже опустил на сиденье, положил левый локоть на край окна и небрежно взялся за руль правой рукой. Не хватало только, чтобы он нажал на газ — в вечерней пробке это может плохо закончиться.

— Спасибо, — сказала Мона. — Думаю, я поняла.

Именно Даннер формировал и вдохновлял их сообщество. Он один. Сейчас, когда его не было с ними, они особенно отчетливо понимали это. Преподаватель по социологии,

которого они называли Козлом за дурацкий мекающий смех, в меру сил пытался занять место Даннера. Конечно же, это у него не получалось. И они давали ему это понять. Нападая на него все вместе, они ощущали былое единство.

Но вообще-то группа распалась. Ее ядро, то есть Стробо, Сабина, Марко и Петер уже ходили к нему домой, в деревню, но хранили это в строжайшем секрете. Остальные четверо членов кружка больше не знали, что им друг с другом делать: их гнева, вызванного тем, что они не принадлежат к костяку группы, было недостаточно, чтобы развить у них чувство солидарности. Они догадывались, что их очень ловко провели.

Но в одном они были единодушны, и это даже не обсуждалось: Берит Шнайдер — предательница и ее нужно наказывать.

Поэтому Берит находила свое имя на исцарапанных партах: *Berit is a whore. Asshole Berit*^[12]. *Иди на х..., Берит.*

На площадке для курения, самом важном месте для встреч и контактов в послеобеденное время, она обычно стоит одна между группок учеников. Как будто презрение их кружка заразно и распространилось на остальных учеников. Никто не разговаривает с ней, никто не задается вопросом: «Почему?», а ей так хочется объяснить кому-то. Всего лишь неделю ей приходится выносить это всеобщее неприятие ее персоны, а ей уже кажется, что больше она не выдержит.

Вчера она звонила родителям, лежа в постели и прижимая к мокрой от слез щеке мобилку. Ее родители живут в Берлине, у отца есть подруга, которая теперь разводится, а у матери — любовник, который еще учится. К счастью, дом в Райникендорфе настолько велик, что там можно легко затеряться. У обоих родителей есть телефоны, поэтому Берит обычно звонит им по очереди: сначала маме, потом отцу. Мать покупает и ремонтирует недвижимость — целые дома или по нескольку квартир сразу, а потом продает отдельные квартиры. Обычно она рассказывает ей о рабочих, которые ничего не соображают, или о властях, которые ей мешают, или о финансовом управлении и дурацком налоге на прибыль от спекулятивных сделок.

Отец руководит небольшой фирмой, выпускающей детали для телевизоров, дела у него идут неважно. Правда, он получил наследство и поэтому не слишком переживает из-за проблем своего предприятия, однако работает он практически круглые сутки. Когда он разговаривает с Берит по телефону, речь идет, как правило, о любовнике ее матери, который ее просто использует.

— Твоя подруга, кажется, делает то же самое с тобой, — говорит в таких случаях Берит.

Ей кажется, что отец выглядит старым и непривлекательным, поэтому ее удивляет, что есть женщины, которые находятся рядом с ним не с корыстными целями. Тем не менее она его любит, потому что он веселый и легко может ее рассмешить.

Но когда она, плача, призналась родителям по телефону, что хочет домой, и лучше всего прямо сейчас, большого воодушевления с их стороны она не ощутила.

— Мышка, не преувеличивай. Все уладится. (Это мама.)

— Сокровище мое, ну не в начале же года! Подожди хотя бы до конца семестра. (Это отец.)

Мама:

— Они сейчас все слишком взволнованы, поэтому слегка перегибают палку. Вот увидишь, через пару недель они все забудут.

Отец:

— У тебя там намного больше возможностей. Здесь тебя пришлось бы отдать в частную школу, а у них нужно ждать начала года.

— Я же могу опять пойти в государственную школу.

— Ты с ума сошла, детка? Там столько иностранцев! Ты там ничему не научишься.

Берит плакала и всхлипывала, пока мама не пообещала ей на Рождество новый дорогой шерстяной топик от Гуччи, который она видела в бутике на Фридрихштрассе («Ну прямо как специально для тебя!»). Отец пообещал ей любой маленький автомобильчик, если она продержится хотя бы до конца учебного года.

До конца учебного года. Даже подумать страшно.

— Берит.

Так давно это было, когда кто-то звал ее по имени, что Берит сначала решила, будто ей послышалось. Вот до чего она дошла. Всего неделя, как она поняла, каково это — быть нелюбимой, и вот уже не может доверять собственным чувствам. Но ее действительно кто-то звал. Она обернулась.

Стробо сбежал по лестнице главного корпуса, подбежал к ней. Сердце ее учащенно забилось. Стробо не сказал ей ни слова с того дня, как она выдала Даннера полиции. Она попыталась улыбнуться, но Стробо избегал смотреть ей в лицо. Если бы она чувствовала себя лучше, то заметила бы, что он смущен, но в ее теперешнем состоянии она видела только неприятие. Улыбка застыла на ее лице, и она невольно выпрямилась, как будто ожидая нападения.

— Даннер хочет тебя увидеть, — оказавшись перед ней, сказал Стробо, глядя в какую-то точку справа от ее лица; он зябко поводил плечами и переступал с ноги на ногу.

— Что?

— Да. Он простил тебя за это.

— Ага.

Даннеру нечего ей прощать. Скорее, он должен перед ней извиниться — перед всеми ними, потому что он использовал их. Потому что так оно и было. Нет этому оправданий.

Но было очень тяжело оттолкнуть протянутую руку. Ей стало тоскливо, снова хотелось принадлежать этому миру. Более всего она скучала по Стробо, по его рукам и губам.

— У меня совесть чиста, — сказала она. — Я чувствую себя мерзко потому, что вы ко мне вот так относитесь, но я абсолютно не жалею о том, что сделала.

— Даннер знает это. Он принимает твою позицию. Он считает, что ты очень мужественная. Ты противопоставила себя группе. Одна.

Больше книг на сайте - Knigoed.net

Теперь Стробо посмотрел на ее — так сказать, с разрешения Учителя — по-иному, почти уважительно.

Вот это типичный Даннер. Делает всегда то, чего от него никто не ожидает. Это его неудержимое желание быть оригинальным любой ценой. Берит не верит ни слову из того, что говорит Стробо. Это все спектакль, и она просто-напросто не понимает, как Стробо, которого она считает умным парнем, попался на эту удочку. Кажется, они ослепли и оглохли. Все ведь должны чувствовать, что в Даннере все ненастоящее — все его чувства, все реакции. Но другие не видели того, что видела она. Они не знали, что он исключительно работает на публику, этакий выскочка-гуру.

Она помнит день после той жуткой лунной ночи в Тельфсе, когда группа кутивших, как испуганные дети, сидели перед хижиной, утомленные бессонной ночью, раздавленные

тошнотой и растревоженной совестью. В хижине Даннер общался с австрийским полицейским, в то время как остальные сотрудники прочесывали окрестности в поисках пропавшей Саскии. Вспомнилось, как Петер спросил: «И что нам теперь делать?» — таким тоном, как будто уже совершенно точно знал ответ. И поскольку Берит кое-что предчувствовала, то быстро и резко ответила: «Что делать? Ничего!»

— *Что значит «ничего»? Мы же должны как-то прореагировать!*

— *На что ты собираешься реагировать? Мы ничего не знаем о жене Даннера, мы ничего не видели, ничего не слышали...*

— *Мы должны сказать ему.*

— *Что, идиот ты этакий! Что мы накурились до бесчувствия? Чтобы он нас заложил? И чтобы мы все вылетели?*

— *Нет. Он ни за что нас не заложит. Если мы скажем ему, это будет доказательством доверия.*

— *Доказательством доверия в чем? И вообще: к чему все это? Что это даст? Не нам, а ему, потому что мы будем в его руках.*

— *Я не понимаю, что с тобой происходит, Берит. У тебя, если речь заходит с Даннере, начинается паранойя. Это нездорово.*

— *А ты помешан на том, чтобы постоянно доказывать свою преданность. Это нездорово.*

Но настоять на своей точке зрения она не смогла. Остальные были на стороне Петера: прямо сходили с ума, так им хотелось признаться во всем Михаэлю Даннеру, чтобы получить отпущение грехов у его святости. Именно так потом все и произошло. Он великодушно все им простил. А потом очень ловко подвел их к тому, чтобы они солгали ради него. Ему даже удалось заставить их поверить в то, что это была их идея.

— *Знаете, проблема в том, что, с одной стороны, ваше доверие делает мне честь, а с другой стороны, вы ставите меня в жуткое положение. Если я вас заложу, вас выгонят из школы. Если я вас не заложу, то я не выполню тем самым свои обязанности.*

А какое у него было при этом лицо! Этот заботливо нахмуренный лоб. Эти театрально взъерошенные волосы!

— *И прежде всего, что мы скажем полиции? Им я тоже должен бы рассказать о вашем поведении, и в этом случае вы получите предупреждение о нарушении закона об использовании наркотических средств.*

Как они все с бледными от страха лицами смотрели ему в рот! Как ловко он переложил на них ответственность!

— *Должен признаться, что я в полной растерянности. Сейчас я сделаю очень несвойственную учителю вещь. Я попрошу у вас совета. Как бы вы поступили на моем месте?*

Конечно, никто ничего не сказал. Это была часть его стратегии. Возникла длинная мучительная пауза, а Даннер тем временем с жутко серьезным выражением лица смотрел на них, на всех по очереди, как будто видел в первый раз. Потом уронил голову на руки: просто воплощение безнадежного отчаяния! Хотя Берит чувствовала себя так же отвратительно, как и остальные из их группы, она невольно предвкушала то, что должно было произойти. Что-то он задумал, она это чувствовала.

— *К сожалению, я должен спросить вас еще кое о чем, и прошу стопроцентно честного ответа.*

Все прислушались. Замолчали.

— *Я хочу знать, не заметили ли вы, как моя жена вышла из хижины.*

Полицейские спрашивали то же самое. Все сказали «нет». Даннер тоже. Поиски все еще продолжались. Подключили вертолеты, людей из горной спасательной службы, чтобы они в случае чего смогли быстро помочь Саскии Даннер.

Все отрицательно покачали головами. Никто ничего не заметил, никто. Даннер улыбнулся, он почему-то казался успокоившимся. Его ученики. Его кружок. Конечно же, они сказали бы, если бы видели что-то. Было бы нечестно даже думать иначе.

— *Люди, я не хочу вас в это впутывать. Вы молоды, у вас все еще впереди. Я не знаю, что мне теперь делать.*

И тут Петер взял слово. Бледный как мел, но решительный.

— *Никто из нас ничего не слышал и не видел. Мы сидели до четырех утра в кухне, пили и общались. Мы — Стробо, Марко, Сабина, Берит и я. И ты, Михаэль. Мы пили, общались не смотрели на часы. Мы ничего не заметили.*

Наступило ледяное молчание. Берит почувствовала, как кожа у нее на голове съежилась и волосы в прямом смысле слова встали торчком. Теперь она знала, что Даннер так все и задумал, и знала также почему. Но она не сказала ни слова. Петер предложил Даннеру сделку, и если Даннер на это пойдет, то ясно одно: с Саскией Даннер что-то произошло. Или Даннер предполагает, что могло что-то произойти и боится, что его обвинят в случившемся.

Даннер снова уронил голову на руки, как будто глубоко задумался. И снова случай помог ему. В эту минуту вошел сотрудник полиции и начал допрашивать группу. Петер солгал первым. Глядя прямо в лицо полицейскому.

— *Мы сидели здесь все вместе до четырех утра. Никто из нас ничего не слышал. Н тут был дым коромыслом.*

— *Это правда?*

Полицейский обернулся к Даннеру. Даннер кивнул. И у всех словно камень с души упал. Они не вылетят из школы. Не будет даже выговора, вообще никаких последствий. Они прорвались.

Впрочем, как и Даннер. Но тогда они не хотели об этом думать.

Берит и Стробо медленно шли вниз по покатой деревенской улице. Берит по-прежнему не покидало чувство, что она совершает ошибку. Даннер — ловец душ. Она для него — не более чем вызов, потому что она открыто противопоставила себя ему. Она его не волнует как личность.

Но неделя без общения — это еще хуже.

И все же у нее было чувство, что она дает себя одурачить. Нехорошо действовать против собственных правил, даже если они ошибочны. В это она твердо верила. Что вообще-то очень странно, потому что родители не старались привить ей какие-то принципы, чем страшно гордились. Безо всякой моральной чепухи, как говорил отец своим друзьям. Единственное, чему должна была научиться Берит, — это считаться с потребностями других людей. Очень прагматичная цель воспитания. Не нужно переживать по поводу моральных устоев. Но всегда возникает потребность именно в том, чего нет.

— Даннер избивал свою жену. Я видела в окно.

Стробо уже знает об этом. Она говорила ему и остальным еще до товарищеского похода, даже еще на летних каникулах. Но ни на кого это известие не произвело особого

впечатления. Петер сказал, что его родители частенько дерутся, пока кто-то из них не начнет кидаться тарелками. А потом они замечательно ладят. Но тут было все не так, настаивала Берит. Даннер избивал свою жену по всем правилам искусства. Она не защищалась, даже не кричала. Она позволяла делать это с собой, как будто это происходило уже в тысячный раз. Как будто она к этому привыкла.

— Если кто-то так поступает, в его байки просто перестаешь верить, — заявила Берит.

В ее голосе звучала мольба, совершенно неосознанно. А осознавала она отчаянное желание быть понятой, для нее было важно, чтобы кто-то согласился с ней. Постепенно она сама себе стала смешной. Может же быть, что остальные знают больше, чем она. Возможно, она просто выставляет себя на посмешище своими сомнениями.

— Даннер говорил с нами об этом, — сказал Стробо. Вокруг его рта образовывались маленькие облачка пара, когда он говорил. — Он сам страшно страдал в этой ситуации.

— Он? А как, простите, насчет его жены?

Суббота, и вся деревня будто вымерла. Слышно только их дыхание и скрип снега под подошвами. Ни души на улице, ни единой машины, ничего. В аккуратно отремонтированных домиках на торговой улице, украшенных luftmalerei, будто кто-то забаррикадировался. Ровно в двенадцать здесь закрываются магазины, и жители прячутся по домам, как будто ждут, что вот-вот случится какое-нибудь стихийное бедствие. Только весной и по выходным они выползают из своих норок, чтобы поить туристов кофе, кормить мороженым, пирожками и стричь купюры.

Хотя Берит уже три года проводит здесь все время, кроме каникул, она практически ничего не знает о людях, которые живут за территорией школы. Контакты между двумя мирами практически отсутствуют. Девушки, которые встречаются с парнями из деревни, больше не переступают порог школы. Просто потому, что так не делают. Потому что это не круто — водиться с типами, которые в свое свободное время не знают ничего лучшего, кроме как гонять на мотоцикле.

— Ты не даешь ему ни единого шанса, — сказал Стробо.

Они повернули за угол и очутились на улице, ведущей к пляжу. На первом этаже одной из покрашенных в бело-желтый цвет вилл живет Даннер. Второй этаж он сдал глуховатому старику.

— А что ты там вообще делала? — спросил Стробо.

— Когда?

— Когда ты... видела тогда Даннера.

— Гуляла.

— В саду у Даннера?

Берит набрала в легкие как можно больше воздуха.

— Это было вечером, около десяти. Я была на озере, а потом проходила мимо его дома. И тогда я услышала стук. Я заглянула в окно комнаты, но ничего не увидела, потому что шторы были задернуты. Но я знала, что там кто-то есть, видно было, как кто-то двигался, потому что свет был включен.

— И ты просто вошла или как?

— Калитка в сад была открыта. Мы у Даннера были много раз — почему бы мне и не зайти? Кроме того, там все время раздавался какой-то стук.

Берит замолчала, потому что они подошли к калитке, ведущей в сад Даннера. Стробо мог легко прекратить разговор, нажав на кнопку звонка. Но он этого не сделал. Вместо этого

он оперся спиной на проволочную сетку и скрестил руки на груди.

— Стук. А потом? — Он все еще не смотрел ей в глаза.

— Ну, я вошла, пошла к окну. Шторы были не до конца задвинуты. Я заглянула в щелку.

Берит стала дрожать. Уже начинало темнеть. Декабрьский холод забирался под ее пальто и два свитера, которые она надела один поверх другого. Лицо Стробо было бледным и неподвижным, как маска. Она не знала, стоило ли продолжать. Не испортит ли она окончательно отношения с ним?

— А потом?

Его голос был похож на шепот, как будто он не мог признаться себе и ей, что все-таки хочет это знать.

Дрожь уже достигла ее губ, уже тряслось все ее тело, как будто ее бил озноб.

— Она лежала на полу. Ноги подтянула к подбородку, голову спрятала в руки, как... Не знаю... Как ежик, который выставляет колючки — что-то такое. Только вот у нее не было колючек. Он как сумасшедший колотил ее кулаками по спине. Долго. А лицо у него было такое, как будто... как будто он не совсем в себе.

— Почему ты ничего не сделала? Ты же могла... позвонить, или еще что-нибудь. Хоть что-то.

Она не сделала ничего. Постояв, может быть, минуту, она пошла обратно через сад, не спуская глаз со щелки между занавесками. Потом, всю дорогу до школы, она бежала. И прошли дни, прежде чем у нее возникла реакция на увиденное. Просто не была известна модель поведения при таких ситуациях. Когда кто-то умирает, нужно плакать, если кто-то злится на тебя, нужно защищаться. Но что делать, если человека, которого прежде почитал, застаешь за столь отвратительным занятием?

И поэтому — теперь она это понимает — никто не захотел ей поверить. Потому что если бы ей поверили, пришлось бы не только признать, что они восхищались человеком, который провозглашал то, чем сам не жил. Пришлось бы что-то делать. Что-то. Поэтому самым простым решением было просто закрыть глаза на то, чего просто не должно было случиться. Только она не смогла. Она это видела.

Но она тоже ничего не предприняла.

Стробо медленно оттолкнулся от сетки, как будто в замедленной съемке. Он так же медленно повернулся к Берит и крепко обнял ее.

Потом нажал на кнопку звонка.

По воскресеньям, так сказали Фишеру ученики, распорядок дня был совершенно другим. Завтракали в этот день с восьми до десяти, а если хотелось, можно было взять с собой в комнату булочки, плетенки, масло, колбасу и варенье. После беспокойной ночи Фишер вошел в столовую около девяти. По приказанию Моны он поселился не в отеле «Цур Пост», как она, а в комнате одного из учеников, который по причине болезни пока что жил у родителей. Комната площадью самое большее пятнадцать квадратных метров, мебели мало, — в общем, как в монашеской келье. Лучшее, что здесь было — это стереоустановка с двумя колонками величиной почти в человеческий рост, да еще компьютер с плоским монитором. Это притом, что в школе есть компьютерный класс, даже с выходом в Интернет. В шкафу висели дорогие шмотки для отдыха и спорта, а рядом два костюма «Прада» и — невероятно, но факт — смокинг.

Кровать, опять же, была староватой, а матрас — слишком мягким. Комплект постельного белья из черного сатина Фишер нашел в комодке.

Вот как, оказывается, живут детки богатых родителей! Впрочем, именно так он себе это и представлял. На шаткой полочке, между растрепанными учебниками и тетрадями, он нашел альбом с фотографиями. Катание на лыжах в *Морице*, летние каникулы на *винограднике Марты*. Живут в свое удовольствие, без всяких финансовых затруднений. Паренек, который живет в этой комнате, может получить любую профессию — какую захочет. Он может учиться десятки лет или зависать в барах, он может основать свое предприятие, которое не обязательно будет приносить прибыль, или стать художником и не продать ни одной картины за всю жизнь. Он может спать с любой девушкой, которая ему понравится, или купить себе роскошную проститутку, знающую такие трюки, которые ему, Фишеру, и не снились.

Не пойдет это Фишеру на пользу — сидеть тут. Это испортит его характер. Сделает его завистливым. Но пока он не станет противиться планам Зайлер, потому что нет никакого смысла плыть против течения. Теперь начальство за Зайлер.

Фишер почувствовал себя нехорошо, садясь за пустой стол в пустой столовой. На столе было полно крошек и чашек из-под кофе с коричневыми ободками по краям. Он встал, увидев в углу комнаты что-то вроде буфета. Там он нашел кофе и чай в огромных термосах.

Вообще-то он должен был вступить в контакт с учениками из кружка Даннера. Хотя он не видит в таком задании никакого смысла, потому что они уже рассказали все, что знали. Как несовершеннолетним свидетелям им пообещали не наказывать их, но запротоколировали все их показания. Вряд ли у него что-то выйдет.

А с другой стороны, этого никогда не знаешь наверняка.

— Почему они отпустили его?

Мона пожалала плечами. Она еще не видела ректора в таком гневе. Раньше он производил на нее впечатление флегматика, который приспособился к обстоятельствам. Ей снова бросилось в глаза, как запущен его кабинет, как непрезентабельно он выглядел для такой дорогой частной школы.

Ректор меряет комнату большими шагами. На нем вытянувшиеся на коленках бежевые вельветовые брюки и серо-коричневый твидовый пиджак. Странно: ученики одеты по

последней моде, а учителя — чуть ли не бедно. Как будто они ни в коем случае не хотят произвести впечатление, будто собираются тягаться с неравным конкурентом.

— Сначала его со страшным шумом арестовывают, а потом все делают вид, что ничего не было. Я не понимаю этого.

— Так решил судья, занимающийся проверкой законности содержания под стражей. Нет доказательств. Мотив неясен. Если бы других убийств не было...

— Что? Как прикажете это понимать? — Ректор остановился за своим столом и впился в Мону взглядом.

— Если бы Саския Даннер была единственной убитой, было бы намного проще. Даннер ее избивал, только Даннеру, возможно, было выгодно, чтобы она умерла. Но для других убийств у него просто нет мотива. Даже косвенных улик против него нет. А судя по всему, между этими убийствами есть связь.

— Но у Даннера все равно нет алиби!

— Без обоснованных подозрений ему оно и не нужно. Так же как и вам.

— Но подозрения есть!

— Судья, занимающийся проверкой законности содержания под стражей, так не считает. Иногда такие вопросы оставляют исключительно на его усмотрение.

— Может быть, он убил остальных только затем, чтобы замести следы?

— Исключено. Никто не будет так утруждать себя.

Что это с ним? Почему он так разволновался?

— Вы... Вы отстранили Даннера от работы?

— Конечно! А что мы должны были делать? Теперь он сидит дома, у нас нет замечательного преподавателя французского, и никто не знает, что делать дальше.

— Если бы он был виновен, то все происходящее имело бы хоть какой-то смысл, да?

— Тогда все, по крайней мере, прояснилось бы. Но теперь карьера Даннера окончательно испорчена, уже только благодаря этой истории с его женой. В принципе, работать в школе он больше не может. Вы представляете, каково это? После такого скандала его не возьмут ни в одну школу. А пенсия? Ему ведь едва за сорок.

— М-да, — буркнула Мона. — Вот что бывает, когда тайное становится явным.

Но она невольно вспомнила о своем участке. О верховном комиссаре, к примеру, которого быстро повысили, после того как одна сотрудница заявила на него, обвинив в сексуальных домогательствах. Не всегда все заканчивается неприятностями, когда всплывают такие вещи.

Ректор сел за письменный стол и уронил голову на руки. У него редкие седые волосы, которые кажутся слегка жирными. Вот что еще бросилось Моне в глаза: постоянно находясь в окружении молодежи, он не выглядел моложе. Скорее, наоборот.

— Вам в целом нравится ваша работа? — спросила она, сама не зная, зачем.

— В данный момент нет, как вы, вероятно, догадываетесь.

— Я не имею в виду сейчас, я имею в виду вообще. В принципе.

— Я понял.

Это был просто спонтанный вопрос. Может быть, слишком личный и к делу отношения не имеющий.

Но, к ее удивлению, он ответил.

— Плохо, что этих детей уже нельзя воспитать. Они испорчены.

— Испорчены? Но не все же!

— Нет, не все. Большинство — нет. Но все равно таких хватает.

— А почему? Потому что у них слишком много денег?

— Тут дело не только в деньгах. В возможностях. Множество шансов. Когда постоянно есть выбор, становишься неуемным. Нужно быть очень стойким духовно, чтобы выдержать богатство.

— Это справедливо и для бедности тоже, — сердито сказала Мона.

Дошло. Ректор внезапно посмотрел на Мону так, как будто видел ее в первый раз. Хотел что-то сказать, но промолчал.

Наконец все же заговорил.

— Вы, конечно же, правы. Бедность и богатство — это крайности. Всегда легче находиться посерединке. Зарабатывать достаточно денег, чтобы иметь возможность удовлетворить основные потребности, но не все. Когда не остается неисполненных желаний, это развращает, и тут никакое воспитание не поможет. Я имею в виду, какие качества развивать? Больше скромности, может? Здесь нет ни одного восемнадцатилетнего, у кого бы не было собственного кабриолета. Некоторые ездят на выходные в Милан, чтобы купить новые шмотки. Смешно в такой ситуации пытаться привить им какие-то нормы морали.

— Поэтому вы просто наблюдаете за этим.

— Да, конечно. А что бы сделали вы?

— Не знаю, — ответила Мона. Разговор начал ей надоедать. Зачем ей проблемы живущих в роскоши? — Мне кажется, по сравнению с другими школами здесь рай.

Ректор взял в руки ластик и стал задумчиво мять его в руках.

— Н-да, конечно. Тяжелых случаев с наркотиками у нас в школе нет, это уже радует. Но большинство старшеклассников уже принимали участие в кокаиновой вечеринке. К счастью, обычно это бывает на каникулах.

— Ну да.

— Эта история с наркотиками в школах началась в семидесятых годах. Тогда была другая мораль, использовали другие методы и средства, чтобы дисциплинировать учеников. Теперь некоторые родители сами принимают кокаин. Я к тому, что какой же это пример для молодежи!

— Согласна с вами.

— Мы больше не можем контролировать учеников. Они высмеивают нас, когда мы пытаемся это делать. Причиной является множество возможностей. Слишком много возможностей и слишком мало требовательности к себе — это ослабляет дух. Необходимость созидает. Отсутствие ее порождает хаос.

Конни и Роберт были мертвы, так что совершенно нормально, что они приснились ей. Они пришли к ней в длинных одеяниях, похожих на нечто среднее между облачением ангелов и одежду хиппи. Их волосы снова были длинными и волнистыми, как тогда. «Вы невероятно красивы», — сказала она им, но тут налетел ветер, вырвал у нее слова изо рта и разметал их. Пейзаж стал текучим и розовым, потом появился серый асфальт, какой-то сиропообразной консистенции. Ноги вязли.

Ты наш цветок Востока.

Она радостно улыбнулась, как не улыбалась уже давно. Все снова вернулось! Старые добрые времена вернулись, и счастье заполонило ее всю, как тогда, когда она думала, что с ней ничего плохого больше не случится, потому что она была любимой и желанной. И

внезапно перед ней возник пляж. Пляж, звезды, море. Она снова была там, где все началось. Красивое и ужасное.

Мы любим тебя.

О да, все было так чудесно!

Я вас тоже люблю.

Конни и Роберт улыбнулись и кивнули. Она могла им и не говорить, они и так все знали, они знали все о ней. Она попыталась подойти к ним. Но песок был такой мелкий, что ее ноги тонули в нем, и она продвигалась вперед очень медленно, с большим трудом.

Ты должна помочь нам.

Этого я и хочу. Но как?

Помоги нам перебраться в мир иной. Приведи остальных. И приходи сама.

Нет! Оставайтесь со мной. Не уходите! Я не хочу. Оставайтесь, пожалуйста!

Что-то вернуло ее в реальность, куда она не хотела возвращаться. Что-то тянуло ее за ноги. Ветер. Она открыла глаза. Под ней — холодный бетон, над ней — оранжевая плитка. У ее ног стоит на коленях лысый мужик со спутанной седой бородой и пытается стащить с нее джинсы. Его брюки закатаны до колен.

Реальность оказалась болезненной. Она крикнула:

— Отвали, свинья!

Мужик отпустил ее и отполз, что-то злобно бормоча. Она поспешно встала, подтянула джинсы, затвердевшие от грязи. Она сидела на пустой станции метро, дело шло к полуночи, но все это было уже не важно. Она не знала, сколько дней и недель она жила на улице, потому что в ее вселенной это не имело значения. Она должна была выполнить некую миссию, и у нее на это было мало времени. Это было важно. Мир вокруг нее снова исчез, съежился до крохотной светящейся точки в огромном туннеле. Голоса, опять контролировавшие ее, сказали ей, что делать. Ей нужно было пройти через этот туннель, и не важно, куда он ее приведет, и при этом она не должна заблудиться, вот и все. Тогда все будет хорошо.

Первый раз в этом году пошел снег. С неба, кружась, падали белые хлопья, и ветер уносил их в темноту. В квартире Даннера тепло и уютно. Паркет в зимнем саду блестит, как отполированный, несколько красиво расставленных ламп распространяют теплый свет.

А на улице свежавыпавший снег приглушает все звуки.

— Какой кофе вы пьете? — крикнул Даннер из кухни.

— С молоком, без сахара, — крикнула Мона в ответ.

Она уже узнала о нем довольно много, чтобы не попасться на его удочку. Так что чашку кофе она могла выпить совершенно спокойно. Все равно она начеку.

Даннер вошел в зимний сад с подносом и аккуратно поставил его на чайный столик. Мона хотела встать, но он жестом остановил ее. И она снова откинулась на спинку черного кожаного кресла. Все в этой квартире было черным, белым, серым, бежевым или стеклянным. Только одна картина в гостиной, выдержанная в нежно-розовых, желтых и голубых тонах, привносила разнообразие в цветовую гамму его жилища.

Первое, что пришло в голову — у него хороший вкус, но это не совсем то. «Со вкусом» — звучит как-то натянуто и пошло, а квартира Даннера была абсолютно не такой. Все казалось органичным, каждая вещь — на своем месте.

— Вам здесь нравится? — Даннер налил кофе сначала ей, потом себе, пододвинул к ней кувшинчик с молоком.

— Да, очень, — ответила Мона.

— Это Саския обставила квартиру. Я бы сам никогда так не смог.

Мона промолчала. Этим утром Даннер позвонил ей в отель и пригласил ее «на кофе и рождественское печенье». И вот пяти минут не прошло, как она здесь сидит, а он уже заговорил о своей жене. И теперь ей действительно интересно, как он будет действовать дальше. Соблюдать осторожность она в любом случае не собиралась.

— Печенье? — Он протянул ей мисочку с ванильными булочками и звездочками с корицей.

Они были слишком маленькими и аккуратными для печенья собственного приготовления. Она взяла звездочку, облитую толстым слоем сахарной глазури.

— Их обычно делала ваша жена?

Даннер поставил мисочку обратно на стол, не взяв себе ничего.

— Да, — подтвердил он. — Каждый год в это время мы приглашали членов нашего сообщества. Было печенье и глинтвейн. Под конец мы все напивались допьяна.

Он замолчал, откинулся в кресле и закрыл глаза. Мона промолчала. Она не станет помогать ему, это она себе твердо пообещала. Но оказалось трудно не смотреть на него. Его лицо с прямым носом и губами красивой формы было одновременно беззащитным и загадочным. Она хотела отвести взгляд, но тут он открыл глаза. Слегка улыбнулся, как будто поймал ее на чем-то предосудительном. Мона почувствовала, что внутренне вся напряглась. Наконец, глубоко вздохнув, он выпрямился. Улыбка исчезла, выражение лица стало деловым.

— Вы наверняка удивлены тем, что я вас пригласил.

— Да, — сказала Мона.

— Вы не догадываетесь, зачем?

— Почему же, догадываюсь.

— И?

— Какое вам дело до моих догадок? Просто скажите, что вам нужно.

— Вы стараетесь не тратить время попусту, не так ли?

— По возможности.

У Моны было такое чувство, что он сейчас заговорит о ней, и она решила действовать осторожно.

Наконец Даннер снова вздохнул и запустил пятерню в свои густые волосы.

— Еще кофе?

— У меня пока есть, спасибо. Почему вы просто не скажете то, что хотите сказать? Я имею в виду, мы же оба знаем, что это не визит вежливости.

Будто сдаваясь, Даннер поднял обе руки. Потом сложил их на животе и вытянул длинные ноги. Он сидел к Моне вполборота, голову слегка склонил к плечу. Взгляд устремлен в окно, где кружит снег.

— Я хочу, чтобы кто-нибудь мне поверил, voilà.

Мона расслабилась.

— Это я могу понять.

— Я хочу поговорить с кем-нибудь о Саскии. Можно с вами? Чтобы вы сразу не...

— Я не исповедник, если вы это имеете в виду. Я вас выслушаю, но ничего не могу обещать, абсолютно ничего.

Даннер повернулся к ней, и сразу же снова отвернулся.

— Я любил Саскию. Вы в состоянии понять это?

— Конечно, — ответила Мона. После разговора с полицейским-психологом она усвоила, что это правило, а не исключение.

Даннер продолжал говорить, как будто не слышал ее.

— Мы познакомились примерно четырнадцать лет назад. Она тогда еще училась и подрабатывала официанткой в «Оазисе». Это забегаловка неподалеку от универа, может, вы знаете.

— Нет.

— Я тогда проводил практически все выходные в городе. Отношения с девушкой у меня не складывались, из-за Иссинга. Потому что моя тогдашняя подруга не хотела переезжать в провинцию, а найти работу в другом месте я не мог. Слишком много учителей, понимаете ли.

— М-м.

— Положение мое было критическим. Иссинг — неплохое место работы, но жить здесь... Сходишь с ума. Утром, в половине восьмого, сбор в актовом зале. Педсовет в половине одиннадцатого. Обед в час. Два раза в неделю контроль выполнения домашних заданий в младших классах — с половины третьего до пяти. Ужин в половине седьмого. И постоянно одни и те же люди со своими причудами, и так год за годом. От одного постоянно воняет курительной трубкой, и никто не может находиться с ним рядом, другой разглагольствует о закате западной цивилизации, ссылаясь на то, что ученики после отбоя сидят в Интернете, третьего жена постоянно держит на диете, а он все больше толстеет. И все время слышишь одни и те же вопли по поводу испорченных детей, которых воспитываешь-воспитываешь, и все без толку, а в глазах у возмущающихся читаешь, что они завидуют этим самым детям. Здесь просто задыхаешься.

— Если вернуться к вашей жене...

— Да, Саския. Саския была красивой и живой, милой и веселой. И она была готова переехать сюда. Она получила небольшое наследство, поэтому мы смогли купить этот дом. На него пошли все ее средства, но ей было все равно. Она хотела быть со мной, ей здесь нравилось, и нам было хорошо вдвоем. С Саскией здесь было терпимо.

Может быть, есть много правд. Правда Даннера и правда Берит Шнайдер. И правда гинеколога Саскии Даннер, которая уже дала показания и подтвердила то, что сказала Берит Шнайдер.

Она всегда страшно стеснялась, когда нужно было обнажить верхнюю часть тела для обследования груди. Поначалу я думала, что она просто манерничает. Потом я увидела эти кровоподтеки на плечах, на бедрах. Это невозможно скрывать вечно. Я решила поговорить с госпожой Даннер о своих подозрениях, о том, что ее избивают. Она отрицала это. А у меня уже не было никаких сомнений. Я была уверена на все сто процентов. Я только не знала, что делать, как реагировать. Я уже несколько раз заявляла на мужей, и решила, что больше никогда этого не стану делать, потому что мне уже жизнь стала не мила. Никогда не надейтесь, что вам скажут спасибо. Несколько лет назад одна женщина хотела подать на меня в суд за клевету. Эту женщину муж избил до полусмерти, можете себе представить. Никогда больше этого не сделаю. Женщины должны сами себя защищать, иначе ничего не выйдет. Я не могу сделать это за них. И когда госпожа Даннер стала все отрицать, я решила: о'кей, девочка, это твои проблемы. Если ты не хочешь ничего менять, то пусть тебя и дальше бьют. Теперь я жалею, что не вмешалась. Не сделала это в последний раз.

— Когда это случилось в первый раз?

— Что вы имеете в виду? — Но он знал, что она имела в виду. Это было видно по нему.

Вечером Мона ужинала с Фишером в ресторане отеля. Они уже неплохо сотрудничали. По крайней мере, Моне так казалось.

— Части трупов, — внезапно сказал Фишер, когда официант принес заказ.

— Что?

Он указал на половинку курицы гриль.

— Трупы животных.

Мона растерянно смотрела на него.

— Ты вегетарианец?

— Конечно.

— Ой, нет! И рыбу не ешь, и яйца?

— Яйца ем. Рыбу нет. Я не ем животных.

— Из принципа?

— Именно.

Мона решила не обращать внимания на эту провокацию. Может быть, просто у Фишера такая манера начинать разговор. Она решила, что он открывается, только познакомившись с человеком поближе. Тогда он мог быть даже остроумным. Но с ней он пока еще до этого не дошел.

— Если хочешь, можешь уезжать отсюда. Может быть, это действительно ничего не

даст, — я имею в виду твое пребывание в школе.

— С чего это вдруг? — Вот он уже опять завелся, и Мона задалась вопросом, почему.

Она сказала:

— Я думаю, что это не Даннер.

— Ну и что, даже если это так. Кто-то же должен был убить, причем этот кто-то — из школы. Или нет?

— Ну да. Конечно.

Самообман не поможет: они в тупике. В данном случае это означало, что они что-то упустили. Очевидно, упустили.

Факт номер один: между всеми тремя убийствами существует связь. Факт номер два: в ходе расследования они ни на что подозрительное не наткнулись. Почему?

— Как там было, у Даннера? — спросил Фишер.

Это тоже тема не из простых. Об этом она предпочла бы не говорить.

Как там было? Ощущение у нее возникло двойное. Даннер разоткровенничался с ней, как ни один мужчина прежде. Он отвечал на ее вопросы, причем очень подробно. Например, описал, каково это — приходить домой и впадать в ярость от мелочей, которые Мона считала не стоящими внимания. Почта, которая лежит в кухне, вместо того, чтобы находиться на письменном столе. И то, что жена, когда моет посуду, тратит слишком много воды. Такого рода вещи.

— *Нельзя же серьезно заводиться из-за таких вещей.*

— *Я это делаю, вот что самое страшное. Вот такой я есть. Я заводжусь из-за всего, что мне кажется неидеальным. Я знаю, что слишком нагружал этим Саскию, — любая женщина бы не выдержала. Вот такой я есть. Я пробовал по-хорошему десять раз, двадцать раз. На двадцать первый я срывался. Вот такой я — и все тут.*

— *Довольно жалкое оправдание.*

— *Да. Я знаю.*

— *Но тем не менее вы ничего не предприняли.*

И тут он заплакал. Никогда еще ни один мужчина не плакал в присутствии Моны. И она ничего не смогла с собой поделать — ей стало его жаль. Но теперь она спрашивала себя, действительно ли он пришел в отчаяние или просто хитрил.

— *Я знаю, что виноват, и этому нет оправдания. Мне нужно было пройти терапию...*

— *Чего вы не сделали...*

— *У кого? Найдите здесь терапевта, опытного, чтобы свое дело знал!*

— *А вы пытались?*

— *Да. Насколько было возможно, чтобы об этом сразу не узнали все вокруг. Я был у пары шарлатанов, которые смотрели на меня во все глаза, так как думали, что тот, кто бьет свою жену, должен быть размером со шкаф и с манерами каменщика.*

— Ну и? — не отставал Фишер. — Как было у Даннера? Он пытался тебя околдовать?

Неужели это настолько очевидно? Но Фишер сосредоточился на своей Renne all'arabiata и не обращал на нее никакого внимания. Может быть, он сказал это просто так?

— У тебя с собой случайно нет списка всех опрошенных?

— Что? Ты что, думаешь, я его всюду с собой таскаю?

— Мы кого-то забыли, — сказала Мона.

— Ну конечно, и не одного. Мы даже не всех нашли. Взять только бывших учеников Иссинга. Кто-то вышел замуж и сменил фамилию, кто-то уехал за границу. Амондсен и

Штайер даже не одного года выпуска, у них были разные друзья, разные компании. Это сильно расширяет круг поиска.

Они проштудировали списки учащихся с середины семидесятых до начала восьмидесятых годов, и коллеги поговорили со всеми, кого смогли найти. Если Мона не ошибалась, то всего было, по меньшей мере, человек сорок бывших учеников и двадцать преподавателей. Всех допросили, и никто не сказал ничего, что могло бы прояснить, что связывало Саскию Даннер, Константина Штайера и Роберта Амондсена.

— Так что, ты хочешь остаться? — спросила Мона Фишера.

— Конечно. Я буду продолжать следить за учениками. — При этом он избегал ее взгляда, но поскольку он поступал так часто, Моне это не показалось подозрительным.

Зло существует. Зло — это не метафора, и не средство держать мятежных верующих в узде. Зло — это раковая опухоль, которая может развиваться в таких слабых организмах, как ее, пока не уничтожит в ней все здоровое, позитивное, здравомыслящее, человеколюбивое и нежное. Однажды зло убьет ее, и она с нетерпением ждет дня, когда оно это сделает, потому что сама она уже давно сдалась. И ей ничуть не жаль, что так случилось.

Она находится в приюте для бездомных, это своего рода чистилище. Сюда ее привела девушка с пирсингом на губе. Они где-то познакомились, и она дала уговорить себя и привести сюда, потому что спать на улице или в метро было слишком холодно. Но здесь было жутко: шумно, вонь, все запущено. Ей указали на одну из двадцати коек в женском зале, на которой лежал обоссанный матрас. Она еще никогда не была в таком месте. Даже психиатрическую клинику ей было легче выдержать, чем это место. Но прийти туда по собственной воле она уже не могла. Она опустила голову и стала смотреть на линолеум.

Зачем она здесь? Что это за место? Каждый раз, когда она задавала себе этот вопрос, в ее бедной голове все путалось. Как будто там был кто-то, кто любой ценой хотел, чтобы в ней остался хаос и она не могла бы опираться на твердую почву фактов. Когда ей было лучше, это становилось ее самым большим желанием: закончить путешествие, которое не хотело заканчиваться. Это уже даже не путешествие, *это прогрессирующий психоз, милая моя!*

Психоз. Шизофрения. Эндогенная депрессия. Параноидные сдвиги. Кататонические
Снова она заблудилась в лесу терминов. Врачи разговаривали через ее голову, как будто она глухая, или дура, или голова у нее не в порядке не оттого, что ее травят медикаментами. Слова превратились в водоворот и утянули ее на стремнину отчаяния.

Здесь никто об этом не говорил, ни у кого не было желания волноваться по поводу состояния ее психики. Таким людям, как она, которые очутились здесь, уже все равно не помочь. Ей дали более-менее свежую постель и предоставили самой себе и голосам, которые то кричали, то шептались в ней, отдавали приказы и отменяли их, вызывали чувство паники и сумасшедшие надежды, росли и съезживались — вели себя, как им хотелось.

Позднее, вечером, Мона сидела на кровати в своем номере в «Посте». Перед ней лежали семь журналов Иссинга, рядом — список со всеми опрошенными. Она просматривала их один за другим. Двоих одноклассников Штайера и одного одноклассника Амондсена они не смогли допросить. Один наложил на себя руки, другой, по свидетельству родителей, пропал без вести в начале восьмидесятых годов в Непале, а последнего просто не нашли.

Мона взяла один из журналов в руки. Год 1979-й. Здесь фотографии выпускного класса, хоккейной команды, объявления о свадьбах и смертях членов так называемого Союза

выпускников. Новые адреса бывших учащихся. Краткое описание профессиональных достижений. И среди всего этого — заметка о спортивном празднике с фотографией шестнадцатилетнего Роберта Амондсена, которого наградили как лучшего прыгуна в высоту на своем потоке. За Амондсеном, едва различимый на черно-белой фотографии, стоял пожилой мужчина с пышными усами. Его правая рука лежала на плече Амондсена.

Мона нахмурилась и пролистала журнал назад. На странице 4 она нашла фотографию того же самого мужчины с усами. Под фотографией было жирно написано: «Ницше уходит!» Еще ниже она увидела заметку:

Более двадцати шести лет Альфонс Корнмюллер работает в интернате Иссинг. Теперь ему 61, и замечательный преподаватель немецкого, любовно прозванный учениками «Ницше», решил посвятить все свое время исключительно своему хобби — выращиванию роз. Мы все сожалеем об этом и желаем Альфонсу Корнмюллеру всего наилучшего.

Мона еще раз просмотрела список. Альфонса Корнмюллера не было среди бывших преподавателей, которых допрашивали. Но почему он стоит за Амондсеном и что означает этот доверительный жест? Был ли он кем-то вроде его ментора? Доверял ли ему Амондсен?

Это даже не след. Это просто предположение. Слабая надежда.

Завтра они попытаются найти адрес Корнмюллера. Если этот человек еще жив.

А теперь нужно позвонить Лукасу. С тех пор как он живет у Антона, она каждый вечер звонит ему в половине восьмого.

Антон много путешествует, но часто работает и дома. Организовывает свои сделки. Очевидно, уже свободно владеет польским. Больше Мона ничего не хочет знать. Когда Лукас ночует у него, по вечерам он всегда дома. Это больше, чем делают для своего ребенка другие отцы. Целый день там есть экономка, которую Антон поселил в отдельной квартирке в том же доме, эта женщина трогательно заботится о Лукасе. Моне не стоит волноваться, но, тем не менее, она волнуется.

Что, если Антон попадет в тюрьму и Лукас об этом узнает?

— Это я, Мона.

— Ах, ты!

— Ага. А ты ждал кого-то из своих миленьких подружек?

— Расслабься, Мона.

— Как дела у Лукаса?

— Хорошо, как и всегда, когда он здесь. Да, Лукас?

Раздается еле слышное «да». Мона невольно улыбнулась.

— Дай ему трубочку.

Шаки снится, что идет снег. Хлопья крошечные, едва заметные, но падают так густо, что через короткое время вся местность кажется укутанной белым одеялом. Странно, но это почему-то пугает его — страстного любителя покататься на лыжах. Он падает на колени и начинает рыть землю, как собака. Но снег покрывает землю быстрее, чем работают его замерзшие руки, и в конце концов погребает под собой Шаки, и тут он просыпается с паническим криком.

Он открывает глаза, его крик — который на самом деле был не более чем тихим стоном, по-прежнему звучит у него в ушах.

Ночь так тиха, как будто все, кроме него, умерли. Рядом с ним лежит его жена Сильвия. Шаки выпрямляется и смотрит в темноту, которая просто абсолютна, потому что Сильвия страдает от бессонницы. Каждый вечер примерно в половине двенадцатого Сильвия опускает жалюзи на окнах и вдобавок задергивает тяжелые шторы синего цвета. В теплые летние ночи Шаки хотя бы разрешается открыть окно. Но теперь зима. «Малейший сквозняк или лучик света, — мысленно Шаки передразнивает ее высокий резкий голос, — обязательно разбудят меня, воробушек мой. Поверь мне!»

Вообще-то Шаки зовут Кристиан, он граф фон Шаки-Белендорф, но в начале восьмидесятых он отказался от графского титула. В основном чтобы позлить отца, который тут же лишил его наследства. Но ему, в общем-то, было все равно, потому что мать Шаки еще богаче. Так что Шаки был уверен в своем будущем. Правда, теперь он уже жалеет об этом шаге — графские титулы снова в моде. А с другой стороны, все равно все знают, из какого он на самом деле рода.

В принципе, я странный персонаж.

Шаки, который уже почти что заснул, снова вздрогнул и проснулся. Голос, звучавший в его ушах, был до жути реальным. Как будто в комнате кто-то находился. Как будто этот кто-то был прямо рядом с ним.

— Выпью-ка я чего-нибудь, — пробурчал Шаки и встал.

Сильвия что-то сонно пробормотала, и раздался звук, который бывает, когда кто-то во сне переворачивается с боку на бок и поправляет при этом одеяло. Сильвия всегда прокладывает его между колен, чтобы было мягче, потому что они довольно-таки костлявые.

Шаки на ощупь пробрался к двери, мимо шкафа-купе и жуткой, почти в человеческий рост скульптуры, которую Сильвия непременно захотела купить во время сафари на озере Кариба. Эту штуку пришлось перевозить морем, для самолета она была слишком тяжелая, а когда она оказалась в их доме, Сильвия не знала, куда девать эту жуть, которая ей больше не нравилась. С тех пор она загромождает их спальню, и так, наверное, будет до окончания веков.

Эта история уже давно вошла в арсенал шуток Шаки. «Хотите посмотреть?» — спрашивал он, рассказав эту историю, и они с Сильвией и всеми гостями, уже изрядно подвыпившие, шли, пошатываясь, в спальню, где долго не стихал смех, причиной чего был монстр, которого Шаки и Сильвия окрестили человекослоном.

В прихожей Шаки включил свет и машинально выдохнул. В голове крутилась идея-фикс, что ему обязательно нужно выпить. Пить. Ему самым банальным образом хотелось пить.

Только не воды. Не тот вид жажды привел его в кухню, где стоял огромный холодильник. В нем на льду лежала бутылка водки. Рот Шаки наполнился слюной в предвкушении горькой, холодной, острой, чистой жидкости, призванной изгнать дурные мысли и страхи последних недель из его мозга.

Пока он сидел за кухонным столом, пил и смотрел в окно, в котором нечетко отражались его контуры, в нем созрело решение. Нужно уехать отсюда. Подальше, что в данном случае значило: очень далеко. Например, Шаки подумалось о круизе на «Сильвер Клауд». На одном из кораблей, каких в мире были единицы, с просторными каютами, из которых можно наслаждаться видом самых чудесных на свете закатов. Ужин с капитаном в кают-компании, барбекю у бассейна на восьмой палубе. И стюардесса, обязанности которой состоят лишь в том, чтобы Шаки было хорошо.

Лицо Шаки расплылось в улыбке, благодаря чему он, несмотря на свои неполных сорок лет, стал выглядеть совсем как мальчик. По крайней мере, если верить его нечеткому отражению в окне, а Шаки, видит Бог, пребывал не в том настроении, чтобы видеть правду. Сейчас ему нужны были иллюзии, чем больше и соблазнительнее, тем лучше. Но для начала нужно как-то подать эту идею Сильвии. Не так: «Мы с тобой вдвоем на «Сильвер Клауд», во что бы то ни стало!», а так: «Шаки страшно устал и ему необходим отдых». Не от Сильвии, как ей такое в голову могло прийти? Конечно, он хочет, чтобы она поехала с ним. Но, с другой стороны, в ее галерее дела как раз идут на лад в эти предрождественские дни, поэтому он подумал... Он, правда, думал исключительно о ней...

Нет, с Сильвией этот номер не пройдет. Она обидится, если он попытается уехать без нее. Но сейчас он просто не может взять ее с собой. Нужно подумать. Разобраться во многих вещах. А это получается только хотя бы в относительном одиночестве. Это не сработает, если Сильвия будет заводить дружбу с каждым встречным-поперечным и целый день только то и делать, что изъявлять всевозможные желания, и так многословно и часто, что все, начиная от высших офицеров и заканчивая помощником стюарда, в конце концов перестанут ее выносить.

Не пойдет. Сильвия пусть остается дома. Но как же Шаки сделать, чтобы все это выглядело так, будто она сама захотела остаться дома?

В принципе, это очень просто: завтра утром, когда она будет еще в полудреме, он подкинет ей эту идею с «Серебряным круизом». Не говоря ни слова о том, что хочет ехать один. А вместо этого он скажет: «Мышка, давай-ка снова вытворим что-нибудь этакое, а?»

И снова Шаки улыбнулся. Нет ничего, что Сильвия ненавидела бы больше, чем *вытворить что-нибудь этакое*. Она утверждает, что, исходя из ее опыта, у Шаки это связано или с бабами, или с пьянками, и в том, и в другом случае ей не хотелось в этом участвовать. Сильвия на десять лет моложе Шаки. Она из хорошей семьи — урожденная графиня Ларвиц фон Майнинген, но денег у нее нет совсем. Единственное ее достояние — это красота, и поэтому ее поддержание стоит того, чтобы отказывать себе во всем. Сильвия мало ест, мало пьет и не курит. Она каждый день ходит в спортзал «Леос Джим», там у нее персональный тренер, и ее вполне можно сравнить с очаровательными юными моделями, актрисами, студентками права и театрального искусства. Пока что она имеет головокружительный успех, в этом Шаки мог убедиться во время своих немногочисленных визитов в спортзал. Кто там не смотрелся, так это сам Шаки, но это было неважно. Об этом он мог задуматься потом, когда в его голове освободится место для милых, неважных мелочей жизни.

Это можно будет сделать, если вырваться отсюда. И, возможно, никогда больше не

возвращаться.

Нет. Он вернется. Без этого города, без своих друзей он не сможет жить. Он побывал в самых прекрасных уголках земного шара, но нигде, кроме как здесь, не смог бы жить. Здесь его знает и любит каждый, он чего-то стоит в этом городе. Ему нравилось жить недалеко от дворца принца-регента, откуда было рукой подать до любой части города, и летом даже не нужна машина — разве только чтобы выхваляться на Леопольдштрассе.

Он и не заметил, как это произошло, но бутылка водки, которая только что была наполовину полной, теперь оказалась практически пустой.

Он посмотрел на настенные часы над белоснежной раковиной. Половина пятого. Только что была половина третьего. Этого он не мог понять.

И в тот же миг — по крайней мере, так ему показалось, — зазвонил телефон, стоящий рядом с ним. Шаки вздрогнул — этот звук жутко отдавался в ушах.

Никто в такое время не мог звонить. Никто, кроме...

Шаки не стал снимать трубку. Звонит по всему дому, кроме спальни, по крайней мере, исключена вероятность, что Сильвия проснется от этого звона. Он даже не хочет знать, кто звонит. Пять звонков, потом включился автоответчик, стоящий в кабинете Шаки. Дверь в кабинет закрыта, но автоответчик включен так громко, что он все равно слышит голос. Непонятно, что он говорит, но это именно тот голос, которого он уже научился бояться.

Когда раздалось «пиип-пиип-пиип», Шаки встал и вытряхнул пепельницу в мусорное ведро под раковиной (в пепельнице скопилось восемь окурков, с ума сойти можно, сколько он курит, совершенно не замечая этого). Потом со стаканом в руке на ватных ногах медленно пошел в кабинет и стер запись. Он пьян, но теперь ему это неприятно. Отвратительно. Настроение, как у побитой собаки. Ему нужен кто-нибудь, с кем можно было бы поговорить о своих проблемах.

Но никого нет. Не то что у него нет знакомых, напротив, у него множество знакомых. С этим множеством знакомых он практически каждый вечер встречается в «Кефере» или в «Трейдере Вик», прежде чем пойти в «П1» или домой, но в этом узком кругу не затрагивают такие темы, как вина и грех. Просто не та ситуация — так сказали бы его друзья. Здесь говорят об инвестициях и о том, как платить поменьше налогов. Советуют друг другу, где найти горячих кисок (говорят, самые красивые попадают в «Цсаре»). Рассказывают о последнем отпуске на Санкт Барт и жалуются на невыгодный курс доллара, из-за которого, к сожалению, подорожала поездка на Карибы.

Нет, здесь не говорят о грехах, совершенных почти два десятилетия тому назад, которые при всем желании не могут попасть в рубрику «Поступок кавалера».

Короче говоря, нет никого, кому Шаки мог бы довериться. Никто бы не понял его. Придется справляться самому. А он знает, что не способен на это. Шаки — такой человек, который умеет наслаждаться радостями жизни. Когда начинаются трудности, ему лучше куда-нибудь исчезнуть.

Он знает, что практически сорок лет ему везло до неприличия.

Теперь везение закончилось.

Но думать об этом слишком больно. Шаки прилег на белый диван и уснул.

Два часа спустя он проснулся от того, что кто-то трезвонил в дверь как сумасшедший. Во рту сухо, череп раскалывается, уголки губ потрескались, потому что изо рта у него текла слюна. На диване осталось мокрое пятно. На улице светло. Шаки выглянул в окно. Снег

валил так же густо, как и во сне.

Смена кадра: вот он уже перед входной дверью. Снова позвонили, и Шаки открыл дверь, как будто кто-то ему приказал. Тот, кто очень хорошо разбирается, что такое вина и грех, теперь решил, что для Шаки настало время заняться этой темой вплотную. Хочет он того или нет.

Перед Шаки возникло лицо — знакомое и в то же время незнакомое. Фата-моргана. Оно должно сразу же исчезнуть. Головная боль вызывает у Шаки мысли об апокалипсисе, он по-прежнему ничего не понимает. Жуткая боль в правом боку заставила его застонать. Все еще не веря, он схватился рукой за то место. Прямо как в фильме! Бежевый халат окрасился в красный цвет, так быстро... А сколько крови! Он засунул руку под халат, и кровь тепло потекла по его ладони. Колени Шаки подкосились, и он прислонился к дверному косяку. Глаза расширились, приняли невинное детское выражение, что выглядело очень странно, потому что у него было лицо человека, злоупотреблявшего водкой, кокаином, никотином и проводившего долгие ночи без сна.

Второй удар пришелся прямо в сердце. Шаки упал и ударился затылком. Снова боль. Умирать так больно! Он с трудом поднялся. Новый удар — на этот раз в правую ногу. Прошли длинные томительные секунды, потом Шаки почувствовал на шее что-то холодное, тонкое, похожее на коварную змею. Он закашлялся, стал задыхаться, хотел что-то сказать, но вместо этого услышал только собственный хрип. Жуткий звук. Ужасное чувство: *знать*, что больше ничего не будет. Что именно теперь его жизнь закончилась. Никогда больше не придется пить, курить, заниматься любовью, никогда...

Шаки даже не знал, что его ждет: пустота или ад. В глубине своей отчаявшейся, испорченной души он верил в последнее, и это превратило борьбу со смертью в ужасное мучение.

Три часа спустя Мона, Фишер, Бергхаммер и люди из отдела фиксации следов стояли перед трупом Кристиана Шаки. Мраморный пол перед дверью в квартиру на четвертом этаже был весь в крови, точно так же, как и паркет в квартире. Убитый лежал на спине на пороге открытой двери. Наполовину в квартире, наполовину на лестнице. Его конечности образовали что-то вроде свастики, так причудливо они были вывернуты. Глаза — как и у Амондсена, и у Штайера, были, вероятно, закрыты позже.

Кристиан Шаки учился в том же классе, что и Роберт Амондсен. Константин Штайер учился на класс старше. Иссинг — и никуда от этого не деться.

Но на этот раз на Михаэля Даннера подозрение не падало. Его по требованию Бергхаммера круглые сутки охраняли двое полицейских из Мисбахского округа, и они подтвердили, что во время совершения убийства он был в своей квартире.

— Мы же допрашивали его две недели назад, черт побери! — голос у Фишера срывался. Он казался очень подавленным, Моне еще не приходилось видеть его таким. Совершенно разбит. Все-таки чувствуешь себя немного иначе, когда знаешь убитого. Не нужно любить его, достаточно знать, каким он был при жизни. Как он двигался, как говорил, жестикулировал, улыбался. Тогда, даже наедине с собой, невозможно рассматривать его просто как труп.

— Черт побери, — снова сказал Фишер.

Он покачал головой, нервно провел рукой по коротким волосам. Бергхаммер начал к нему присматриваться.

— С тобой все в порядке, Ганс?

— Да, конечно.

Но это было не так, и все это понимали. Наконец Фишера прорвало.

— Я говорил с ним. Спрашивал о самом важном. Он вообще ничего не знал. Он действительно ничего не знал. Клянусь, он ничего не знал.

— Хорошо, хорошо, — обеспокоенно сказал Бергхаммер.

Он неловко обхватил Ганса за плечи, и тот сразу же напрягся. Бергхаммер отнял руку.

— Ты не хочешь выйти на свежий воздух?

— Нет, — сказал Фишер с интонацией капризного ребенка.

— Точно нет?

— Нет! Со мной все в порядке. Кроме того, там, у входа, эти типы из прессы. Я не знаю, что им говорить.

— Ну, хорошо, — согласился Бергхаммер.

Журналистами занимался пресс-секретарь, но если они увидят Фишера, они, конечно же, попытаются получить информацию из первых рук, а Фишер сейчас не в том состоянии, чтобы давать интервью.

Сотрудница полиции, которая была с госпожой Шаки, вышла к ним и объявила, что теперь Сильвию Шаки можно допрашивать.

Бергхаммер спросил:

— Мона, Ганс, возьметесь?

И в этот момент пришел запыхавшийся Штрассер из уголовной полиции Кобурга. И Бергхаммер тут же передумал: не Фишер, а Штрассер вместе с Моной будут допрашивать Сильвию Шаки.

— Я ничего не имею против тебя, Ганс. Просто дело в том, что Штрассер уже разговаривал с госпожой Амондсен.

Фишер побледнел еще больше, но возмущаться не стал.

— Еще одна женщина, которая совершенно ничего не знает о собственном муже, — сказал Штрассер.

Снова он заманил Мону в кафе, куда она, вообще-то, не собиралась идти. На этот раз это оказалось кафе на Шеллингштрассе, там было полно молодых и красивых людей. Штрассер заказал себе и Моне яблочный пирог, даже не поинтересовавшись, чего она хочет. Но поскольку Мона любила яблочный пирог, она промолчала.

— Не знаю, что там рассказывают эти ребята своим женам, — сказал Штрассер, — но явно не то, что с ними происходит на самом деле.

— Но, может быть, с ним действительно ничего не происходило, — предположила Мона.

— Да ну, не рассказывай мне сказки. Штайер регулярно принимал психотропы. Амондсен страдал от постоянной депрессии. Шаки пил как губка. Тут явно что-то не то. Со всеми ними.

— Вы имеете в виду, что все они знали убийцу? Они боялись чего-то подобного до того, как это произошло?

— Что ты такое говоришь!

— Вы не поверите...

— Ты. Рихард и «ты».

— О'кей. Ты не поверишь, но эта мысль уже приходила нам в голову. Но если они что-то знали, то почему не пришли к нам? Почему этот Шаки не сказал Фишеру ни слова о своих опасениях, хотя мог предположить, что станет одной из следующих жертв?

— *Если он мог предположить. Может быть, он не уловил связи. Может быть, он действительно не догадывался.*

— И так, Рихард, ты сам только что сказал...

— Да! Но мало ли что.

Мона промолчала. Схема убийства изменилась. На этот раз убийца использовал не только проволочную удавку, но еще и нож. Вполне вероятно, что именно ножевые раны (их насчитали одиннадцать) послужили причиной смерти. Удавка из проволоки, вполне возможно, уже была не нужна. Только для эффекта, так сказать. Из принципа.

Какого принципа?

Сильвия Шаки, равно как и Карла Амундсен, нисколько не помогла расследованию. Да, она заметила, что ее муж в последнее время стал пить еще больше, чем раньше, — если это вообще было возможно.

Что она имеет в виду? Она хочет сказать, что ее муж был алкоголиком?

Алкоголиком? Это еще слабо сказано. В последнее время муж пил водку как воду.

И что она, Сильвия Шаки, предприняла, чтобы прекратить это?

Ничего. Мужу вообще никто ничего не мог сказать, а особенно женщина. Особенно его жена.

— *Не было ли у вас чувства, что вашего мужа что-то беспокоит?*

— *Да. Но он не говорил со мной об этом. Никогда не говорил. Я у него была вроде украшения. Вообще-то он не умел обращаться с женщинами, кроме, ну, вы понимаете. Мы были женаты пять лет, и я не имею ни малейшего понятия, что думал и чувствовал этот мужчина, во что он верил и чего боялся. Ни малейшего понятия.*

— *Вот как.*

— *Да, вот так. А теперь уже слишком поздно.*

Не думала ли она о разводе — особенно в последнее время?

Тут она рассмеялась сквозь слезы. Нет, никогда. Он нравился ей, несмотря ни на что. И деньги у него были. И еще был подписан брачный контракт, по которому в случае развода она осталась бы не то что без средств к существованию, но во многом пришлось бы себе отказывать.

— *Зато теперь у вас куча денег, наверное.*

— *Думаю, да. Но, тем не менее, это не я. Можете мне поверить.*

— Она была какой-то очень спокойной, — сказала Мона Штрассеру. — Она плакала, это да, но была холодной. Я не думаю, что это сделала она, но у некоторых людей такая выдержка...

Штрассер посмотрел на нее и улыбнулся.

— Ты была замужем?

— Нет.

— А жила с мужчиной долгое время?

— Что ты имеешь в виду под словом «долгое»?

— Ну, не знаю. Три, четыре года. Что-то в этом роде.

Три-четыре года. Очень мило! Еще ни один мужчина не выдерживал с ней так долго.

Или она с мужчиной. Она даже не знает, в чем тут дело. То ли она все еще слишком любит Антона, несмотря ни на что, то ли что-то не в порядке с ней, и это страшно мешает мужчинам. Дело тут не во внешности, кажется. Может быть, она слишком прямолинейна. Слишком пресная. Никаких тайн. Но не будет же она рассказывать это Штрассеру!

— Что-то в этом роде. — И тут же спросила: — А к чему это ты?

— Сложно удержать любовь дольше трех-четыре лет, вот к чему я. В лучшем случае люди остаются добрыми друзьями.

— А дальше что? При чем тут этот Шаки?

— Ну, бывает, через пару лет начинается замечательная дружба. Полное доверие и все такое прочее. Или живут вместе, но каждый сам по себе. И то и другое может продолжаться довольно долго. Так оно было и у Шаки. Каждый занимался своими проблемами. Раз в день или чаще встречались за завтраком, рассказывали друг другу новости. Я имею в виду, что это тоже способ жить в браке. Для многих не самый плохой.

— Ты имеешь в виду, что она поэтому так мало знала о нем? Но как тогда насчет Амондсенов? Она тоже ничего не знала, но они были при этом довольно близки. То есть, до того, как она решила с ним развестись, они были чудесной парой. Близкими людьми и все такое прочее. Она сама так сказала.

— Может быть, готовясь к разводу, она его больше не слушала.

— Может быть, — сказала Мона с полным ртом.

С этим товарищем не поешь как следует — слишком уж много говорит.

Сильвия Шаки обнаружила мужа около девяти часов утра, когда подошла к двери забрать газету. По ее словам, она ничего на месте преступления не трогала, сначала вызвала «скорую помощь», а потом полицию. А после этого села рядом с убитым. Она не трогала его, «просто потому что не могла». Она истерично всхлипывала, и ей никак не удавалось собраться с мыслями.

Несколько минут спустя приехала «скорая», и врач установил смерть жертвы. Он подтвердил: Сильвия рыдала и была не в состоянии связно говорить. Поэтому он укрыл ее одеялом и попытался отвести в комнату. Но госпожа Шаки предпочла остаться возле мужа. Она села на пол рядом с ним и продолжала плакать. От успокоительного отказалась. Врач остался с ней, пока не прибыла полиция. Но вскоре она на удивление быстро успокоилась и сама ушла в комнату.

Подозрений у Сильвии Шаки не было. Она не сомневалась в том, что у мужа врагов не было, а если и были, то муж никогда о них не говорил. Она знала, что муж пару лет учился в интернате на Тегернзее, но он очень редко говорил о том времени, а она особенно не расспрашивала. Дружеских отношений со своими бывшими одноклассниками он, по-видимому, не поддерживал. Насколько она знала, он не общался с Константином Штайером, Робертом Амондсеном и Саскией Даннер. Она слышала эти имена впервые в жизни. Нет она не знала, что ее мужа допрашивали в связи с убийствами Штайера, Амондсена и Саскии Даннер. Он ничего не говорил ей об этом.

В последнее время он сильно нервничал, похудел, стал больше пить. Она пыталась достучаться до него, но он только говорил, что все в порядке и ей не стоит беспокоиться. Она предположила, что у него есть любовница, обыскала его вещи, но не нашла ничего, что указывало бы на отношения с другой женщиной. Потом она прекратила допытываться.

В последние дни жизни Кристиана Шаки она ничего необычного не заметила, кроме

того, что он стал намного хуже спать. И той ночью, когда его убили, он, как и несколько ночей до этого, около половины третьего ночи ушел из их общей спальни. Приходил ли он еще после того, она не знает, потому что быстро заснула снова.

Никакого шума она вообще не слышала. Площадь квартиры Шаки более двухсот квадратных метров, на двух этажах. Спальня находится на пятом этаже дома, а входная дверь — на четвертом. Так что это вполне вероятно, даже очень.

«Я любила своего мужа», — сказала Сильвия Шаки под конец допроса. Хотя она не понимала его, она его любила. Но он никогда не подпускал ее близко к себе, и она так и не узнала, чего он боялся в конце жизни.

Учитель немецкого языка, который обучал Роберта Амондсена, Альфонс Корнмюллер, он же Ницше, еще жив. Ему уже перевалило за восемьдесят, и он живет всего в получасе езды на машине от Иссинга, в деревушке под названием Виндау, которая находится в предгорьях Альп, сейчас это — сказочная заснеженная местность. Очень трудно было найти его дом. Жена Корнмюллера объяснила по телефону Моне, как к ним добраться, но ее дрожащий голос был едва слышен.

Наконец Мона очутилась в Осткерне и оттуда второй раз позвонила Корнмюллерам. Никто не взял трубку. У Моны возникло нехорошее предчувствие. С самим Корнмюллером она вообще еще не разговаривала, потому что его жена просто-напросто не захотела звать его к телефону. «Он не любит разговаривать по телефону, — сказала она, — и вам придется потрудиться приехать сюда, если хотите с ним поговорить». Может, он одряхлел, может, он ничего уже не вспомнит, может, она вообще напрасно ехала?

В этот день для разнообразия светило солнце. Небо ясное, холодного синего цвета, снег сверкает на деревьях, полях и холмах. Она припарковалась у церкви, возведенной в стиле барокко, и решила ненадолго зайти.

Фрески на куполах, очевидно, недавно отреставрировали, еще пахнет краской. Розовый, голубой, белый и золотой цвета сияют в лучах солнца, проникающего сквозь окна. Пухленькие ангелочки, казалось, летят к Моне, мягко улыбающаяся Мадонна в голубом покрывале держит Иисуса, голова которого маловата для ребенка, и поэтому он похож на крохотного грустного старичка. Мона закрыла глаза, но уже поздно. Воспоминание вернулось, перепрыгнуло через четверть века, как будто и не было этих лет.

— *Мама, не вставай. Пожалуйста, мама, не надо вставать. Пожалуйста, пожалуйста...*

Орган яростно заиграл «Те Деум», и в этот момент словно что-то щелкнуло у нее в мозгу — внезапно Мона смогла прочесть мысли матери. Жуткое ощущение. Она почувствовала, что происходит в другом человеке, его муки и навязчивые идеи. Она не может закрыться. Но должна сделать это, чтобы выжить.

— *Мама, нет!*

— *Я должна это сделать, Мона. Я должна дать показания.*

— *Нет! Пожалуйста, сиди!*

Мона открыла глаза.

Этого не было. Важно только настоящее, прошлое — мертво и минуло, *во веки веков, аминь.*

Она встала, слегка покачиваясь, прошла через неф и толкнула тяжелые створки входной двери.

Дом Корнмюллеров похож на занесенный снегом ведьмовской домик. Вверх по стенам ползет плющ, а крыша, покрытая толстым слоем снега, кажется покосившейся.

Внутри все оказалось таким, каким часто бывает в жилище стариков. На первый взгляд в доме убрано, везде чистота. А потом Мона почувствовала, что слегка пахнет смесью пыли, пота, мочи и моющего средства. Подоконники в гостиной полностью заставлены буйно

растущими комнатными растениями, поэтому в помещении, несмотря на то что еще утро — одиннадцать часов, — кажется темно, как в склепе.

Госпожа Корнмюллер, худенькая женщина с аккуратно завитыми волосами, принесла кофе и печенье. Господин Корнмюллер сидит в кресле перед дверью на террасу и смотрит в никуда. Кажется, все именно так, как и предполагала Мона: он выглядит больным и каким-то рассеянным, как будто не от мира сего.

— Госпожа Корнмюллер...

— Минутку, я сейчас.

Госпожа Корнмюллер проворно расставила чашки, налила кофе, себе и мужу добавила молока и сахару, а потом пододвинула кувшинчик и сахарницу к Моне.

— Угощайтесь, девушка. — Голос ее прозвучал хрипло и одновременно как-то певуче, как у простуженного дрозда.

— Спасибо, — сказала Мона.

Она действительно могла бы и не ехать сюда. Альфонс Корнмюллер, кажется, не замечал ее присутствия. Он взял чашку и стал пить кофе маленьким глотками. Его шея была такой худой и жилистой, что было видно, как он глотает. Сине-серая рубашка в одном месте выпросталась из габардиновых штанов, подтяжки перекошились. Он по-прежнему носил усы, закрывающие его рот почти полностью, но по сравнению с фотографией в журнале они казались потрепанными и поредевшими. Взгляд постоянно блуждал, как будто искал что-то, за что можно было бы зацепиться.

— Господин Корнмюллер! — обратилась к нему Мона.

Никакой реакции.

— Господин Корнмюллер! Мне хотелось бы с вами поговорить. Вы не возражаете?

Снова ничего в ответ.

В поисках подсказки Мона повернулась к госпоже Корнмюллер, которая теперь сидела на самом краешке стула. На ней был передник в цветочек, сшитый, вероятно, еще в шестидесятых годах прошлого века.

— Госпожа Корнмюллер, вы не можете мне?

Пожилая женщина улыбнулась, как будто хотела сказать: «Ну вот видите, я же вам говорила», — но именно этого она и не сделала. Впервые Моне пришла в голову мысль, что, вполне возможно, она просто использовала шанс хоть немного пообщаться. И это в принципе понятно, но не в этой ситуации, в которой Мона просто не может себе позволить терять время. Не говоря уже о том, что воздух в слишком сильно натопленной и заставленной некрасивой мебелью комнате был удушливым.

— Госпожа Корнмюллер, или помогите мне поговорить с вашим мужем, или мне, к сожалению, придется уехать. Мне очень жаль, — добавила Мона, потому что госпожа Корнмюллер внезапно так забеспокоилась, как будто Мона на нее накричала.

Может быть, и у нее уже не все дома.

— Милый! — обратилась госпожа Корнмюллер к мужу.

Она наклонилась к нему близко-близко и взяла за морщинистую худую руку.

— Милый, тут девушка приехала, хочет с тобой поговорить.

Постепенно бегающие глаза старика успокоились.

— Милый, ты видишь эту девушку? Она хочет поговорить с тобой о твоём ученике. Она хотела бы знать, помнишь ли ты его.

Голос у нее мягкий, говорит она терпеливо и трогательно нежно. Она знает своего мужа

уже в течение полувека, и, тем не менее, в их отношениях не ощущается скука, нет раздражения, только дружеская поддержка. И внезапно Мона почувствовала, как вся ее нервозность исчезла. Это снятие показаний будет трудным, и вполне может стать, что и безрезультатным. Но какая разница! Есть более неприятные вещи. Например, когда любимый человек медленно уходит в поля блаженных, куда нельзя за ним пойти.

— Милый! — снова сказала госпожа Корнмюллер, на этот раз энергичнее.

Она пожала его руку и слегка встряхнула.

— Иногда его нужно заставлять возвращаться, — пояснила она Моне. — Но у него получится. Иногда он просто немного ленится. — Она улыбнулась, и Мона невольно улыбнулась в ответ.

— Ничего страшного, если не получится.

— Получится, если вы наберетесь терпения. Просто назовите имя ученика. Может быть, он на него среагирует.

— Роберт Амандсен, — послушно сказала Мона. Ничего не произошло.

— Еще раз. Скажите имя громче. Он слышит довольно хорошо, но...

— РОБЕРТ АМОНДСЕН!

Старик резко выпрямился и, кажется, впервые действительно увидел Мону. Его глаза перестали моргать. Он посмотрел прямо на нее, и Мона попыталась удержать его взгляд, чтобы не рассеялось его внимание.

— Роберт Амандсен был одним из ваших учеников. — Она вынула из сумки журнал и поспешно открыла страницу, на которой была фотография Амандсена и Корнмюллера. — Посмотрите. Это вы с Робертом Амандсеном.

Корнмюллер взял журнал и стал внимательно разглядывать фотографию. Наконец он стал листать дальше, пока не дошел до той страницы, где было написано об его уходе. Он старательно, как первоклассник, прочел заголовок: «Ницше уходит».

— Ницше. Это вы.

— Это из-за его усов, — сказала госпожа Корнмюллер. Она стояла рядом с мужем и смотрела через его плечо. — У Ницше были такие же огромные усы.

— Да-да, — буркнула Мона, не отрывая взгляда от Корнмюллера.

Она совершенно не представляла, как дальше действовать. Дать ли ему спокойно подумать или он тогда снова может впасть в прострацию?

— Вы помните то время, когда вас называли Ницше?

— Заратустра, — произнес наконец очень спокойно Корнмюллер.

— Простите?

— Заратустра был основателем иранской религии. Ницше описывает его как одиночку, который однажды вышел к людям, чтобы поделиться с ними своими познаниями.

— Что?

— Чтобы они состоялись, по крайней мере, как звери. Но зверям свойственна невинность. Говорю ли я вам: убейте свои чувства? Я говорю вам: вернитесь к чувству невинности.

— Амандсен, — сказала Мона. — Роберт Амандсен. Что вы знаете о нем?

— Разве я говорю вам о непорочности? У некоторых непорочность — это добродетель, но для многих почти бремя. Да, они воздерживаются, но сука чувственность проглядывает из всех их поступков. А как хорошо умеет сука чувственность выпрашивать кусочек духа, если ей отказывают в кусочке плоти. — Корнмюллер поднялся и стал вещать громко, во весь

голос. Он поднял правую руку и указал на стену за собой, как будто там была доска. — На дне ваших душ — омуты; и горе вам, если у вашего омута еще есть душа. Кому трудно дается непорочность, тому она не нужна: она может стать вашей дорогой в ад.

— Он тогда им это говорил, — прошептала госпожа Корнмюллер.

— Ницше был одним из самых несчастных людей. Он не умел обращаться с другими людьми, был очень чувствительным и страдал от болезней. И тем не менее он создал труд, которому нет равных...

— Милый... — попыталась остановить его госпожа Корнмюллер.

— У какого ребенка не было повода плакать над своими родителями?

— Что он хочет этим сказать?

— Это Заратустра, — ответила госпожа Корнмюллер. — Он любит его цитировать.

— Ницше был не только великим философом. И не важно, что некоторые из его трудов сегодня подвергаются критике, например, тезис Заратустры о сверхчеловеке, который был многими превратно понят. Совершенно превратно, но сейчас это никого не волнует. Он также был великолепным лириком, стилистом высокого уровня...

— Милый, прошу тебя. Эта дама хочет кое-что узнать об одном ученике. Ты знал его.

Но Мона заметила, что ее слова никак не повлияли на Корнмюллера. Он действительно погрузился в прошлое, но не туда, где он мог быть полезным.

— Альфонс тогда непременно хотел уйти на пенсию, — сказала госпожа Корнмюллер. — Он мечтал выращивать розы. «Наконец-то в мою жизнь вернется покой», — говорил он. Но потом он сильно заскучал за всем. Вы должны знать: он был учителем от Бога. Таких, как он, теперь нет...

— Да. Я понимаю.

— Мне кажется, эта рана так никогда и не зажила.

Корнмюллер снова сел. Выглядел он возбужденным и уставшим, как после сильной физической нагрузки. Постепенно его голова упала на грудь. Глаза с тонкими, как пергамент, веками в старческих пятнах, закрылись, словно сами собой.

— Он больше не с нами, — сказала госпожа Корнмюллер.

Она все еще стояла за его спиной, удрученно положив руки на поникшие плечи мужа.

— Наверное, нет смысла пробовать еще раз, — предположила Мона.

— Нет, я думаю, не стоит. Видите ли, тогда было кое-что...

— Да?

— Кое-что, что заставило его уйти на пенсию намного раньше, чем он изначально планировал.

— Вы что-нибудь знаете об этом?

Госпожа Корнмюллер покачала головой и присела к чайному столику.

— Это было как-то связано с несколькими учениками. Они... плохо вели себя... что-то такое. Но им ничего не было. Может быть, эту историю замяли, я, к сожалению, не знаю. Альфонс никогда не хотел со мной об этом говорить. Но с тех пор он изменился.

— Как он изменился? Что он делал?

— Видите ли, девушка, это трудно описать. Мы с Альфонсом знаем друг друга более полувека. Тут уже просто чувствуешь душевные изменения, даже если внешне они никак не проявляются.

— Но вы можете попытаться описать, что в нем изменилось, я имею в виду.

— Хотите еще кофе?

— Нет, спасибо. Или нет, пожалуй, хочу. С удовольствием.

Это было летом 1979-го. Корнмюллеры жили в Лесном доме. Альфонс Корнмюллер, будучи комендантом, отвечал за двадцать девушек, которые жили в этом доме в комнатах по двое и по одной. Это было обычное лето в Иссинге, то есть неприятностей было множество. Чего стоили одни только четыре выговора директората за ночную вечеринку на озере! Один из участников потом убежал, но два дня спустя его вернула полиция. Девушка из Дубового дома пострадала от алкогольного отравления, потому что она выпила до дна две бутылки «Апфелькорна»^[13].

Причина — любовная неудача. Девушка три дня пролежала в больнице, прежде чем поправилась. Она тоже получила выговор.

— Ваш муж имел какое-то отношение к этим происшествиям?

— Нет, я думаю, нет. Конечно, он был в составе комиссии. Такие решения, например объявление выговора, принимались путем голосования.

— Как вы чувствовали себя в этой школе? Я имею в виду, вы...

— Я поняла, что вы имеете в виду. У нас нет своих детей, мне не было чем заняться. Так и бывает с женами учителей. Но это меня не беспокоило. Это было для меня нормально, потому что другой жизни я не знала.

— Вы общались с учениками?

— Очень мало. Это была парафия мужа.

Круг снова замкнулся. Тогдашний ректор умер тринадцать лет назад. Преподаватели, которых допрашивали в связи с последними событиями, ничего похожего не рассказывали. И Мона сидела здесь со старухой, которая ничего не знала, муж которой, возможно, был единственным свидетелем — знать бы только, чего.

— Вы сказали, что ваш муж тогда сильно изменился. Как он изменился и когда точно это произошло?

Последовала длинная пауза. Потом госпожа Корнмюллер начала рассказывать. Как она уже говорила, стояло лето. В это время ученикам будто вожжа под хвост попадает, они становятся еще более чокнутыми, чем обычно.

— Особенно это касалось моего мужа, — рассказывала она. — Неудивительно, двадцать девушек, за которых он отвечал, делали, что хотели. Курили в комнатах, запирали двери табуретами, когда к ним приходили мальчики, не придерживались режима, да еще и слова им не скажи! Но Альфонсу везло. В его доме, ну, не считая некоторых моментов, все было чисто. Четыре выговора, одно алкогольное отравление, но при этом — не замешана ни одна девушка из Лесного дома. Ах да, еще была одна беременность. Это держали в строжайшем секрете, но Альфонс мне проболтался. Но и эта девушка жила не в Лесном доме.

Госпожа Корнмюллер замолчала. Она просто никак не могла начать говорить о том, что интересовало Мону. Снова у Моны зародилось подозрение, что она сидит тут исключительно затем, чтобы госпоже Корнмюллер было с кем поговорить.

— Возвращаясь к тому, что произошло с вашим мужем...

— Да?

— Он же изменился. Почему? — Если нужно, она задаст этот вопрос и в четвертый, и в пятый раз.

— Ах да, как же это объяснить... Ученики любили Альфонса. Это было видно, да и коллеги всегда так считали.

— Да. И?..

— И он любил их. Он всегда за них заступался. Он всегда голосовал против, когда речь шла о штрафах. Он всегда настаивал на необходимости побеседовать с провинившимся.

— Но?..

Госпожа Корнмюллер посмотрела на Мону, которая вдруг поняла. То, что сейчас собирается рассказать ей госпожа Корнмюллер, она еще никогда никому не рассказывала. Она даже себе это толком, наверное, не объясняла. Это, так сказать, свеженькое воспоминание.

— Ваш муж всегда считал, что беседа необходима, — осторожно сказала Мона. — С каких пор он изменил свое мнение?

И тут госпожа Корнмюллер уронила голову на руки и тихонько заплакала.

Было несколько учеников, которых Эльфрида Корнмюллер знала довольно близко. Учащиеся были для нее безликой массой, из которой выделялись отдельные личности. Это были ученики, о которых Альфонс ей рассказывал. Она воспринимала жизнь в интернате через призму его очков, и принимала его мнение как свое, не фильтруя через собственное восприятие, потому что в этом сложном организме она не выполняла никаких функций. Она не была даже винтиком в нем. Ее единственной задачей было заботиться о муже, и этого ей было достаточно. По крайней мере, пока Альфонс был всем доволен.

С тех пор как пару лет назад ввели коллегийум, Альфонс Корнмюллер преподавал спецкурс по немецкому языку. Одного из учеников звали Роберт Амондсен. Тогда он был в двенадцатом классе.

— Вы когда-либо видели Роберта Амондсена?

— Да, несколько раз. С тех пор как муж стал вести спецкурс, у него появилась привычка приглашать раз в месяц учеников к нам домой. Он называл это рабочими разговорами. Я подавала чай, кофе, немного сладостей. Потом они в кухне помогали мыть посуду. При этом я разговаривала с некоторыми. Это мне понравилось — общаться с ними.

— Вы помните Роберта Амондсена?

— Да. Милый светленький мальчик. Очень, очень вежливый. Он мне нравился. Он пару раз приходил сам, если я ничего не путаю. Альфонс, наверное, принимал в нем участие. Они иногда даже ходили вместе гулять.

— Но?

Госпожа Корнмюллер с удивлением посмотрела на Мону.

— Никаких «но». В какой-то момент их общение прекратилось.

— В какой-то момент?

— Кажется, это было после летних каникул. Когда начался новый учебный год, Роберт пришел всего раз. Один. А потом больше не приходил.

— Почему?

Госпожа Корнмюллер пожала плечами.

— Я тогда спрашивала Альфонса, но он не захотел говорить об этом. Если я правильно помню, он сказал: дурная история.

— Именно тогда вы заметили, что ваш муж изменился.

— Да-да-да, — медленно произнесла госпожа Корнмюллер.

— Насколько?

Госпожа Корнмюллер зябко потерла руки и стала похожа на замерзшую растрепанную

птицу.

— Он стал более угрюмым. Более тихим. Менее терпеливым. Вы должны знать: он был очень миролюбивым человеком. И вдруг появилась нервозность, которой я никогда в нем не замечала. И однажды он сказал: «Знаешь, Эльфрида, мне это больше не нравится».

— Вот так вдруг?

— Да. Но я знала, что он уже давно стал об этом задумываться. Сам. Когда он мне сказал, я поняла, что его решение уже не изменить. Я, с одной стороны, обрадовалась, что у него появится больше времени, а с другой стороны...

— Что?

— Я не хотела, чтобы он ушел из школы с неприятным чувством.

— Но он вам ничего не рассказывал. Ничего, связанного с Робертом Амондсеном? Подумайте хорошенько.

Госпожа Корнмюллер послушно сделала задумчивое лицо и, конечно же, ничего не вспомнила.

— Нет. Мне очень жаль.

— Ваш муж когда-либо упоминал имена Константина Штайера, Кристиана Шаки или Саскии Даннер?

— Это вы по телефону уже спрашивали. Нет, этих я не помню. А что случилось с этими людьми?

— Все они мертвы.

— Ты уже сталкивалась с серийными преступлениями? Я имею в виду, на руководящей должности?

Мона закусил губу и покачала головой. О серийных преступниках она знала только то, что рассказывали в школе для полицейских, и ничего больше. У них подобными делами пока мало кто занимался. Во всей Европе не более пятидесяти человек расследовали подобные преступления. Были случаи, когда оперативники сломали себе зубы на этом. В основном это были убийства на сексуальной почве или, по крайней мере, особо жестокие изнасилования, совершенные над женщинами и детьми.

— Тут другое, — сказал Керн.

Он возглавляет подразделение по оперативному анализу дел, которое создал Бергхаммер и которое работает уже несколько лет, расследуя дела по всей Германии. На вид Керну чуть больше тридцати, так кажется, пока не заглянешь ему в глаза. При этом человек, как правило, пугается, потому что это глаза ребенка — чуткого и ранимого... Слишком чувствительные, учитывая, чем он занимается.

— Здесь мы имеем дело со свехубийством, — продолжил Керн, глядя поочередно на каждого участника совещания, на котором присутствовали Мона, Фишер и судебный медик Герцог.

В голосе Керна, в отличие от его глаз, ничего чувствительного не было. Он был сухим, монотонным и безжизненным. Может быть, поэтому Мона уже целый час пыталась подавлять зевки. Они сидели в кабинете Герцога, перед ними на столе лежали фотоальбомы с подробными снимками трупов Штайера, Даннер, Амондсена и Шаки. Разорванная кожа, синие пятна, следы удушения — на какой снимок ни посмотри. Фотографы не упустили ничего.

— Свехубийство, — повторил Керн, как будто ему очень понравилось это название или как будто он ждал, что кто-нибудь попросит разъяснений.

Но всем все было понятно. Свехубийство — это значит жертве нанесли ножевое ранение, выстрелили в нее или ударили, когда смерть уже наступила. Многие серийные убийцы склонны к этому: или потому, что им нравится акт убийства сам по себе и они хотят его искусственно продлить, или потому, что жертва умерла так быстро, что ярость или похоть, которые руководили убийцей, еще не прошли, не выплеснулись полностью.

Поэтому Керн здесь. Потому что когда есть четверо убитых, это уже серийное убийство, даже если — в отличие от стандартной ситуации — здесь никакой роли не играли сексуальные мотивы. И еще потому, что последнее убийство было еще более жестоким, чем в предыдущих случаях: это тоже указывало на то, что речь идет о серийном убийце. Кроме того, было использовано новое орудие убийства — нож. Как правило, это означает, что преступник почувствовал вкус к убийствам и теперь, чтобы получить больше удовольствия, действует по более сложному сценарию.

— Таким образом, можно предположить, что в следующем убийстве снова будут использованы гаррота и нож, — сказала Мона и посмотрела на Керна.

Тот кивнул. Слово «гаррота» прижилось в специальной комиссии, хотя, наверное, уже никого не было в одиннадцатом отделении, кто бы не знал, что на самом деле орудием убийства была удавка из проволоки. Возможно, так случилось из-за СМИ, где употреблялось

название «душитель гарротой», которое до сих пор мелькало в заголовках местных газет и газет Баварии.

— А что еще? — спросила Мона. — Я имею в виду, какие еще просматриваются закономерности?

Все беспомощно посмотрели на нее и углубились в изучение фотографий трупов, как будто это была головоломка, в которой спрятана разгадка. Часто так оно и бывает. Но в этот раз Мона так не считала.

Когда она мечтала о любви, та представала перед ней в образе женщины в белых одеждах из шелка и тюля. Тюль был с тонкой черной каймой и в маленький цветочек: такое платье было на ней, когда ей было восемь лет и она шла на школьный карнавал. Выполняя ее просьбу, портниха сделала такую узкую талию, что она не могла попробовать ни карпа, ни венских колбасок с горчицей, которыми угощали по случаю праздника в классной комнате, украшенной гирляндами.

В тот день ее первый раз поцеловал одноклассник. Она еще помнит его фамилию, потому что мальчиков тогда звали только по фамилиям: Вебер, Кройцер, Науманн, Бергер. Мальчика, который поцеловал ее, звали Штаудахер. Он был из семьи, которую шепотом называли асоциальной. У него было семь или восемь братьев и сестер, и ему никогда не разрешали ездить на вылазки с классом, потому что его родители были не в состоянии заплатить даже самую маленькую сумму, которую необходимо вносить в таких случаях.

Но его поцелуй был самым нежным и самым робким из всех в ее жизни. В то же время ей казалось, что она почувствовала вкус меланхолии и отчаяния. С тех пор она думала, что это и была настоящая любовь: сладкая и горькая одновременно — как слезы.

Ко многим разочарованиям, которые приготовила ей жизнь на последующие тридцать лет, добавилась и попытка находить в мужчине мальчика, который так мягко и нежно подвел ее к тому, что она считала любовью. Однажды, когда она уже была взрослой, она вернулась туда, где жила раньше, и стала разыскивать Штаудахера. Конечно, она даже не думала, что он вспомнит ее — двадцать лет спустя. Но надежда, эта несчастная изолгавшаяся шлюха, которая так часто, насмешливо улыбаясь, заводила ее на ложные пути, надежда не оставляла ее в покое и привела туда, где ей, в общем-то, нечего было искать.

И вот она очутилась перед выкрашенным в зеленый цвет съемным коттеджем, на заднем дворе которого находилось предприятие по изготовлению деревянных инструментов. Называлось оно «Штаудахер Ltd». Она вошла, спросила о хозяине, и ее проводили в кабинет, где грубый мужик с толстыми руками рычал в телефон: «Ты, лох, если завтра не будет поставки...»

Потом он увидел ее, стоящую у балюстрады, и дал понять искажившимся от ярости лицом и нетерпеливыми взмахами руки, что ей лучше исчезнуть, причем немедленно. «У меня нет времени!»

И она тут же ушла. Может быть, это был не тот Штаудахер. Но в выражении его лица она уловила меланхолию и отчаяние, скрытые под маской вспыльчивого взрослого, увидела мальчика, которого больше не было.

Почему мужчины становятся такими? Почему они думают, что для того, чтобы выжить, нужно быть безжалостным?

Таковыми были ее мысли и чувства тогда, незадолго до того, как голоса снова взяли над ней верх и задушили все, что составляло ее личность: она запуталась в спиральных мыслях,

которые неуклонно вели вниз, в области, где человеку нечего делать, а ей тем более. Там царили голоса.

Врачи говорили, что голоса — это часть ее самой, от которой она пытается избавиться. Нет, стоп: обычно врачи ничего не говорили, а только пичкали ее медикаментами, которые успокаивали голоса, но и не только. Медикаменты притупляли страх, приостанавливали хаотическое метание мыслей и одновременно утомляли ее. Сознание становилось вялым, безвольным и немым.

Врачи ничего не говорили, зато психологи — много чего. Они твердили о том, что подсознание передает ей сообщения. Они утверждали, что голоса — это ее подсознание, поэтому очень важно расшифровать эти послания.

Психологи занялись этим, когда врачи ее *правильно настроили*. То есть когда она получала нужную дозу таблеток, наступал этап разговоров. Она снова и снова рассказывала о своем детстве, о своих страхах, о своих травмах. А они снова и снова анализировали ее воспоминания, часто вместе с молодыми привлекательными терапевтами и аналитиками, которым нужно было пройти год практики в отделении психиатрии, чтобы заработать деньги и подыскать себе место. Потом пожилые терапевты советовали ей заняться гончарным ремеслом, плести корзины, делать коллажи, рисовать то, *что в тебе происходит*. По крайней мере, горшки у нее получались хорошо, всегда. В ее квартире было полно самодельных ваз, чашек и мисочек. Если кто-то спрашивал ее, что она делала в клинике, она показывала эти изделия, тем самым доказывая, что она там не бездельничала.

Она все время проходила курсы лечения в одной и той же клинике. Врачи, сестры, терапевты постоянно менялись, но длинные, мрачные, плохо освещенные коридоры, отвратительная столовая в подвале, где стояли коричневые поцарапанные пластиковые столы и стены были покрыты моющейся зеленоватой краской, металлические кровати с белым жестким постельным бельем оставались все те же. Когда она замечала, что голоса приближались, она сама шла в клинику.

Но на этот раз голоса оказались проворнее и помешали ей сделать это вовремя.

Голоса всегда были против того, чтобы она искала помощи у *других*. Неудивительно, потому что эти «другие» были естественными врагами голосов.

Ей было все равно. Так или иначе, она чувствовала себя марионеткой. Она никогда не ощущала себя самостоятельным индивидуумом, даже в самые лучшие времена. Поэтому она давно перестала пытаться как-то повлиять на свою жизнь. Жизнь не слушалась ее. Она могла пытаться, сколько угодно, но постоянно полностью подчинялась тому, что другие называли судьбой. Она это знала, потому что пробовала.

Она честно пыталась *взять себя в руки*, как говорится. Никто не смог бы ее упрекнуть в том, что она не испробовала все, все психологические трюки, которым ее обучали. Но планы, которые она придумывала, решения, которые она принимала, — все исчезало, как вода сквозь пальцы, когда она сталкивалась с реальностью. Она была неспособна *разрешить конфликтную ситуацию* — как говорили терапевты, что на практике означало: при малейшем внешнем сопротивлении она теряла мужество. Она и реальность просто не могли сосуществовать. У нее даже не получилось раз в неделю ходить на лекцию в университет, хотя она твердо решила, что будет заниматься, и лечивший ее тогда терапевт, молодой человек с пышными темными кудрями, очень воодушевился этой идеей. Это был бы маленький шаг в направлении к нормальной жизни. Ей даже не нужно было сдавать экзамен и записываться на эти лекции.

Но все получилось как всегда. Она забыла о встрече. Не нашла расписания. Потеряла бумажку, на которой записала время начала лекции. Однажды ей приснился кошмар, и она не смогла заставить себя выйти на улицу.

А теперь она находилась уже на длинной «дороге в никуда». *On the road to nowhere*^[14].

Она тихонько напевала себе под нос: «*We're on the road to nowhere na-na-na-naa...*»^[15]»

Она видела себя на этой прямой дороге, уходящей за горизонт. Она почти бежала по светлому, почти белому асфальту. На ней были ковбойские сапоги, широкие, подпоясанные на бедрах толстым кожаным ремнем джинсы и спортивный рюкзак за плечами. Она шагала широко и легко, на заострившемся лице застыло оптимистическое выражение.

Но это была, без сомнения, не она. Это был образ женщины, которой она могла бы стать, если бы многие вещи не случились. Среди прочего — если бы не ее характер. Неспособна разрешить конфликтную ситуацию. Может ли Бог или еще какая-нибудь высшая инстанция быть в ответе за то, что она просто недостаточно оснащена для того, чтобы жить в этом мире? Разве она не чувствовала себя по сравнению, например, с беженцами из Африки просто до неприличия хорошо, и ведь хотя бы попытаться взять от жизни самое лучшее — разве не ее прямой долг, даже если и предпосылки не слишком удачны?

Она слегка вздрогнула.

Впервые за несколько дней, а может, недель, голоса стали тише. Они дали ей маленькую передышку. Они разрешили ей ощутить обычные человеческие чувства, такие как ужас, охвативший ее, когда она обнаружила запекшуюся кровь на руках и джинсах. Она подняла голову и тихонько застонала. Она ощутила спазм в горле и не могла дышать, она узнала...

Мне холодно.

Перед ней была Карлсплатц, на ней — заснеженный фонтан. Она стояла под аркой перед витриной большого магазина игрушек. Прохожие не обращали на нее внимания. Ее даже никто не толкал, как будто ее и не было вовсе. Но она была, ее руки были в крови, и она знала, что это не ее кровь. Она вернулась. Ее миссия, о которой ей сообщили голоса, снова провалилась.

Медленно и тяжело она пошла к ближайшему «Макдональдсу», где в женском туалете, под негромкую музыку, она вымыла руки. Девушки крутились перед зеркалами, поправляли прически, обновляли яркие помады на губах, и снова никто не обратил на нее внимания. Даже на кровь, растворявшуюся и обесцвечивавшуюся водой, которая стекала бесконечными потоками в слив раковины.

Мобилка Моны зазвонила в тот самый момент, когда она садилась в автомобиль рядом с Фишером.

— Госпожа Зайлер? — неуверенный женский голос, показавшийся Моне знакомым. — Это Карла... Э... Карла Амондсен. Жена... э...

— Я поняла.

Мона закрыла дверь автомобиля, ее движения внезапно показались ей замедленными, как будто она двигалась под водой. Она держала телефон так, как будто это была драгоценность и от неосторожного обращения могла разбиться. Как будто чувствовала, что этот звонок может изменить все, только если она сейчас не сделает ошибки. Фишер смотрел на нее сбоку, его рука была на ключе зажигания. Мона сделала ему знак, что ехать пока не нужно. Связь была очень плохой, и Мона не хотела рисковать — боялась потерять Карлу

Амондсен.

— Мне кажется, я должна вам кое-что рассказать, — пробился голос Карлы Амондсен через свист и шорох в телефоне. Мона прижала телефон к уху, как будто это могло помочь.

— Да? — Она хотела предложить Карле немедленно приехать в Кобург, но не решилась.

— Вы слышите меня?

— Да. Слышу. Что случилось?

— Я...

Свист и шорох.

— Вы не могли бы повторить, госпожа Амондсен?

— Мой муж, — сказала Карла Амондсен. — Кажется, мой муж...

— Да? Ваш муж...

— Роберт... Много лет назад... Сделал кое-что...

— Да?

— Сделал кое-что... что... Я не знаю, я просто предполагаю... что это могло стать причиной его смерти.

— Госпожа Амондсен? Вы слышите меня?

— Да, — теперь ее голос звучал четко и уверенно, но в то же время в нем слышалось отчаяние, как будто его обладательница приняла решение, которое сделало ее очень несчастной.

— Вы дома, госпожа Амондсен?

— Да, — снова те же нотки отчаяния.

— Мы сейчас подъедем. Минут через сорок пять мы будем у вас. Хорошо?

— Да. Конечно.

Милая, любимая Карла! Если ты держишь в руках это письмо, значит, меня нет в живых. Ты получишь его только в случае моей смерти. То есть это письмо — своего рода завещание, хотя мне, как ты знаешь, практически нечего завещать. По крайней мере, ничего материального, кроме таких вещей как дом и прочее, все, что и так принадлежит тебе наполовину, а после моей смерти будет принадлежать полностью. Ты и Анна — вы мои единственные наследницы. Но речь не об этом, не об этом.

Не знаю, с чего и начать. В последнее время у меня появилась идея фикс, я думаю о том, что могу умереть и ты узнаешь от других, каким я был на самом деле. Поэтому это письмо — мой единственный шанс объяснить все хотя бы частично, чтобы ты не думала, что была замужем за монстром.

Или нет, не так: я был монстром, но теперь это уже в прошлом. Я виноват, но я понес наказание — бессонными ночами и постоянным страхом потерять тебя и нашу маленькую милую Анну. Этот страх упасть в никуда... Быть вынужденным жить без твоей любви...

Правда заключается в том, что я не сказал тебе всего, но уже это немного отдалило меня от тебя.

О Боже мой! Мне так стыдно. Твоя любовь так важна для меня, твое хорошее мнение обо мне — и я потерял и то и другое — и вполне заслуженно. Но ты знаешь не все. Ты должна знать все, и должна узнать это не от других, потому что...

Я так хочу быть честным с тобой, насколько возможно. Пишу от руки, не набираю на компьютере, не исправляю ошибок, не начинаю сначала, если мне не нравится формулировка. Это письмо — единственный вариант, и ты должна его прочесть. Не

вычищенный из-за запоздалых сомнений, понимаешь? Я ничего не буду исправлять, обещаю.

Помнишь, ты сказала, что я — самый лучший человек из всех, кого ты когда-либо знала? Ты ошиблась, Карла, это совсем не так. Наверняка есть люди, которые совершили гораздо больше постыдных поступков, чем я. Но дело в другом, теперь я это понимаю. Когда речь идет о морали, количество ничего не значит. Я чувствую, что это так. В этой жизни мне не искупить мой грех. Ничто из того, что я делал, не будет достаточным, ничто. Я пробовал.

Тогда мы были молоды, но это не должно быть нам оправданием, не пойми меня превратно. Это объяснение. И оно ничего не меняет.

Конни, Шаки, Миха, Бредо и я. Все каникулы мы были магической пятеркой. Ты не сможешь этого понять, ты женщина. Женщины не создают таких компаний, таких скрепленных клятвой союзов. Женщины не собираются вместе покорять мир. А мы сделали это, и то, что это закончилось так, как закончилось... разрушило всем нам жизнь. В самом прямом смысле этого слова. Видишь ли, Карла, это риск — быть мужчиной среди мужчин. Вместе можно основать IT-фирму и зарабатывать миллионы или развязать войну и убивать людей...

Ты сейчас наверняка думаешь, что я отвлекаюсь, но нет. Просто дело в том, что, если уже начал, ты должна знать все. Ты можешь осуждать меня, но только прежде должна узнать все и понять. А потом спроси себя, как бы ты поступила на моем месте. И только потом осуждай меня. Не раньше. Это будет твое решение — понять или осудить.

Миха, Шаки, Конни, Бредо и я сошлись совершенно случайно. Мы не дружили, и, тем не менее, сошлись. Исключительно по той простой причине, что никто из нас ничего не планировал на летние каникулы. Шаки и Конни встретились в курительном павильоне, речь зашла о летних каникулах и о том, что ни один ни другой не знали, как их провести. У Конни так случилось из-за родителей, которые передумали разводиться и помирились, и каникулы их сын должен был по этой причине провести у тетки. Шаки нужно было ухаживать за отцом после операции раковой опухоли. А Шаки всегда терпеть не мог, когда люди болеют. Он не мог и представить себе, что придется провести все каникулы в доме чахнувшего человека.

Миха был стажером, и тогда у него еще не было девушки, с которой можно было провести отпуск. У меня была мать — только что разведенная и страшно несчастная. И перспектива в течение шести недель выслушивать ее нытье о моем неверном отце.

В таком возрасте все получается очень быстро. У Михи была машина, «Фольксваген-Пассат», очень старая, зато там помещались все пятеро. На второй день каникул мы побросали в машину рюкзаки и спальники и поехали на юг. Родителям мы сообщили о своих планах, когда проехали границу Франции. Мы позвонили им из телефона-автомата, который нашли неподалеку от испанской границы, всем по очереди. И прежде чем они успевали возмутиться, мы вешали трубку. Да, мы все — кроме Михи и Бредо — были несовершеннолетними, но достать нас они не могли. Первая граница уже была позади. А они даже не знали, куда и на какой машине мы уехали.

И все было бы хорошо, если бы не появилась она. Говорят, плохо не клади, вора в грех не вводи. Многие преступления не были бы совершены, если бы не представилась возможность. Все было бы хорошо, если бы не она. Мы, Конни, Шаки, Миха, Бредо и я, мы бы еще сейчас были друзьями. Поэтому я ненавижу ее. Ее и себя.

— Вы, должно быть, считаете меня монстром, — сказал Михаэль Даннер, и Мона моментально вспомнила о письме Амондсена. «Я был монстром, но теперь нет».

У Моны вообще этот допрос вызывал дежавю: они во второй раз тем же составом в офисе ГКУП Боуда в Мисбахе. Но на этот раз Марктплатц перед полицейским участком был полностью покрыт снегом и с холодного синего неба ярко светило солнце. Даннер снова курил «Кэмел», Боуд недовольно отгонял дым от своего носа, а Даннер, кажется, этого даже не замечал.

Но сегодня он хотя бы не вел себя нагло. Казалось, он скорее нервничал. Рука, в которой он держал сигарету, слегка дрожала. Мона заметила, что за последнее время он похудел. Его лицо стало как-то уже, шея — тоньше. И вообще, он сильно постарел.

Мона, заканчивая запись, наговорила, согласно предписанию, дату, имя допрашиваемого, причину допроса. Боуд снова вел себя как сторонний наблюдатель. Так что снова все должна была делать она. В первый раз Мона пожалела, что рядом не было Фишера. Но у того болел желудок, и он отлеживался — ему выписали больничный на ближайшие три дня.

— Вы знаете, что вас привлекут к ответственности по трем уголовным делам? — сказала Мона.

Этот ход она тщательно продумала. Необходимо было с самого начала поставить ему мат. У него не должно быть ни единого шанса снова начать свою игру.

Ждет, что он скажет. Тихонько шуршит магнитофон.

Наконец Даннер устало и хрипло сказал то, что она хотела услышать.

— Нет, я не знал. Какие дела вы имеете в виду?

В глазах нет блеска, на нем — вылинявшие джинсы и норвежский свитер, с виду немодный и потертый. Даннер бледен, кажется, что он не спал несколько ночей подряд. Теперь он не приводит в бешенство, теперь его становится жаль. Его влияние на людей не исчезло, оно просто трансформировалось. И вероятно, не стало безопаснее.

Он опасен? Почему она об этом подумала? Даннер — всего лишь мужчина, у которого масса проблем. Мужчина, который избивал свою жену. Мужчина, каких много. Он реагирует на раздражители, применяя грубую силу но, вероятно, в юридическом смысле не является преступником, не является убийцей. Мона заморгала и легонько помотала головой, не замечая этого. Как будто хотела избавиться от непрошенных мыслей.

— Прокуратура завела дело о даче ложных показаний, поскольку вы умышленно исказили факты при расследовании убийства вашей жены. Еще одно дело — это нарушение обязанностей по надзору за вашими учениками. И третье — вы умолчали о том, какие отношения связывают вас, Константина Штайера, Кристиана Шаки и Роберта Амондсена. Самое позднее, вы должны были обратить внимание на эту связь после убийства Амондсена. И, по крайней мере, Кристиан Шаки был бы жив, если бы вы вовремя сообразили.

Попала. Даннер побледнел еще больше. Мона безжалостно продолжала:

— Кстати, мы и без вашей бесценной помощи узнали, кто такой Бредо, о котором упоминал Роберт Амондсен в прощальном письме своей жене.

— Симон фон Бредов, — сказал Даннер.

— Да. Он был самым старшим после вас. Должен был как раз заканчивать учебу.

— Где он? Как у него дела?

— Вы его даже не предупредили, да? Даже этого не сделали.

— Я не знал, где он живет. Я пытался найти его адрес, поверьте мне. Ничего. Я имею в виду, я его просто не нашел.

Вероятно, это правда. Через ЗАГСы они выяснили, что Симон фон Бредов взял себе фамилию жены, некой Сары Леманн. Поэтому Даннер его и не нашел.

— Вы должны были нам сказать. Если запахнет жареным, мы можем привлечь вас как соучастника.

— Ах, да перестаньте вы! — сказал Даннер, и теперь его голос прозвучал еще более нервно.

Он посмотрел на нее — под глазами круги от усталости — и Мона почувствовала, что нужно быть осторожной, чтобы не потерять его снова. Он вот-вот опять займет позицию «делайте со мной, что хотите», и тогда ничего от него не добьешься.

Первое правило, которому она научилась: против мужчины, которому все параллельно, даже при самом удачном раскладе мало что можно предпринять.

— Если вы нам сейчас поможете, это спасет Симона фон Бредова.

— Да Боже ж мой, я и хочу вам помочь! А вы начали мне мораль читать. Вы уже минут пять пытаетесь раздавить меня морально, вместо того чтобы наконец начать спрашивать. Начинайте же, госпожа Зайлер, начинайте! Я весь внимание.

Мона вздрогнула, но быстро взяла себя в руки. Боуд, как обычно, ничего не сказал. Он, расслабившись, откинулся на своем кресле, смотрит в потолок и, наверное, вообще не слушает.

— Ну хорошо, — наконец сказала Мона. — Первый вопрос: кто такая Фелицитас Гербер?

Возможно, она ошиблась, но у нее сложилось впечатление, что это имя повергло его в шок. Может быть, это оттого, что он услышал его впервые за много лет. Но он послушно ответил:

— Я не знаю, что она сейчас делает. Тогда она училась в Иссинге. В том же классе, что и Константин Штайер, если не ошибаюсь.

— Тогда-а, — произнесла Мона, раскатывая это слово на языке. — Тогда вы были стажером в Иссинге, не так ли?

— Так.

— Вы были на пять лет старше самого старшего из ваших учеников.

— Если вы так говорите, значит, так оно и есть.

— *Тогда* у вас не было девушки, и вы не знали, как провести шесть недель отпуска, не так ли?

— Так.

— Как же вышло, что вы поехали в отпуск со своими учениками? Это вообще можно делать?

— Я не знаю. *Тогда* мне было все равно. Я немного сдружился с Симоном. Он спросил меня, нет ли у меня желания поехать с ними. С моей стороны решение было совершенно спонтанным. Просто мне захотелось. Так вышло. Я имею в виду... шесть недель — это чертовски много для молодого человека, который не знает, куда приткнуться.

— У вас не было друзей вашего возраста?

— Я только что расстался с девушкой, с которой встречался четыре года. У нас были

общие друзья, а когда мы расстались, внезапно оказалось, что это только ее друзья, не мои. Она жила в городе, я — здесь. У нее было преимущество в месторасположении. Вы же знаете, как это бывает. Внезапно оказываешься на улице. А попробуйте-ка, найдите здесь, в этом захолустье, кого-нибудь подходящего возраста, кто уже не помолвлен с одним из этих деревенских...

— Хорошо, — решительно прервала его Мона. — Речь сейчас, в общем-то, не об этом. Итак, вы поехали с Константином Штайером, Кристианом Шаки, Робертом Амондсеном и Симоном фон Бредовым в Португалию. На своей машине. Когда это было точно?

— На второй день после начала летних каникул, в 1979 году. Какой это был день недели, я не помню. Перед этим все ночевали у меня. Ребята сложили свои вещи у меня, потому что необходимо было полностью освободить комнаты к началу летних каникул. Поэтому мы смогли уехать только на второй день.

— Знал ли кто-нибудь из ваших коллег об этом мероприятии?

— Нет, насколько я знаю, никто. Конечно, я очень старался, чтобы никто не узнал.

— А как насчет родителей?

— Без понятия, это вам нужно спросить... у Симона. Понимаете, я не знал, что родители не в курсе, иначе я бы этого не сделал!

— Разве не было жалоб от родителей?

— Как же, были! После каникул что-то такое происходило. Я уже не знаю, кто жаловался. Но это дело спустили на тормозах, потому что надзор в школе заканчивается с первым днем каникул.

— И никто не узнал о том, что вы тоже там были?

— Нет, — сказал Даннер.

И в этот момент в окно заглянуло солнце и луч, отразившись от здания напротив, упал на лицо Даннера. Тот, ослепленный, закрыл глаза. Боуд встал и наполовину зашторил окно. Ну хотя бы следит за происходящим, даже если не вмешивается.

— Ваши ученики стояли за вас стеной, — заметила Мона. Настолько очевидная параллель с последними событиями, что она в первый момент сама удивилась. События повторялись самым непостижимым образом. Что это — случай, судьба, или все дело в характере Даннера?

— Итак, вы поехали в Португалию.

— Да.

— Вы спали на пляже возле городка... как там он называется?

— Карвоэйро, — ответил Даннер, и Мона с удивлением заметила, что его лицо внезапно прояснилось.

— Там было что-то особенное, в этом?..

— Карвоэйро, — повторил Даннер, и это прозвучало почти что нежно.

Он выпрямился на стуле, даже осанка у него изменилась. Он выпрямился и откинул с лица волосы. В глазах больше не было усталости.

— Да. Что там было? Что вы пережили?

Возникла небольшая пауза. Даннер в буквальном смысле светился. Даже Боуд в своем уголке за письменным столом зашевелился, как будто заметил что-то необычное.

— Я абсолютно не знаю, как вам это объяснить, — сказал Даннер.

— Ну попробуйте хотя бы.

— С тех пор я туда больше не ездил. Мне только говорили, что сейчас Карвоэйро — это

скопление отелей. Побережье полностью застроено. Дешевое место для туристов. Отвратительно, никакой атмосферы. Но тогда это был рай.

— Понятно.

Внезапно Даннер наклонился вперед и коснулся руки Моны настолько интимным жестом, как будто они были здесь одни. Как будто не было Боуда и Даннера не допрашивали, а просто он рассказывал свою историю сочувствующей женщине, которая хочет побольше узнать о понравившемся ей мужчине.

И прежде чем Мона успела отреагировать, Даннер снова отклонился назад, и, по крайней мере, физическая дистанция между ними восстановилась. Но взгляд он не отвел.

— Можно задать вам вопрос?

— Только если он относится к делу.

— Да, относится. Вы когда-нибудь отдыхали с людьми своего возраста? Я имею в виду, когда были молоды?

Однозначно, это к делу не относилось.

— Извините, но здесь речь идет не обо мне, а о вас.

Как будто не слыша ее, Даннер продолжил, а на его лице было все то же непонятное отстраненное выражение, и из-за этого создавалась иллюзия, что здесь не было никого, кроме них двоих.

— Представьте себе побережье Атлантического океана, обрыв, берег из светло-коричневого песчаника. Пляж, на котором мелкий и такой белый песок, что прямо слепит глаза. Море, темно-синее и всегда приятно прохладное, даже если стоит страшная жара. Пещера в камнях, образовавшаяся целую вечность тому, когда море еще покрывало практически всю землю.

— Могу себе представить.

— Я тогда увидел такое впервые. Даже не знал, что на свете есть такие места. Такие магические места, как это. Где полно молодых людей, таких, как мы.

— Дети из Торремолино^[16], — внезапно сказала Мона, сама не зная, зачем она это сделала.

Просто вырвалось у нее. Строго говоря, это не имело никакого отношения к делу. Роман «Дети из Торремолиноса» — это книга о романтической компании хиппи, которую она читала еще в молодости. И вдруг она вернулась, та магическая атмосфера, возникшая при чтении книги, но которой никогда не было в ее жизни.

Даннер снова посмотрел на нее и улыбнулся.

— Да! Примерно так это и было! Именно это я и хотел сказать! Вы теперь понимаете, что я имею в виду?

Мона вздрогнула. Здесь был Боуд, разговор записывался, да и вообще шел допрос. Но Даннер говорил дальше, как будто не мог остановиться. Долгие годы он молчал о Карвозейро, потому что прямо рядом с раем, очевидно, находился ад. Но его прорвало, наконец-то выплеснулись все те впечатления, которые он так долго хранил в себе. Точно так же, как Штайер, Амондсен и Шаки, которые заплатили за свое молчание жизнью.

Они ехали целый день. Бредо и Миха по очереди вели машину. К счастью, незадолго до поездки Бредо получил права. Ночью они мерзли — то в леске под Мульхауз, то на ледяном испанском высокогорье под Саламанкой. В Гренаде они утром проснулись от мычания нескольких перепуганных коров, собравшихся вокруг машины. Наконец они добрались до

Португалии. На границе они нашли отель, в котором милая администраторша пожертвовала двухместным номером, разрешив им ночевать там впятером. Они некоторое время обсуждали, не пригласить ли администраторшу, которая была молодой девушкой, лет двадцати пяти, на бокал вина — у них с собой было два литра красного вина. У них ничего не получилось, потому что никто не решился заговорить с ней об этом.

А потом была Португалия. Крестьяне, продававшие на обочине помидоры и персики. Деревни с домами бежевого и белого цвета, блестящие и пустые во время полуденной жары. Огромные грузовики, перевозившие груды пробкового дерева. Убийственное движение на двухполосной скоростной трассе, ведущей на запад. На одном из крутых поворотов чуть было не произошел несчастный случай, потому что Бредо слишком поздно снизил скорость. Переключившись на вторую передачу, он, новичок, вернул машину на полосу как раз вовремя — огромный грузовик ехал по встречной полосе. Они смеялись до полусмерти, понимая, что этот сумасшедший маневр их всех едва не убил.

Когда на четвертый день они приехали в Альгарву, было уже темно. Они переночевали в машине, прямо над обрывом. Над ними раскинулось звездное небо, какого они никогда еще не видели. Луна отражалась в море, которое шумело где-то глубоко под ними и простиралось до самого горизонта.

На стоянке они были не одни. На твердой глинистой земле сидели группки португальцев, испанцев, французов и даже несколько немцев, пускали по кругу бутылки с вином и косяки. Они присоединились к ним.

Что такое настоящая дружба?

Амондсен написал это за несколько дней до того, как его убили.

Я уже не знаю. С тех пор у меня не было друзей. Ни одного человека, с которым я ощущал бы такое единение, как с этими ребятами. Может быть, дружба — это когда в самом прямом смысле делишь все с другим: еду, место для сна и, да, девушек тоже. Я могу выразить это только так: между нами не было никаких препоп. Мы были неразлучны, как один человек в пяти различных ипостасях. Мы могли читать мысли друг друга. За эти шесть недель мы узнали друг о друге все. Что Бредо тошнит от любой водки и какие звуки он при этом издает. Что Шаки не может заснуть, не выпив. Что Конни, покурив, становится сентиментальным и начинает плакать.

Я предполагаю, Карла, что тебе такая информация покажется глупой. Опять же, дело в том, что ты женщина. Если бы мы были женщинами, мы вели бы долгие разговоры о личной жизни, о наших страхах, наших родителях, наших любовных приключениях. Но мальчики — другие. Если они начинают серьезный разговор, то не о том, что есть, чего нельзя изменить, а о своих планах и мечтах. Мы строили самые замечательные, самые дерзкие воздушные замки и рушили их. Миха цитировал Франсуа Вийона, а Шаки рассказывал жутко пошлые шутки. Я мог бы продолжать и продолжать, Карла, потому что эти воспоминания я так долго хранил в себе, что уже начал отравлять этим себя и свое окружение.

Наши тела были сильными и загорелыми, наши руки — мускулистыми, а животы — плоскими и крепкими. Все волосы были на месте. Мы могли есть, пить, курить что и сколько хотели. Даже если потом нам было очень плохо, на следующее утро мы обо всем забывали. Наши тела тогда все нам прощали и, конечно же, мы ни секунды не думали о том, что это когда-то может измениться.

Ты никогда не задумывалась над тем, почему многие мужчины, становясь сентиментальными, прежде всего вспоминают о том времени, когда они были молодыми? Ну, причина в этом. Мужчины не могут примириться с мыслью, что жизнь конечна, сила уходит, их мужество ставится под вопрос — только потому, что проходит время. Единственное, на что мужчины не могут повлиять, — это на время и на те изменения, которые оно с собой приносит.

Карла, ты должна меня простить — за то, что я постоянно отвлекаюсь, но все взаимосвязано. Единственная просьба: ты должна узнать все, прежде чем судить меня, судить нас. Ты не знаешь ничего о том, что пугает и мучает мужчин. Мужчины редко осознают свои страхи, но если они чего-то и боятся, так это осуждения других мужчин. В этом трудно признаться, но это правда: высокая оценка их жен и девушек не может даже частично утолить эту жажду. Ты, Карла, была для меня всем. Но твоей любви не хватило. Только мужчина смог бы полностью простить мне то, что случилось тогда. Но такого никогда не было, потому что я никогда не доверялся мужчине. Мужчинам нельзя довериться, разве что если они психологи, но это не считается. Психологи — не настоящие мужчины, по крайней мере, когда работают. Они — замаскированные женщины, они...

Забудь, Карла. Я обещал тебе не исправлять ничего в этом письме, не вычеркивать ничего, но просто забудь предыдущие абзацы, они сейчас не важны. Или важны, но с твоей точки зрения — неверны.

Или...

Какая разница.

Все исчезло, когда появилась Фелицитас. Она просто пришла. Однажды оказалась на пороге нашей пещеры со своим огромным рюкзаком на спине и спальником под мышкой. Мы не смогли ее прогнать. Ночь перед этим была долгой. Много алкоголя, несколько косяков, а Конни страдал расстройством желудка. Так что мы были заспанные и не очень приветливые, но после первого шока Фелицитас перестала обращать внимание на наше недружелюбие. Возможно, она привыкла к тому, что ей не рады, и старалась не замечать этого. Есть люди, которых никто не любит, и которые в целях самозащиты этот факт просто игнорируют. Такой, как мне кажется, и была Фелицитас Гербер. Но это нас не оправдывает. Я это знаю.

— Фелицитас Гербер, что она была за человек? — спросила Мона.

— Я никогда у нее не вел, — ответил Даннер, как будто это было ответом. — Я ее едва знал.

— В Португалии вы познакомились с ней ближе.

— Не очень. Никто ее толком не знал. Она всегда была довольно общительной, но никогда о себе не рассказывала.

— И поэтому вы изнасиловали ее? Чтобы наконец чего-то добиться от нее?

Но Даннер не дал себя спровоцировать. На этот раз не дал.

— Это не было изнасилование.

— Но в письме Амондсена сказано именно так.

— Я вам не верю. Это было не так.

Мона процитировала: «Это было изнасилование, тут уж ничего не поделаешь. Хотя она этого хотела, хотела, чтобы это произошло...»

— Можно так сказать.

- Что именно?
- Что она этого хотела. Она хотела секса.
- Может быть, она и хотела секса, но не с пятью мужчинами одновременно.

— То есть вы думаете, что это могла быть женщина, — сказал Бергхаммер, обращаясь к Моне, сидевшей напротив него.

Мысль, что женщина могла совершить все эти убийства, была настолько ужасна, что голос Бергхаммера прозвучал почти без эмоций. Они собрались на так называемое совещание за круглым столом в офисе Бергхаммера, на котором присутствовали только главы специальных комиссий: Керн из оперативного аналитического отдела, Кригер, глава всех комиссий по расследованию убийств, Штрассер из Кобурга, Бергхаммер и сама Мона.

Мужчины молчат, но их мысли можно угадать. Серийные убийцы-женщины встречаются крайне редко. Никто из присутствующих никогда не имел с ними дела. Конечно, о них слышали. Например, медсестра из Гессишен, которой нравилось впрыскивать тяжелобольным пациентам в вены воздух, «чтобы освободить их». Потом — «черная вдова» из Вены, которая свела в могилу пятерых мужей с помощью ядовитого коктейля, пока прокуратура после донесения не начала расследование.

Но этот случай с теми не мог сравниться.

— Женщины убивают иначе, — спокойно сказал Керн. Несмотря на молодость, он, как всегда, серьезен. — Они не используют орудия убийства. И тем более — удавку из проволоки.

— Вовсе нет, — возразила Мона, но смогла вспомнить только о попытках самообороны отчаявшихся жен, которые лупили своих мужей-драчунов хозяйственными предметами, чтобы прекратить свои мучения. Убийство в состоянии аффекта тем, что попадет под руку: как правило, именно так совершают преступления женщины. Серийные убийства, да еще и носящие ритуальный характер, — это другое.

— Двадцать лет спустя после изнасилования, которого, возможно, и не было вовсе, — сказал Бергхаммер. — Это же абсурд. Это не мотив. Почему именно сейчас, почему не двадцать лет назад? И прежде всего, зачем она убила жену учителя? Она же вообще не имела никакого отношения к этому делу!

— И тем не менее Фелицитас Гербер необходимо объявить в розыск, — заявила Мона. — У нас, в общем-то, нет никого, кроме нее.

— Значится ли ее фамилия в телефонной книге? В адресной? В бюро регистрации?

Мона ответила:

— В Германии зарегистрированы четыре Фелицитас Гербер; трое из них либо слишком стары, либо слишком юны. Одна подошла бы. Живет здесь, в городе, на Шванталерштрассе, в «социальной»^[17] квартире. Страдает шизофренией. Регулярно лежит в психиатрической больнице.

— С ней связались?

— Нет. У нее нет телефона, и она никогда не открывает дверь, сколько ни звони.

— Знают ли в школе о ней что-нибудь?

— Фелицитас Гербер выгнали из школы в декабре 1979 года. Поймали на продаже гашиша ученикам младших классов. Она была тогда в десятом классе. Один раз оставалась на второй год. — Мона сверилась со своими записями. — Поступила в Иссинг осенью 1977 года. С самого начала не могла прижиться. Позднее друзей у нее тоже практически не было. Считалась трудной ученицей. То держалась чересчур отстраненно, то слишком шумела,

надоедала всем. Ее вскоре заподозрили в том, что она принимает наркотики. Гашиш, ЛСД и другие, какие тогда принимали.

— Что с ее родителями?

— Мать живет в Штарнберге и уже около восьми лет не общается с дочерью. По крайней мере, она это утверждает. Отец умер.

Возникла пауза.

— Какую информацию мы дадим в СМИ? — спросил наконец Кригер.

— Что мы разыскиваем Фелицитас Гербер, — быстро сказал Бергхаммер. — Как свидетельницу.

— Не знаю, подойдет ли это. Я имею в виду, правильно ли, что все будут знать, что мы ее разыскиваем.

Бергхаммер посмотрел на Мону.

— Об этом мы еще поговорим. Есть ли фото этой женщины?

— Да. Мать дала нам несколько. Потом, есть еще из ее удостоверения личности — дубликат, который находится в бюро регистрации. Но даже эта фотография — восьмилетней давности. Если сравнить эти фотографии с теми, что есть в журналах Иссинга, можно было бы угадать, как она выглядит сейчас.

— Угадать? — спросил Бергхаммер. — Так это она или не она?

Мона достала два журнала и положила их на стол. Из них торчали две желтые наклейки. Казалось, Бергхаммер не мог дождаться, пока ему пододвинут журналы. Он поднялся, обошел стол и встал за спиной у Моны, которая раскрыла книги в отмеченных местах и положила рядом более поздние фотографии. Кригер, Штрассер и Керн поднялись со своих мест и тоже встали за спиной у Моны.

Да, это могла быть она, а могла быть и не она. Черно-белые фотографии размером с почтовую марку, к тому же нечеткие. На них можно различить девушку с пухленьким лицом и короткими вьющимися волосами. Фотография в удостоверении личности была похожа на фото из полицейских сводок, из раздела «разыскивается». То, что дала мать, — моментальные снимки, но, по крайней мере, цветные. Женщина, изображенная на них, носила широкие футболки или свитера с джинсами, у нее растрепанные темные локоны, карие глаза и еще — большой невыразительный рот. Ни на одной фотографии она не улыбается, кажется, ей ничего не интересно, часто выглядит нервной, и вообще она малопривлекательна.

Никто ничего не сказал. Наконец, Бергхаммер выпрямился и вернулся на свое место. Все тоже сели, как будто по приказу.

— Но это все же хоть что-то, — сказал Бергхаммер, как раз вовремя, чтобы молчание не стало гнетущим. — А что с тем мужчиной, который еще жив, Симоном Леманном? Его охраняют?

— Еще нет, — сказала Мона. — Пока он отказывается. Я встречаюсь с ним через час.

— Что значит «встречаюсь»? Почему он не может прийти в отделение?

— Он — консультант по вопросам хозяйственной деятельности предприятия. Страшно занятой человек. Очень просил, чтобы мы встретились в капучино-баре в Арабеллапарке, потому что его фирма находится в том районе. Уверяет, что ничего не знает. Привести его в отделение?

— *Капучино-бар*, — иронично произнес Бергхаммер. — Нет, пусть будет так — в виде исключения. Но охранять его надо обязательно, это не обсуждается. Мы же не хотим, чтобы

и этот погиб. Кстати, а как дела у Фишера?

— Уже лучше, — сказала Мона. — Сказал, что завтра будет здоров.

— Хорошо его эта история зацепила. Могу понять.

Симон Леманн, 39 лет, консультант по вопросам хозяйственной деятельности предприятия. Женат, имеет дочь.

Мона разглядывала его, а он нервно помешивал «эспрессо». Она пыталась представить его себе восемнадцатилетним. Возможно, у него была длинная буйная шевелюра. Теперь у него очень короткие и очень густые волосы.

Не получилось. Очевидно, дело было в том, что в кафе шумно, шипела машина для приготовления капучино, желтоватый искусственный свет практически ничего не освещал. Морщин у Леманна почти не было, он строен, похоже, в форме. Ничего в нем не напоминало подростка. Не хватало живости, незаконченности. Вместо этого — четкие черты лица, узкие губы, умный взгляд, кожа с крупными порами, слегка красноватая. Возможно, у него проблемы с алкоголем.

— Чего вы на меня так уставились?

— Правда уставилась?

— Да, все время глаз не спускаете. Как насчет того, чтобы начать задавать вопросы? Через двадцать минут мне нужно вернуться в офис.

— Хорошо, — сказала Мона. — Начнем.

Честно говоря, она не знала, с чего начать. Леманн — не свидетель в прямом смысле слова. Он был знаком со всеми жертвами, кроме Саскии Даннер, но уже двадцать лет не общался с ними. Свою потенциальную убийцу, по его словам, не видел лет двадцать или больше, с тех пор как Фелицитас Гербер вылетела из школы из-за регулярного приема наркотиков.

По телефону он признался, что спал с Фелицитас, так же как и Штайер, Даннер Амондсен и Шаки. Что это было изнасилование, он отрицал столь же категорично, как и Михаэль Даннер на последнем допросе. И вообще разговор с ним мало что дал. Нет, ничего необычного он не замечал. Никаких странных звонков, никаких анонимных писем. Не чувствовал ли он, что его в последнее время преследуют?

— *Абсолютно нет. Ничего похожего. Я даже не знал.*

— *О чем не знали?*

— *Об этих... Что они мертвы.*

— *Вы не читаете газет?*

— *Честно говоря, в последнее время было не до того.*

— *Что вы знаете? Вы же должны хоть что-то знать!*

— *Ничего, клянусь. Эта история с Фелицитас, это все было так давно, что кажется неправдой.*

Крепкий орешек. Без адвоката он не сообщит больше ничего, что касалось бы изнасилования.

— Расскажите о том времени, когда вы учились в Иссинге, — наконец, сказала Мона. — 1979 год. Последний год перед окончанием школы.

— Что? Ну, вы даете! Я даже не знаю, с чего начать!

— С атмосферы, которая была тогда в школе. Как вы себя чувствовали. В общем. Начните с этого.

Симон Леманн провел ладонью по своим коротким волосам. Потом покачал головой и впервые посмотрел на Мону. Глаза у него были серо-зелеными, брови красивой формы, почти как у женщины.

— Извините, но что это даст? Я имею в виду, что жертвую своим четко установленным обеденным перерывом, а вы хотите поговорить со мной о старых временах? Вы наверняка не всерьез это сказали.

Странно, но эта идея ему, кажется, все-таки понравилась. Он сел прямо, его жесты и мимика внезапно оживились. И тут она его все-таки увидела — молодого человека семнадцати-восемнадцати лет, с узким лицом, мягкими, меланхолическими чертами.

— Сколько вам лет? — внезапно спросил Леманн, оборвав ее мысли.

— Тридцать девять. А что?

Он улыбнулся.

— Тогда вы знаете, как тогда было. В конце семидесятых.

— Как было что? — Она наклонилась вперед.

Если бы он знал, как сильно отличалась ее юность от его, им бы очень быстро стало не о чем говорить. Тут чертовски шумно. Вообще это не то место, где можно предаваться воспоминаниям.

Он сделал неопределенный жест рукой.

— Да все. Сознание, что шестидесятые безвозвратно прошли, а мы — всего лишь эпигоны чувства жизни. В Иссинге — более чем где-либо.

— Что вы имеете в виду? Что было такого особенного в Иссинге?

— Интернат — как остров, понимаете. В некотором роде он был регрессивным. В то время как весь мир сходил с ума по панку, новой волне, Дэвиду Боуи и диско-саунду, мы были верны старому доброму Джетро Талу и Кингу Кримпсону.

— Джетро?..

— Музыкальные группы, — нетерпеливо пояснил он. — Именно это я и имел в виду. В то же самое время, как вы, вероятно, красили волосы в зеленый цвет и сходили с ума по Сид Вишесу, мы жили во временной капсуле, в которой каким-то образом законсервировались идеалы шестьдесят восьмого года. Была дурь и ЛСД, но не было героина и коки. В теплые летние ночи мы выбирались на улицу через окна и встречались на пруду, чтобы покурить и выпить. Мы мучили гитары, читали стихи Пауля Целана, играли в футбол и хоккей, совокуплялись, любили, ненавидели, заново изобретали социализм. Это было чудесно. Сегодня это знают...

— Почему?

— Что — почему?

— Я имею в виду, насколько? Насколько чудесным было это время?

Леманн улыбнулся.

— Ах, да во всех отношениях. Когда ты в определенном возрасте, между шестнадцатью и девятнадцатью, ты — на пике сексуальности, творчества. Ты можешь создать целый мир и разрушить его, и это дает тебе чувство, что ты можешь все, за что ни возьмешься. Это даже не нужно доказывать — пока. Потом уже...

— Ловят на слове?

— Да. В реальном мире, после Иссинга, твои самые замечательные мысли, твои удивительные планы не стоят вообще ничего. Чего-то стоит только то, что ты делаешь. И постепенно, незаметно, все твои замечательные идеи растворяются в воздухе, потому что их

нельзя воплотить в жизнь. По крайней мере, тебе так кажется. Вдруг ты начинаешь видеть только препятствия и кажешься себе наивным идиотом. Нормативная сила фактов.

Он коротко засмеялся, его лицо снова напряглось и стало пустым. Возникла небольшая пауза. Ему казалось, что он рассказал все, и в то же время этого было явно недостаточно. Ведь они собирались говорить не о высоких мечтах, которые разбиваются о реальность.

— Вы очень хорошо умеете рассказывать, — медленно произнесла Мона.

— Вообще-то я еще никому этого не рассказывал. Так четко... этакий концентрат, самое главное.

— Сколько лет вы пробыли в Иссинге?

— Четыре года. До экзамена на аттестат зрелости.

— Вы всегда были там счастливы? Так, как вы описали?

Леманн откинулся на спинку стула и скрестил руки на груди.

— Вообще-то мне давно пора уходить.

— Пожалуйста, только один вопрос. Фелицитас была несчастна. Настолько несчастна, как это возможно только в Иссинге. Я не в состоянии почувствовать это, я никогда не училась в интернате. Чтобы найти ее, остановить, мне нужно знать, каково ей было тогда.

— ...Иногда там было ужасно.

— Простите?

— Ужасно. Иногда просто ужасно.

— Что ужасно?

Леманн смотрел мимо нее, казалось, что мысли его не здесь.

— Что ужасно?

Он снова вернулся в реальность, за этот столик, но голос его внезапно изменился. Стал глухим, тихим и спокойным.

— Видите ли, если в таком месте, как Иссинг, не иметь друзей, то становишься одинок, как... как в вакууме. Одиночество полное. Дется-то некуда. Деревенские не интересуются заносчивыми детками богачей. Оказываешься лишенным всяких контактов с людьми. И готов на все, чтобы заинтересовать хотя бы одного-единственного человека.

— Ну, многие молодые люди одиноки. Я не думаю, что это характерно только для Иссинга.

Леманн покачал головой.

— Вы просто не понимаете. Многие молодые люди одиноки, но не так. Не так, что это понимают все, — вот что я имею в виду. В Иссинге каждый знал, на какой отметке шкалы популярности он находится. Мы все были на виду друг у друга, и не существовало тайн, которые можно было бы сохранить. Если у тебя никого не было, этого было не скрыть, даже от самого себя. В этом возрасте нет ничего хуже, ничего позорнее, чем не иметь друзей. Это как заколдованный круг. Кто в него попадал, того избегали, просто чтобы ничего не изменилось.

Леманн замолчал. На лбу у него появились маленькие капельки пота, и вдруг он перестал понимать, что делать со своими руками. «Эспрессо» он давно выпил, поэтому начал выцарапывать чайной ложкой сахар из чашки.

Мона тоже молчала. Нервничала. Одно неосторожное слово — и доверительная атмосфера интима невосстановимо нарушится. Леманн поднимется и уйдет, а остальное придется обсуждать с его адвокатом. Хотя, может быть, это и есть единственный разумный подход. Возможно, этот человек действительно ничего не знает. А что действительно

необходимо — так это немедленно принять меры по его защите.

Он говорил о себе, это очевидно. Но что это дает? При чем здесь Фелицитас? Она тоже чувствовала себя одинокой, это точно. Но, возможно, совершенно иначе, чем Леманн, который, как и остальные, едва знал Фелицитас. Фелицитас оказалась не в то время не в том месте и каким-то образом привела в движение силы, которые никто уже не мог остановить. В любом случае, Моне нужно больше узнать о том, какой была эта девушка, чем это можно выудить из переживаний Леманна.

— И она чувствовала себя точно так же. — Это было сказано настолько тихо, что в общем шуме кафе она чуть было не пропустила эту фразу.

— Как? Кто? Вы имеете в виду Фелицитас? Как она чувствовала себя?

Леманн резко снял пиджак и небрежно бросил его на пустой стул рядом с собой. Темные пятна под мышками на синей рубашке свидетельствовали о том, что ему действительно было жарко.

— Ладно. Я вам все расскажу.

Мона кивнула. Ей стало жарко, а потом холодно.

— Пожалуйста, — сказала она. — Пожалуйста, расскажите мне, что знаете. Иначе я не смогу вас защитить.

Когда Симон фон Бредов первый раз приехал в Иссинг, он чувствовал себя, как и большинство учеников: ему было страшно. Он сидел на заднем сиденье отцовского «мерседеса», положив обе руки на спинку переднего сиденья, и не отрываясь смотрел на разделительную полосу трассы А8, по которой они ехали. Обычно Симон любил, когда отец давил на газ, но сегодня ему это не нравилось. Сегодня ему отчаянно хотелось, чтобы они застряли в пробке длиной, по крайней мере, километров на сто. Или, еще лучше, чтобы произошло какое-нибудь трагическое событие, чтобы все повернулось вспять.

«Что я отдал бы за это?» — подумалось ему. Согласился ли бы он получить травму ноги, если бы наградой за это стало не поступать в Иссинг?

«Да, — решил он, — если бы рана со временем зажила». Кишечный грипп в тяжелой форме тоже подошел бы. Больше всего ему нравились варианты: больное горло, кашель, температура. Это состояние переносить легче всего, потому что в таких случаях мама очень хорошо к нему относилась. В былые времена он иногда помогал простуде. Например, купался в бассейне и потом часами не снимал мокрых плавок, хотя на улице было не жарко — самое большее, плюс пятнадцать. Последние четыре ночи он спал голым, не укрываясь, у открытого окна. Это был старый проверенный способ заболеть.

Но на этот раз не сработало. Даже ни капельки не царапало горло. Никакого жара, температура не повысилась даже слегка. Он был здоров, как вол. Только испытывал невыносимое отвращение.

Сентябрьское солнце отбрасывало длинные тени, когда они ближе к вечеру въехали на территорию школы и там увидели, что другие люди тоже водят серебристо-серые «мерседесы», и немало таких, у кого более новая или большая модель, чем у Бредовых. Симон невольно улыбнулся, когда увидел лицо отца в зеркале: лоб нахмурен, сердитая морщина между бровями еще более выражена, чем обычно.

Но из машины пришлось выходить. Симону никогда не забыть шорох гальки под ногами, растерянность матери, которая пыталась удержать равновесие в своих туфлях на шпильках.

Симон посмотрел на главное здание, которое в лучах заходящего солнца выглядело очень красиво. Он заметил нескольких ребят своего возраста, которые стояли прислонившись сбоку к серым бетонным ступеням главного корпуса. Он задумался, не подойти ли к ним и представиться. Но не подошел, не желая казаться назойливым.

К его огромному разочарованию, оказалось, что его комнату, которую показала секретарь, он вынужден делить еще с двумя ребятами. Три не застеленных кровати на и без того небольшом пространстве. У кровати под окном, которая понравилась ему больше всего, уже стояли чемоданы и рюкзаки. Об этом ему никто не говорил. Симон был единственным ребенком в семье и привык к тому, что у него была собственная комната.

Но он распрямил плечи и попрощался с родителями очень холодно и спокойно — в общем, не проявляя своих чувств. Его мать, напротив, плакала без остановки. Только сейчас она поняла, что не увидит его добрых три месяца, потому что короткие осенние каникулы Симону придется провести не в новой квартире родителей в Нью-Йорке, а у тетки в Штутгарте. Заплаканная мать обняла его, Симон не ответил на это объятие, отец неловко потрепал его по плечу. Симон с удовлетворением отметил, что отец тоже судорожно

сглотнул. Так что, по крайней мере, не только ему одному было плохо.

Следующие дни принесли мало утешительного. Симон, который провел всю свою жизнь в Штутгарт-Дегерлох, просто не знал, как себя вести, чтобы показаться хорошим совершенно новым людям, в совершенно новых условиях. Впервые он узнал, что для своего возраста — пятнадцать лет — он выглядел довольно щуплым. В его классе были ребята, которые казались ему в два раза шире и в три раза сильнее его.

Но дело было не только в этом. Казалось, все точно знали, чего хотят. Все вели себя дерзко и самоуверенно, даже в присутствии учителей. Видимо, никто никого не боялся. Другие новички, похоже, давно влились в компанию, в то время как Симон делал первые неловкие попытки присоединиться к кому-нибудь — хоть к кому-нибудь!

Самым ужасным было время приема пищи. Здесь никто не говорил: «Подай мне, пожалуйста, картошку» или «Можно мне еще масла?» В столовой было самообслуживание, и все действовало в соответствии с самым жестким принципом — принципом выживания. Работники кухни со стуком ставили на стол тарелки с говядиной, картошкой, горохом и безвкусным кочанным салатом, и самые большие куски доставались тем, кто первым — если понадобится, то через головы других — успевал вонзить свою вилку в кусок мяса или овощей. Симон чаще всего опаздывал. Уже не говоря о том, что жирная, тяжелая еда и так не лезла ему в горло. К счастью, денег на карманные расходы хватало на то, чтобы после обеда в деревне купить фруктов и шоколада. Фруктов — для здоровья, шоколада — от тоски по дому, которая в буквальном смысле терзала его каждую ночь.

Ко всему прочему он выяснил, что оба парня, с которыми он жил в комнате, находились в самом низу школьной иерархии. Настолько низко, что вынужденный контакт с ними вредил ему еще больше.

Так прошли первые шесть недель учебы. Симон чувствовал себя так одиноко, как никогда в жизни. Не то чтобы Симона сознательно изолировали, как его товарищей по комнате. Просто никто им особо не интересовался, никто не стремился познакомиться с ним ближе.

Симон начал курить, хотя это было разрешено только с шестнадцати лет: павильон для курения был самым важным центром общения в школе. По субботам он ездил в город — конечно же, один — и на блошином рынке покупал то поношенные джинсы, то армейскую спортивную куртку и широкие белые рубашки с воротниками-стоечками, потому что таковы были требования моды в Иссинге. По той же причине он отпустил волосы до плеч. Тем не менее, несмотря на все эти старания, он стоял один с сигаретой среди группок учеников, которые общались через его голову, рассказывали анекдоты или договаривались о тайственных встречах *в Посте* или у *Андреа*, на которые его, само собой разумеется, никто не приглашал, даже если он стоял рядом с тем, к кому обращались. Ему иногда казалось, что он стал невидимкой.

В течение дня его положение казалось ему не таким плохим, как по вечерам. После уроков и обеда был так называемый «тихий час», с половины второго до половины третьего, который ученики обязаны были проводить в своих комнатах. Потом они должны были под наблюдением делать уроки в классе, а время между четырьмя и шестью часами предоставлялось для занятий в так называемых кружках. Каждый обязан был выбрать минимум два и посвящать занятиям в них не меньше трех дней в неделю. Симон выбрал хоккей и гончарное дело. Ему не доставляло особого удовольствия лепить из комков глины неуклюжие горшки, но, по крайней мере, он находился среди людей и был чем-то занят.

В половине седьмого все ужинали. И только потом возникала огромная пустота, потому что на вечер официальной программы не было. Ничего такого, куда можно было бы незаметно прийти. Вечера товарищества устраивали только по понедельникам, а группа, в которую входил Симон, постоянно пропускала встречи.

Самым страшным были вечера и выходные. Нелюбимые товарищи Симона по комнате, по крайней мере, общались с местным парнем. У него они собирались по вечерам. Поэтому комната была чаще всего в полном распоряжении Симона. Но тот, кто проводил время один в своей комнате, и его на этом ловили, навечно получал клеймо социального отщепенца — по крайней мере, Симон убеждал себя в этом. И поэтому вынужден был стать страстным любителем прогулок.

Даже осенние каникулы, которые Симон провел у тетки в Штутгарте, стали для него разочарованием. Симон предвкушал, как снова встретит старых друзей, снова будет среди людей, с которыми можно смеяться, дурачиться, заниматься спортом, в присутствии которых он не ощущал себя изгоем. Вместо этого он понял, что и здесь за короткое время перестал быть своим.

Да, друзья были рады видеть его. Но жизнь без него шла своим чередом. Симон не был незаменимым ни в своей старой гандбольной команде, ни в компании, которая собиралась после школы и шла попить колы в «МакДональдс». Никто за ним, в общем-то, не скучал. И все это, кажется, заметили только сейчас. Теперь Симону было ясно, почему на его многочисленные письма так кратко отвечали: его просто забыли.

Такова была ситуация, когда в середине ноября 1977 года Симон вернулся в Иссинг, — с его точки зрения настолько безвыходной, что утром приходилось заставлять себя вставать. Уже сам утренний ритуал был для него невыносим. Была только одна полная пара душевая, в которой каждое утро мылись примерно сорок ребят. Они отрывивали, пускали ветры, писали под струей воды, щипали младших за задницы и сравнивали длину своих пенисов. Иногда заходил комендант и долго ругался. В этом случае на несколько минут воцарялось относительное спокойствие, а затем сразу же снова поднимался шум.

Симон ненавидел все это. И ненавидел себя за то, что не может делать то же самое, ни над чем особо не задумываясь.

На третий или четвертый день после осенних каникул, когда Симон испытывал глубочайший душевный спад, все начало меняться. Когда Симон сел за обеденный стол, он заметил рядом с собой новенькую девочку. У нее были темные вьющиеся волосы, бледное рыхлое лицо и большой рот. Ректор представил ее, прежде чем начался обед.

Фелицитас Гербер четырнадцать лет, и она будет ходить в восьмой класс. Пожалуйста, Фелицитас, поднимись на минутку, чтобы тебя все видели.

Девочка послушно поднялась, но ее глаза были опущены, а лицо мрачно. Наступила неловкая тишина. И в этот момент Симон почувствовал всю нелепость ситуации, душевные страдания, которые вынуждена была переживать эта девочка из-за бестактности ректора. Ему понравилось, что, несмотря на это, она старалась держаться прямо.

И сразу же после того, как она снова села, он заговорил с ней. Потом они вдвоем пошли на площадку для курения. Вечером после ужина он показал ей свою комнату. Они курили и разговаривали до самого отбоя. Симон и не знал, сколько слов в нем только и ждали момента, чтобы наконец-то быть высказанными. Ему показалось, что он снова ожил.

С этого дня они были неразлучны. По крайней мере, какое-то время. Симон уговорил ее ходить с ним вместе в гончарный кружок, и таким образом они смогли проводить вместе и послеобеденное время.

— То есть вы дружили с ней, — сказала Мона.

— Да.

— Долго? Все время?

Леманн кивнул. Взгляд его все еще был отстраненным. Шум в кафе поутих, большинство посетителей ушли — у них закончился обеденный перерыв. Уже была почти половина третьего, но Мона боялась даже напомнить ему об этом. Она надеялась, что он скажет что-нибудь еще. Но, кажется, Леманн закончил свой рассказ.

— Что она была за человек?

— Очень спокойная, если общалась с незнакомыми ей людьми. Как только знакомясь с человеком поближе, оттаивала.

— Понятно. — Мона решила, что можно было сказать очень много еще об этой дружбе, но, возможно, Леманн ждал правильного вопроса.

— А что было дальше? Вы встречались с Фелицитас?

— Нет! — Леманн посмотрел на нее чуть ли не возмущенно.

— Почему?

— Она была не в моем вкусе. Все очень просто. Она нравилась мне, но совсем не в этом смысле.

Постепенно Мона начала понимать.

— Она была не в вашем вкусе. Но с ее стороны все было как раз наоборот.

— Что-что?

— Фелицитас была влюблена в вас. Так оно и было, не правда ли?

Леманн опустил голову и закрыл лицо руками с длинными тонкими пальцами. Знает, что отступать некуда.

— Хотите еще кофе? — спросил он.

— Да, пожалуй.

Мона не спускала с него глаз. Леманн заказал два эспрессо, и она подумала о том, что за последние полчаса он изменился. Манерность исчезла, мобилку он выключил. Перед ней сидел обычный мужчина, который не пытался кем-то казаться. Он все еще был напряженным, но, тем не менее, оставался самим собой.

И, как будто прочтя ее мысли, он сказал:

— Тогда, в семидесятые годы, у нас была эта идея естественности. Просто не носить маски. Быть самим собой всегда. Ну, знаете, эта психологическая чушь.

— М-м-м.

— Плохо было только тем, кто понимал это слишком буквально.

— Как Фелицитас Гербер?

— Да, — помолчав, сказал Леманн. — Она приняла эту болтовню за чистую монету. Она действительно показывала всем свои слабости. Она пыталась быть честной. Она никогда ни над кем не смеялась, никого не осуждала — в таком духе.

— Вы хорошо понимали ее.

— Да. Какое-то время. — Леманн опустил взгляд. Он задумчиво раскрыл печенье «амаретто» в блюдечко из-под «эспрессо».

— Как долго? До этой поездки в Португалию?

— Нет. Это закончилось намного раньше. Но тогда я этого не понимал.

Рождество Симон провел с родителями в новой квартире на Манхэттене. Фелицитас пришлось уехать к родителям в Штарнберг, который она ненавидела. Симону было очень жаль ее, но не более того.

В последние недели их отношения стали прохладнее, и если быть честным с самим собой, его из-за этого мучила совесть. Чувства Фелицитас не изменились, но его — да. Уже давно Фелицитас не была ему настолько нужна, как поначалу. Со временем появились другие, более важные, чем она, люди, от расположения которых что-то зависело. Он со временем стал хорошим игроком в хоккей, и ребята из его команды теперь уважали его. В классе к нему все лучше относились и даже начали принимать в компанию, которая задавала тон в его возрастной группе. Короче говоря: Симон прижился в Иссинге. Его любили, ему было хорошо.

У Фелицитас же все было не так. Кроме него у Фелицитас не было друзей, и Симон довольно быстро понял, что именно на этой фазе все улучшающихся взаимоотношений с соучениками он должен выбрать: она или другие. Фелицитас нравилась ему, да, но он не хотел снова оказаться на краю. Дружба с ней могла ослабить его и без того шаткие позиции. Такова была правда жизни, но об этом он, конечно же, не мог сказать Фелицитас. Такие вещи не говорят даже злейшему врагу. Даже самому себе в этом трудно признаваться.

За рождественские каникулы Фелицитас написала ему два письма, полных жалоб, на которые он не ответил. Таким образом, как он надеялся, ситуация должна была разрешиться сама собой, без болезненного выяснения отношений.

Но он не учел настойчивости Фелицитас. В первый же день после каникул она пришла к нему в комнату. Он еще распаковывал вещи и пробормотал только короткое «Привет!». Тем не менее она заручилась его обещанием погулять вместе после ужина. Избежать этого он не мог уже потому, что в столовой она сидела рядом с ним. Эта перспектива его не прельщала. А Фелицитас не сдавалась.

— Как каникулы?

— Хорошо. Просто супер! А ты как?

Одним из важных ритуалов их дружбы было возмущаться реакционностью своих родителей, которые давали понять, что их дети — никчемные существа, с которыми нельзя даже нормально поговорить. Своим ответом он дал ей понять, что отчуждение уже началось. Но она не поняла. Может быть, нарочно, может быть, ей просто не хватало чуткости, чтобы уловить такие вещи.

— Отвратительно, как всегда, — ответила она.

И снова Симон совершенно сознательно не стал ей поддакивать.

— Да брось ты. Все было наверняка не так и плохо. — И добавил, понимая, как он этим ее обижает: — Ты иногда видишь все в черном цвете. Тебе стоило бы воспринимать и положительные стороны жизни.

Это было предательство в одеждах участия, и он знал это. Как часто в ее присутствии он возмущался необходимостью притворяться, что все хорошо. А теперь вел себя, как все остальные. Так, как будто никогда не было их доверительных разговоров.

Фелицитас посмотрела на него, и у нее был взгляд раненого зверька, который он терпеть не мог. Она показалась ему беспомощной и обиженной, но он решил, что она просто

не хочет его понять.

После ужина она зависла у него — раньше это было совершенно естественным, а теперь Симону это показалось ненормальным. Он невольно напрягся. Он подумал о том, что на улице холодно и сыро, что земля уже прихвачена первым ночным морозцем, что его друзья теперь сидят в теплом уютном «Посте» за бокалом пива и рассказывают, кто что пережил на каникулах, а он должен был оставаться тут с Фелицитас.

Ему вдруг стало жутко от мысли, что Фелицитас и впредь не оставит его в покое, и остальные — все, кто хоть чего-то стоит, — свяжут их на веки вечные, и таким образом оборвутся все важные, но такие хрупкие контакты, которые он с таким трудом выстроил за последние недели. И ему придется проводить все проклятые вечера с этой плаксой, которая ему даже не нравилась.

С которой, если называть вещи своими именами, он бывает только из чувства сострадания.

— Мы находимся в 1978 году, правильно? — спросила Мона.

— Да. Так все и началось у меня с Фелицитас.

— Началось, хорошо. Через пару месяцев вы ее снова бросили.

Леманн промолчал.

— Или все же нет? — спросила Мона.

— Нет.

— Что — нет?

— Нет, я не перестал с ней общаться. По крайней мере, официально. Я хотел, но не получилось.

— Почему?

Теперь они остались в кафе одни. Машина для приготовления капучино перестала шипеть, никто кроме них не разговаривал, и они невольно стали говорить тише. Леманн побледнел, как будто кровь перестала циркулировать по сосудам.

— Дружба с остальными... Круг был довольно узкий, и для Фелицитас там места не нашлось. К нам попадали только по-настоящему классные девчонки. Понимаете, действительно красивые, такие, о которых мечтали по ночам. А о Фелицитас не мечтал никто. Ее просто как будто не было.

— Но?..

Снова Леманн промолчал. А потом сказал:

— Но она была — не знаю, верной или глупой, или и то и другое... Я не могу судить. Может быть, у нее не было никого, кроме меня. Может быть, ей не оставалось ничего другого. В любом случае, она довольствовалась местом, которое я ей отвел.

— И каким оно было?

Леманн коротко засмеялся. Над его верхней губой появились капельки пота.

— Это как исповедь. Это исповедь, а вы — мой духовник.

— Нет, — возразила Мона.

На секунду он как будто протрезвел и внимательно посмотрел на Мону. Он внезапно понял, что у этого разговора будут последствия. Ему придется повторить то, что он говорит, в следующий раз уже официально, в присутствии адвоката. Может быть, правовых последствий не будет, но жизнь его уже никогда не будет такой, какой была на протяжении этих двадцати лет. Но, несмотря ни на что, остановиться он уже не мог.

— Вы этого еще никому не рассказывали, — сказала Мона. Она понимала: эта история жила в нем на протяжении двадцати лет. Она просто ждала, когда ее расскажут.

— Даже жене, — подтвердил Леманн. — Я еще ни с кем не говорил о Фелицитас. Я, так сказать, сделал вид, что ее не было.

— Возвратимся к тем событиям. Фелицитас ничего не заметила. Вы продолжали ей нравиться.

— Я не знаю. Может быть, она меня ненавидела, но не ушла от меня... Я не знаю. В любом случае, между нами было что-то вроде молчаливого соглашения. Если я был с другими, она должна была оставаться в стороне. Если у других не было для меня времени, она могла прийти. Тогда она была для меня достаточно хороша. Мы долго гуляли...

— Потому что не хотели, чтобы вас видели с ней.

— Да, это тоже. Я признаю это. Но дело было не только в этом. Мне действительно нравилось с ней быть — время от времени. Она была умной и изобретательной. Маленький философ. Она задумывалась о вещах, о которых в шестнадцать и даже в семнадцать лет никто не думает. Космические масштабы. У нее было очень много идей по поводу устройства вселенной, о влиянии звезд на планеты. Она установила взаимосвязи, которые не устанавливал до нее никто. Иногда я думал, что эта женщина — гений.

— Учителя тоже так думали?

— Нет, никогда. Многие учителя вообще не обращали на девушек внимания, разве что если они были привлекательными. Нет, никто не заметил ее дара, никто ее не поддержал. Она была совершенно одна.

— Вы были ее единственным другом.

— Нет, — сказал Леманн. Он замолчал, подыскивая формулировку.

— Что — нет? — спросила Мона.

Они уже так долго сидели на неудобных ультрамодных стульях, что у нее начали затекать ноги.

— Я не был ее другом. Я был... Я использовал ее. Как все.

— Что вы имеете в виду?

Долгое молчание.

— Вы спали с ней?

— Да. Она была моей первой... женщиной. Первой, с которой я...

— Занимался сексом.

— Да. Я не был у нее первым, но для нее значил очень много тот факт, что она для меня была первой.

— Когда это произошло?

— Я уже точно не помню. Летом семьдесят восьмого, кажется. Незадолго до летних каникул. Мы... закурили.

— Гашиша?

— Да. Все тогда курили.

— Понятно.

— Я закурил и сильно хотел секса и не боялся опозориться перед ней. Так оно и случилось.

— И одним разом все не ограничилось?

— Нет. — Леманн смотрел на стол прямо перед собой, и казалось, что он больше никогда не подымет глаз.

— У вас к тому моменту была постоянная девушка?

— Нет. Все девушки, которые мне нравились, были заняты. Тогда было слишком много мальчиков. Хорошие девушки ценились высоко. И другие ребята котировались выше, чем я.

— То есть вы занимались с ней сексом, когда не было под рукой другой, лучшей девушки? И это продолжалось довольно долго.

— Да.

— До лета 1979 года.

— Да.

— А что случилось тем летом? Почему Фелицитас пришла именно на тот пляж, где вы отдыхали?

— Потому что я ей сказал.

— Что вы ей сказали?

— Где мы будем.

— Вы уже в Иссинге знали, куда поедете? Еще до того, как выехали?

— Да. Год назад я был там с родителями. И очень хотел вернуться туда. А остальные были согласны. Наша компания сложилась стихийно. Те, с кем я обычно проводил свободное время, поехать не смогли. А мне так не хотелось в США, потому что в августе в Нью-Йорке просто убийственно жарко. А остальные — Шаки, Конни, Миха, Роберт — у остальных были свои причины не ехать домой. Поэтому мы отправились путешествовать вместе.

— Вы не ответили на мой вопрос, — сказала Мона.

Ее руки страшно замерзли, хотя в помещении было очень тепло. Ног она вообще не чувствовала.

— На какой вопрос?

— Почему Фелицитас знала, куда вы собираетесь ехать? Почему вы ей сказали?

Вечер в Иссинге. Предпоследний день занятий, через три дня они собрались выезжать. Миха пригласил их на спагетти и красное вино. Он жил в двух комнатах с видом на озеро. Когда была хорошая погода, отсюда можно было любоваться чудесными закатами. Этот вечер был просто роскошным, они испытывали эйфорию, предвкушая предстоящие приключения. И тут один из них сказал:

— Эй, а как насчет баб?

Другой ответил:

— Там найдем.

Третий не согласился:

— А если нет? Каникулы без баб — это голимо.

Четвертый сказал:

— Эй, Симон, а как насчет твоей Фелицитас?

— А что с ней?

— Она же делает это со всеми.

— Чушь!

И тут они засмеялись. Все. Потому что все, кроме него, знали, что Фелицитас не отказывает никому. Действительно никому. Даже уроду Шредеру.

Секс-машина. Такая у нее была кличка.

За час до обеда в классе Берит шел урок французского. Так как Михаэль Даннер больше не имел права преподавать, школа в срочном порядке нашла молодого стажера, который был каким-то измученным. Все четырнадцать ребят моментально заметили это и на каждом уроке выдумывали новые каверзы. Восемь девушек им подыгрывали, потому что не хотели показаться трусихами.

Сегодня пришла очередь трюка с передвиганием столов — древний трюк Иссинга, но из-за этого не менее эффективный. Как только стажер поворачивался к проектору, чтобы поменять пленки, все дружно передвигали столы на пару сантиметров вперед. Примерно через полчаса парень должен был оказаться в окружении, и тогда он перестанет понимать, что происходит, потому что сближение происходило постепенно и совершенно незаметно. Шутка заключалась в том, что все при этом делали вид, будто ничего не происходит, и вообще вели себя как обычно.

Передвигание столов — психологический стресс для преподавателей, не уверенных в себе. Преподаватель английского уже как-то раз сломалась и вся в слезах выбежала из класса. После этого ей выписали больничный, и с тех пор в Иссинге ее не видели.

Но сегодня до такого не дойдет. Хотя в глазах стажера и появилось выражение легкой паники, когда он понял, что они задумали, он решил не обращать на их поведение никакого внимания. Он выключил проектор и начал вести с учениками *face a face*^[18] дискуссию на тему *le sujet que concerne la légalisation des drogues*^[19]. Начался вялый *conversation*^[20], в котором приняли участие два-три ученика. Тем не менее продвижение столов прекратилось. Теперь это было уже не интересно.

Берит сидела у самого окна. Она бы с удовольствием смотрела на улицу, но все стекла были покрыты морозными узорами. В классе, как всегда зимой, было очень сильно натоплено, но ей все равно холодно. На ее выкрашенной в серый цвет парте кто-то выцарапал циркулем «Verit is fucked up»^[21]. Берит провела пальцем по трещине в парте. Она знала: нужно продержаться еще немного.

Еще три недели до Рождества. С тех пор как она неделю назад в отчаянии позвонила домой, родителей замучила совесть, и теперь они звонят каждый день, чтобы спросить ее, чего бы ей хотелось на Рождество. Чтобы наказать их, Берит каждый раз притворяется, что ей ничего не приходит в голову.

Идея бросить Иссинг и сдавать экзамен на аттестат зрелости Берит уже не нравится. Что ей делать у родителей, которым не особо хочется, чтобы их дочь жила дома? Что ей делать в Берлине, где она почти никого не знает? Что ей делать с девчонками, единственными оставшимися у нее подругами Кати и Анной, которые каждые выходные наглатываются колес?

Берит бросила презрительный взгляд на стажера, которому, пожалуй, скоро стукнет тридцать лет, а его потный лоб все еще был усеян прыщами. Как можно сегодня говорить о легализации наркотиков, если каждый идиот может получить все, что захочет, — и, кажется, это никого не волнует. Привычка, которой так охотно отдаются, потому что не нужно думать самому. Отсюда — нехватка творческих мыслей, отсутствие индивидуальности. Михаэль Даннер всегда поощрял их стремление уходить от однообразия повседневной жизни, жить бурно и опасно. К сожалению, даже он не смог воплотить свои мечты в жизнь. По крайней

мере, так кажется Берит.

Поэтому ли он бил свою жену?

С тех пор как Даннер в присутствии остальных простил ей нарушение заповеди «Не предай своего Учителя», ее, как по волшебству, снова полюбили не только в их кружке, но и остальные. Она не сопротивлялась, хотя каждой молекулой своего тела чувствовала, что здесь что-то не чисто. Она позволила Михаэлю Даннеру прочесть о себе проповедь, в которой он хвалил ее мужество, ее силу, ум и неподкупность.

Нам нужны такие люди, как ты, Берит. Безукоризненные люди. Которые плывут против течения. Которые не позволяют себя подавить.

Верно было одно: эти комплименты, несмотря на их затасканность и примитивность, растопили в ней лед, грозивший заморозить всю ее. И только потом, по дороге в интернат, к ней пришло понимание, что Даннер — в который раз — одурачил ее по всем правилам искусства: ни слова о том, что он заставил группу солгать. Не дал объяснения тому, что Берит видела летом. Вообще ничего на тему «Михаэль и Саския Даннер». Вместо этого обычная болтовня о гражданском мужестве и способности прощать.

И все они, включая Берит, попались на эту удочку. С той лишь разницей, что остальные этого даже не поняли, а Берит поняла, пусть не сразу.

Что еще верно: она ненавидит сама себя за этот самообман, за то, что предала свои убеждения и идеалы, но одновременно ей стало легче оттого, что ее больше не отталкивали товарищи. И чтобы совсем не запутаться, у нее возникло желание сделать еще одну попытку. Ей захотелось пройти еще одно испытание, чтобы доказать, что она действительно такая, какой ее описал Даннер.

Вместе с остальными Берит вышла из класса. Скоро из всех классов хлынут учащиеся, чтобы в плохо освещенных коридорах наткнуться друг на друга, смеяться, чертыхаться, спотыкаться на скользких ступеньках, дрожать от холода, проникающего через главный вход, потом бежать дальше по узкой темной лестнице в столовую, находящуюся в подвале.

У тебя есть математика... Кажется, Мюллер совсем того... совсем съехал... подожди меня...

Берит отдалась течению. Это приятно. Ни о чем не нужно думать, ничего не нужно планировать. Все уже продумано, как форма, в которую нужно просто влиться, не сопротивляясь, чтобы потом в ней медленно застыть. Самая высшая форма безопасности.

Рядом с ней возник Стробо. Он в 13-м классе, на два года старше нее. Она снова ощутила легкое приятное возбуждение оттого, что он рядом с ней. Хотя с того вечера в павильоне для курящих между ними ничего не было, она чувствовала, что все еще возможно. Она улыбнулась Стробо, он взял Берит за руку и сжал ее — остальные не могли этого видеть в толпе, образовавшейся перед столовой. Потом они прошли сквозь вертушку в зал, где было посвободнее, и там они разжали руки. За столом он сел напротив ее. Они избегали часто смотреть в глаза друг другу.

Симон. Имя вспыхнуло в голове неоновыми буквами. Симон Петр, который, как и все остальные, умыл руки и, как и остальные, предал Иисуса. Симон, который ничего не сделал, ничему не помешал. Симон, который допустил, чтобы остальные безжалостно растоптали ее мечты, ее честь, ее достоинство. Даже то небольшое, чем она дорожила, — и того не оставили.

Симон был первым и последним. На Симоне замкнулся круг ее разочарований. Чтобы

спасти его для лучшей жизни, нужно было вернуться в прошлое, как она делала это с другими.

Тогда... Это были годы мучений, когда играли гормоны, когда разрушался ее защитный вал, — пока зло не проникло в нее и не заполнило все ее существо. Тогда... Это было время, когда оказалось, что ее душевный иммунитет слишком слаб и она не справляется с вызовами судьбы и каверзами людей, которые ее окружают. Любая насмешка, любое умышленное проявление неуважения к ее желаниям и потребностям были как штурм злобных вирусов, которым нечего было противопоставить. Под конец у нее развилась хроническая болезнь и ко всему прочему добавилась эта жуткая способность — ясновидение, которое ни на что не могло повлиять, и уж тем более ни от чего не могло защитить.

И все это, как ей сейчас казалось, началось с Симона, этого лицемера. С Симона, единственного друга, который у нее был.

Тогда... На сапфирно-голубом небе сияло солнце, освещая каменистое побережье Карвоэйро. Оно смотрело на ее слегка загорелые ноги, на красивые плетеные кожаные сандалии, на которых, хотя они и были куплены в Лиссабоне, уже появилась патина, которая является неотъемлемой частью имиджа путешественника. Тогда... Море простиралось глубоко под ней, волны были украшены коронами из пены, крепкий теплый ветер сдувал волосы с лица.

Она стала спускаться на пляж. Узкая скалистая тропа вилась серпантинном, сандалии оказались слишком скользкими для отполированных тысячами ног камней, но она радовалась, предвкушая прикосновения горячего песка и холодной морской воды. Было время обеда. Большие португальские семьи гуськом проходили мимо нее, чтобы укрыться в своих простеньких домиках, стоящих на краю обрыва. Их лица были такими загорелыми, что в ярком свете солнца они воспринимались как тени. Она была единственной, кто сейчас спускался к морю, шаг за шагом приближаясь к пляжу. Солнце светило ей в лицо, и оно покраснелось. Когда она наконец спустилась в бухту, перед глазами плясали яркие круги.

Тем временем ветер стих, и воздух был настолько сух и горяч, что она едва не закашлялась. Диаметр бухты был не меньше трех километров, а она не имела ни малейшего представления, где были пещеры, о которых ей говорил Симон. Да она даже не знала, были ли они еще там — Симон и остальные. Она смогла выехать только через неделю, потому что мать устроила жуткий скандал и не хотела ее, семнадцатилетнюю, никуда отпускать. Поэтому она просто взяла и удрала ночью. Так как в час ночи никакие скоростные электрички в город не ходили, она, хорошо уложив рюкзак, пешком пошла на Центральный вокзал. Там ей пришлось долго ждать поезда на Париж, где ей нужно было сделать пересадку, чтобы доехать до Лиссабона. От Лиссабона ходили автобусы до Альгарвы, но было очень нелегко найти в этом суетном городе автовокзал, и хотя она сильно устала, все же была горда тем, что сумела проделать весь этот путь одна.

Совсем одна. Это означало, что эти три дня она ни с кем не разговаривала.

Пляж, сверкающий под полуденным солнцем, был совершенно пуст, мелкий белый песок практически невыносимо слепил глаза. Жар песка чувствовался даже сквозь подошвы сандалий. Рюкзак медленно сполз со спины — она была уже близка к цели, но вдруг захотелось заплакать. Может быть, это была совершенно идиотская идея. Может быть, здесь ее никто не ждет. Что, если придется ехать обратно, потому что она не встретила никого, кто бы ей помог?

Она подошла к воде, вымыла ноги — вода оказалась приятно прохладной — и выбрала направление. Она шла более получаса, и от усталости слипались глаза. Потом она увидела, наконец, черные пятна на бежевом песчанике. Там, должно быть, были пещеры. Наконец-то она была среди своих.

— Да что с тобой сегодня такое? — спросил Антон.

— Ничего, — ответила Мона.

Она осмотрелась в квартире Антона. Все здесь было шикарным, мебель обтянута черной кожей, с блестящими хромированными ножками, стеклянный столик. Но все было каким-то мертвым. Стерильным. Не сравнить с квартирой Даннера. Ту обставляли с любовью. А Антон просто скупил все, что хорошо выглядело и дорого стоило.

— Ты страшно напряжена, — заявил Антон.

И прежде чем Мона успела что-то сказать, зазвонил беспроводной телефон, который все время лежал рядом с Антоном, — где бы в квартире он ни находился. Вот и теперь он моментально взял трубку и, уже разговаривая, пошел в кабинет, находившийся рядом с гостиной. Громко хлопнула дверь.

Половина одиннадцатого вечера. Для деловых звонков уже поздновато. Для обычных деловых звонков.

Иначе Мона не может, она просто обязана спросить Антона, когда он вернется:

— Ты опять взялся за махинации?

Антон сел рядом на черный кожаный диван и положил руку ей на плечо. Ничего не сказал. На такие вопросы он чаще всего не отвечает. Это страшно злит Мону.

— Слушай, я хочу получить ответ! Что ты задумал?

— Прекрати, Мона. Ты же не рассказываешь мне про то, чем вы, ищейки, занимаетесь.

— То, чем мы занимаемся, не противозаконно.

— Давай ты перестанешь говорить глупости?

— Если ты продаешь украденные БМВ в Польшу и Украину...

— Да не делаю я этого! Все чисто! Прекрати, наконец! Это глупо!

Антон отстранился от нее, скорчил обиженную мину. Мона глубоко вздохнула. Лукас спит наверху в отделанной Антоном с любовью детской, где есть компьютер, водяной пистолет, полуметровая фигура Дарт Бейдера, несколько самолетов с дистанционным управлением, принцип действия которых Мона никогда не понимала. Если они сейчас поссорятся, Лукас проснется. А он уже и так плохо понимает, что между ними происходит.

— Отдел по борьбе с мошенничеством завел на тебя дело, не так ли?

— Нет.

— Ну признай хотя бы это!

— Нет!

— Хорошо. Сам ты не продаешь машины, но ты налаживаешь контакты, ты являешься посредником в сделках, гребешь комиссионные и делаешь вид, что чист, потому что дальнейшее тебя не касается. Так лучше?

— Замолчи, наконец!

Впервые Моне пришла в голову неприятная мысль, что, возможно, эту квартиру прослушивают. Разве она знает, насколько далеко зашло расследование? Может быть, уже есть судебное решение. Может быть, телефон Антона прослушивается, а то и вся квартира.

Ее бросило в жар. Потом она сказала себе, что теперь, собственно, все равно. Ее жизни

связана с его жизнью. Так будет всегда, что бы ни случилось. Нет никакого смысла беспокоиться по этому поводу. Но, несмотря ни на что, она беспокоится. У нее столько проблем, и одна из них — Антон.

Они уже давно не сидят, тесно прижавшись друг к другу: Антон отодвинулся в дальний угол дивана, как упрямый подросток. Мона смотрит на его профиль. Темные, глубоко посаженные глаза, длинный прямой нос, красивый рот. У Антона хороших качеств ровно столько же, сколько и плохих. Они настолько уравнивают друг друга, что очень трудно относиться к нему однозначно. В любом случае, он не ангел и никогда им не будет. Раньше, когда они еще были вместе, Антон так отделал предполагаемого соперника, что того пришлось доставить в больницу с сотрясением мозга и сломанным ребром. Не стоит даже упоминать, что между ним и Моной никогда никого не было. Он сам себе все придумал.

Но, опять же, это было очень давно.

Теперь у Антона постоянно менялись подружки. В основном это были молодые пухленькие блондинки, которые очень мило относились к Лукасу. А Мона теперь была просто хорошим товарищем (ладно, иногда не просто товарищем, но для кого, собственно, она хранит верность — может быть, для своих женатых коллег?). Со всеми проблемами она может прийти к нему. Он всегда выслушает. А это уже чего-то стоит.

— Я должна знать, — сказала Мона. — Если ты опять сядешь за решетку, что будет с Лукасом? Ты никогда об этом не задумывался? Он любит тебя. Он боготворит тебя. Ты хочешь, чтобы он стал таким, как ты?

— Не станет, если ты и дальше будешь воспитывать его как неженку.

— Я? А кто кормит его шоколадным мороженым, как только месье начинает кривиться?

Слишком поздно Мона заметила, что Антон незаметно сменил тему разговора. Ну ладно. Она устала, как никогда. Так устала, что практически нет сил ехать домой. Она положила голову на мягкий подлокотник дивана и закрыла глаза.

— Я беспокоюсь о тебе, — вдруг сказал Антон, и было в его голосе что-то такое, что заставило ее насторожиться. Обычно он так с ней не разговаривал.

— Не выдумывай. Чего это ты? — Она снова закрыла глаза. Пять минут подремлет — и поедет домой.

— У меня нехорошее предчувствие.

— По какому поводу?

Только бы он замолчал. Она так устала, так страшно устала, а диван такой удобный...

— За кем вы, собственно, гоняетесь?

— Я не могу об этом говорить, ты же знаешь.

— Этот убийца, который прихлопнул несколько мужчин и одну женщину — кто он?

— Мы не знаем. Пока что не знаем. Можешь прочесть об этом в газетах.

— Вы что-то знаете.

Мона снова открыла глаза. С минуту она вспоминала две последние пресс-конференции — вчерашнюю и сегодняшнюю. Не было сказано ни слова о Фелицитас Гербер, которая уже находится в розыске. Это часть ее плана. Антон об этом не знает. Он просто не может знать.

— О чем ты вообще говоришь?

— О своем предчувствии. Оно нехорошее.

И что бы это значило?

— Ты в опасности, я чувствую это.

Такого он ей еще никогда не говорил.

А ведь они знают друг друга уже скоро тридцать лет. С тех пор как Мона с матерью переехали в квартиру по соседству с Линденмайерами, в очень зеленый квартал с обманчиво безобидным названием Хазенбергль^[22], неподалеку от Панцервизе. Антон был для нее как старший брат, пока не начал за ней ухаживать. Потом они три года «ходили вместе», потом появился Лукас, потом Антона посадили на два года, а Мона решила делать карьеру. А это, кроме всего прочего, означало, что они с Антоном больше не могут быть вместе. Это и раньше был довольно щекотливый вопрос, а потом ей стало понятно, что так жить дальше невозможно.

— Я не понимаю, о чем ты говоришь.

Мона встала, зевая и слегка покачиваясь. Нужно ехать домой. Немедленно. Она и так провела последние две ночи в постели Антона, а делать это привычкой она ни в коем случае не хотела.

— Можно, Лукас опять останется у тебя?

— Глупый вопрос. Конечно можно.

— Спасибо. Это скоро закончится, я обещаю. На выходные он поедет к Лин. Будет праздновать у нее день святого Николая.

— Лукас мне не мешает. Я волнуюсь за тебя.

— Антон, не выдумывай. Со мной все в порядке.

Они обнялись. Мона с тоской подумала о неубранной квартире, которая ждала ее. Может быть, попросить у Антона на время его уборщицу? Он часто предлагал такой вариант, а она всегда отказывалась. Дурацкая гордость.

Когда она, наконец, оказалась в промерзшей машине без перчаток, и ее руки едва не примерзли к рулю, она не в первый раз задала себе вопрос: почему, выбирая между легким и трудным путем, она всегда выбирает трудный? Это карма или просто глупость? Об этом она думала не переставая, пока не нашла место для парковки за пять домов от своего дома. И поэтому не заметила, что за ней следят.

В последнее время озеро притягивало Берит как магнит. Как будто в его темных, покрытых тонким слоем льда глубинах скрывался ответ на ее вопросы. Она ходила к озеру каждый день. Чаще всего к мосткам, куда обычно причаливал теплоход, но в это время года не подходил ни один корабль, только чайки сидели на досках и с криками протеста взлетали, как только она приближалась, чтобы потом удобнее устроиться у нее за спиной. Деревянные доски гулко скрипели под ее ногами, мороз выжимал слезы из глаз, но неизменный мир замерзшего озера таил в себе что-то успокаивающее для Берит, которая все еще любила бывать одна, плохо спала по ночам и боялась непонятно чего.

Когда она сегодня решила проигнорировать тихий час и пойти прогуляться к озеру, она практически сразу заметила, что в воздухе что-то витает. Это что-то было связано с погодой. Сегодня было теплее и ветер дул сильнее, чем в последние туманные холодные дни. Берит подняла голову. В разрывах туч проглядывало солнце. Она вышла с территории интерната через арку, свернула на главную улицу Иссинга и медленно пошла в гору, направляясь к озеру. То, что она сейчас делала, было запрещено, но на эти запреты Берит давно перестала обращать внимание. После всего того, что произошло, она больше не могла серьезно относиться к запретам. Они имеют смысл только тогда, когда их выполнение можно проконтролировать. Но этого в Иссинге никто не делал, тем более теперь.

Все, начиная с пятиклашек и заканчивая ректором, чувствуют себя неуверенно из-за того, что произошло за последние недели. Некоторые родители заявили, что заберут детей из школы, если в «этом деле» немедленно не разберутся. Но, в конце концов, никто этого не сделал, однако уже одной угрозы хватило, чтобы ухудшилась здешняя атмосфера. Все испытывали недоверие к другим людям, ощущали беспомощность, дружеские отношения расстроились, а во всем был виноват Даннер.

«Мне очень жаль, — подумала Берит, — но так оно и есть». Часто она мысленно разговаривала с Даннером. Тогда ей в голову приходили самые веские аргументы. Такие, которые потом, на поверку, оказывались неубедительными — когда их вытаскивали на свет Божий. Только потому, что Даннер искуснее в риторике, чем она. А еще потому, что в группе никто Берит не поддерживает. Петер, Стробо, Марко, Сабина по-прежнему обожествляют Даннера, а остальным все равно.

Она добралась до причала. Он пуст, нет никого, кроме чаек и мужчины в толстом черном стеганом пальто, он стоит на краю причала и смотрит на море. Берит хотела было повернуть обратно — она не любила делить причал с кем бы то ни было — но тут мужчина повернулся и направился к ней.

Это был Даннер.

Она остановилась как громом пораженная.

Даннер — последний человек, которого она хотела бы сейчас видеть. Она не знает, о чем с ним говорить, тем более здесь, наедине. Так с ней часто бывало, когда дело касалось Даннера. Как только появлялась возможность наконец высказать все, что томило душу, в голове становилось пусто.

Кажется, он ее ждал. Но этого не могло быть. Она всегда приходила к озеру в разное время. И до сегодняшнего дня никого не встречала. Значит, это может быть только случайность. Не так это и удивительно, если подумать, — здесь так мало возможностей

организовать свой досуг. Особенно это актуально в плохую погоду. Есть два ресторана, несколько кафе, которые зимой чаще всего закрыты, а ближайший кинотеатр находится в Мисбахе.

Даннер ускорил свой и без того торопливый шаг, когда увидел, что она застыла на краю озера. Берит не двигалась. Смысла не было убежать, этот импульс она подавила сразу.

— Я рад, что встретил тебя здесь, — сказал Даннер.

Он улыбнулся совершенно искренне. Берит промолчала, потому что ей ничего умного в голову не пришло. Так они и стояли друг напротив друга, как будто на свидании. Наконец Берит провела рукой по волосам. Они были холодными, но приятно густыми и упругими. Это ощущение придало ей уверенности. Может быть, действительно хорошо, что он случайно оказался здесь, и она тоже. Может быть, это тот самый шанс, которого она ждала, и который нужно обязательно использовать.

И прежде чем она успела что-то сказать, Даннер взял ее под руку, как будто это было совершенно естественным. Вообще-то он должен был держаться подальше от учеников, а они — от него, — таковы были условия его нахождения здесь. Но он никогда не придерживался правил.

— Не хочешь пройтись со мной немного? — спросил он и повел ее мимо причала по пустынной набережной.

— Не знаю, — сказала Берит, но не стала отнимать свою руку, как будто для нее происходящее было в порядке вещей. Если уж она не стала сопротивляться, то нужно было хотя бы сделать вид перед самой собой, будто она согласна и что это ее решение — пойти с ним. Она просто не имеет права чувствовать себя как обычно в его присутствии. Какой-то беспомощной. Слишком зависимой от него.

— Возможно, — сказала Мона, — журналисты позвонят вам сегодня во второй половине дня. Ваш номер мобильного зарегистрирован в справочной?

— Думаю, да, — откликнулся Леманн.

Он сидел напротив нее в их 11-ом отделении. В дверях стоял Фишер, он хоть и был бледным, но, по собственному заверению, с ним уже все было в порядке. Бергхаммер и Кригер, скрестив на груди руки, прислонились к шкафу с документами.

— Совет: вы удивлены. Сначала недружелюбны. Сами знаете, настырные журналисты. Откуда вы взяли мой номер, и так далее.

— Понятно.

— Вы дадите интервью «АЦ», «ТЦ», «Бильд» и «СЦ». Позвольте себя фотографировать. Они спросят вас, можно ли упоминать вашу фамилию. По крайней мере, я надеюсь, что они это сделают. Если они не спросят, вы сами должны завести об этом разговор.

— А зачем?

— Затем, что иначе они укажут лишь ваши инициалы — из уважения к вам. Но в таком случае все будет напрасно.

Все ниточки сошлись на Леманне. На нем и на Даннере, но за Даннером и так наблюдают уже в течение нескольких недель, и пока что никто не пытался напасть на него. Поэтому Леманн — это их последний шанс. Наживка. Если Фелицитас Гербер читает газеты. Все-таки хоть маленький, но шанс. Если она будет знать его фамилию, ей нужно будет только посмотреть в справочнике. А там есть его адрес.

— Журналисты знают?

— Нет! Все должно выглядеть так, как будто по нашему недосмотру они вышли на вас.

— А как вы это устроили?

— После пресс-конференции «забыла» на столе свои заметки. На одной из бумажек крупными буквами было написано ваше имя. Надеюсь, это сработает.

— А что мне им сказать?

— Правду. Что вы дружили со всеми убитыми. Что вы только вчера узнали об их насильственной смерти. Что вы сразу же связались с нами, чтобы рассказать все, что знаете.

— А что я знаю?

— Ничего. Расскажите пару историй о ваших замечательных друзьях, о том, как хорошо вы друг друга понимали и что давно не общались. Никаких подробностей, все в общих чертах. Придумайте что-нибудь. Только не упоминайте имени Фелицитас Гербер. Можете спокойно говорить, что не имеете права разглашать информацию, имеющую отношение к делу.

— Но это им будет интересно?

— Конечно. Вы были знакомы со всеми убитыми, кроме Саскии Даннер. Они ищут такого человека уже несколько недель. Точно так же, как и мы.

— Это, вообще, законно?

Бергхаммер, до сих пор молчавший, ответил:

— Конечно. Вы имеете право давать интервью, кому пожелаете.

Под глазами у Леманна темные круги. Как и Даннер, он сильно сдал за последние несколько дней.

— Не могу поверить, что Фелицитас способна на такое, — сказал он. — Я сам себе кажусь свиньей.

— Фелицитас Гербер нужна помощь, рассматривайте это так... — сказал Бергхаммер. — Она больной человек.

— Вы же этого не знаете наверняка.

— Знаем, — возразила Мона. — То, что она больна, мы знаем. Нам только не известно, насколько она больна и насколько опасна. Поэтому мы должны ее найти.

— А почему я должен вам помогать? У вас же есть свои методы поиска людей. Почему без меня у вас не получается?

— Конечно, мы не можем заставить вас, — сказал Бергхаммер. — Это будет ваше решение. Вы можете отказаться от встречи с журналистами. Это только ваше решение, — повторил он и с отеческой озабоченностью посмотрел на него. Бергхаммер был высоким и широкоплечим мужчиной, Леманн, стройный и подтянутый, казался рядом с ним подростком. — У вас есть возможность сотрудничать с нами. Пойдете ли вы на это, зависит только от вас.

— Что будет с Фелицитас, когда вы... поймаете ее?

— Пока она — свидетельница, не более того. С ней поговорят сотрудники отдела уголовной полиции. Проверят ее алиби. Может быть, она не имеет к этому делу никакого отношения. Посмотрим. Не бойтесь ничего. Вы и ваша семья в безопасности.

— Это значит, что ваши сотрудники будут находиться в нашем доме?

Мона ответила:

— Да. Мы как раз это обсуждали. Ваш телефон будет прослушиваться. Днем и ночью будут дежурить наши сотрудники. Вас будут охранять круглые сутки.

— Это меня совершенно не устраивает. Мою семью тоже.

— У нас не остается выбора. Вы в опасности, мы должны вас защитить.

— Но если все будут знать, что я — главный свидетель, если об этом будет написано в газетах, то убийца догадается, что меня охраняют.

— Верно, — согласился Бергхаммер. — Но мы должны пойти на этот риск. Чтобы в результате, так сказать, пуля пролетела мимо.

— Я покажу тебе дорогу, которую ты точно еще не знаешь, — сказал Даннер.

Он уже давно уверенно вел Берит через кустарник по «дикой» части берега.

— Но здесь же ничего нет! — возмутилась Берит.

В ее волосах запутались засохшие листья и веточки, руки у нее замерзли, потому что она не взяла с собой перчатки, а ноги она вообще перестала чувствовать. Совершенно непонятно, что она здесь делает. Почему она позволяет мужчине, которому не доверяет, вести ее через этот бурелом?

— Успокойся, мы почти пришли.

Но у Берит не получилось успокоиться. Внезапно у нее возникло чувство, что ей никогда не выйти из этих кустов. Однако в следующую секунду они оказались на открытом песчаном кусочке берега. Два столика с лавочками из сырой древесины вбиты в землю, рядом, на камнях, — примитивный гриль.

— Мало кто знает об этом месте, — сказал Даннер. — Здесь хотели сделать площадку для кемпинга, но предпринимателю не дали на это разрешения.

— Ага.

— А потом все заросло.

— Понятно.

— Мы часто бывали здесь с Саскией.

— М-м-м.

Берит присела на одну из лавочек и облокотилась на стол. Она перестала бояться. Впервые за несколько недель ей стало хорошо. К своему удивлению, она почувствовала благодарность к Даннеру.

Он присел рядом с ней, точно так же, как она, облокотившись на стол. Не глядя на нее, он сказал:

— Думаю, мы от них оторвались.

— От кого? — спросила Берит.

— От полицейских, — ответил Даннер. — Уже несколько недель за мной следят. Думают, я не замечаю.

Берит ничего на это не сказала, потому что Даннер об этом уже говорил. Причем дважды. Как обычно, слегка рисуясь, небрежно. *За мной следят.* Наступило непродолжительное, но очень неуютное молчание.

— Я хотел поговорить с тобой о Саскии, — внезапно сказал Даннер, и ей показалось, что ему нелегко далась эта фраза.

Но странно: вдруг Берит совершенно расхотелось слушать об этом. Вернулся страх, сначала в виде воспоминания о неприятном чувстве, которое, казалось, не вернется.

— Ты — единственная, кто может это понять.

Страх возрастал, свил себе гнездышко в животе у Берит, и она ощутила там спазм.

— Почему только я могу это понять?

— Ты боишься?

— Нет. — Но она знала, что это неправда.

— Нет, ты боишься. Ты догадываешься, что узнаешь о любви такое, чего не прочтешь ни в одной книге, не увидишь ни в одном фильме, потому что ни один писатель и ни один режиссер не решится освещать такую тему.

Берит ничего не сказала. Существует множество книг и фильмов о женщинах, которых избивали.

— Существует множество книг и фильмов о женщинах, которых избивали, я знаю. Зло всегда мужского рода. А я говорю о любви. Я любил Саскию.

Берит слегка отодвинулась от него. Внезапно Даннер показался ей очень сильным и высоким, как будто за последние секунды он как по волшебству вырос. Как будто он заполнил собой все вокруг, даже проник в ее мысли. Как будто он владел искусством подчинять себе даже мысли.

— Когда вы избили ее впервые? — Даже ее голос показался ей тоньше и слабее в его присутствии. Но она гордилась тем, что задала этот вопрос.

Даннер повернулся к ней. Наступило то мгновение, которого она боялась, потому что сейчас он мог одолеть ее. Но она не отвела взгляд. Лицо ее побледнело, ей казалось, что от холода из нее ушла жизнь, уши болели, губы дрожали.

— Я знаю, что моей любви не хватило. Это была жалкая попытка, но все же я пытался.

Даннер буквально впился взглядом в ее глаза. Впервые она заметила, что у него зеленые глаза. Зеленые, как молодой мох. Потом он взмахнул рукой и отвернулся от нее, как будто хотел этим сказать, что нет никакого смысла в их общении.

Этот прием она знала. Он часто поступал так, когда кто-то противоречил ему, и таким образом добивался того, что этот человек сам себе начинал казаться идиотом.

— Что вы пытались?

Даннер снова посмотрел на озеро. Из-за темных, низко висящих туч оно казалось почти черным.

— Забыть себя. Чтобы все, что делает меня собой, проросло в другом человеке. Отдать себя.

— Вот что вы понимаете под словом «любовь»!

— Конечно. А ты разве нет?

Берит не знала, что ответить на это. Если честно, она никогда особо не задумывалась о любви. В Иссинге можно было наблюдать скорее ее практический вариант. Были несколько пар, которые уже больше года вместе, но они не считаются. Они находились в своем обособленном мире, мире для двоих. Иногда можно было наблюдать, как они стоят, прижавшись друг к другу, на лестнице главного корпуса, и на вечеринках они танцевали только друг с другом. И они быстро становились никому не интересными. Если любовь — такая скука, то Берит она не интересуется.

С другой стороны, есть Стробо, которого ей иногда так не хватает по ночам, что она не может заснуть.

— Ну? И что ты думаешь о любви? — спросил Даннер настойчиво.

— Не знаю, — нерешительно ответила Берит. Она часто считала себя обязанной сказать что-то интересное, оригинальное, умное, что-то, что было бы достойно похвалы Даннера. — Я не знаю, — повторила она. И тут же, не задумываясь, спросила: — А что вы, собственно, хотите услышать?

Даннер не ответил. Берит разочаровала его. Она, как и все остальные, — милый, симпатичный, неопытный подросток. Ничего особенного, ничего необычного. Она — как все. Ей казалось, что именно это кроется в молчании Даннера, и внезапно в ней поднялся утихший гнев: она снова позволила собой манипулировать, снова перестала быть самой собой.

— Может быть, — услышала она свой голос, — вы слишком много думаете о любви. Может быть, вам следовало просто принимать Саскию такой, какая она есть, и любить ее такой. Может быть, вы слишком многого от нее ждали. Какой она должна быть, и какими должны быть ваши с ней отношения.

Да, так оно и есть. Он слишком много ждал. Он думал, что любовь — это заданная величина, а не дитя фантазии, интерпретация чувства.

Даннер повернулся к ней, спрятав руки в карманы, и снова впился в нее взглядом. Вдруг Берит поняла, что он не слышал ни слова из того, что она сказала. Его взгляд изменился. Теперь в нем появилось что-то неприятное, неподвижное, казалось, что он вообще не видит ее. Страх волной накатил на нее, и на этот раз она испугалась сильнее, чем раньше. Мысли Берит смешались. Она убеждала себя, что Даннер ничего ей не сделает, по крайней мере не сейчас, не здесь, не среди бела дня, не в той ситуации, в какую он попал. И все же Берит хотелось вскочить и убежать, но пошевелиться она не могла.

— Настоящая любовь беспощадна, Берит. В этом ее божественность. Она не довольствуется тем, чтобы просто быть, чтобы ею наслаждались. Она и просит, и требует.

— Я считаю, что любовь должна прощать, — урок религиоведения, девятый класс, доктор Шильд: «Любовь терпелива и приветлива».

— Христианские бредни.

— Что?!

Так он еще никогда не разговаривал. Вообще Даннер редко использовал подобные выражения. Берит заерзала на скамейке. Оцепенение спало, теперь ей просто захотелось уйти. Но Даннер вскочил и забегал перед ней туда-сюда. Она еще никогда не видела его таким, настолько взбешенным.

— Саския была моей женой, а я — ее мужем. Мы притерлись друг к другу, но никогда не забывали о своей цели.

Это прозвучало не терпящим возражения тоном, как проповедь. Подул ветер, не такой сильный, как дул до этого, начал моросить дождь. Берит вздрогнула, но промолчала. Она поняла, что Даннер ее не отпустит. Он должен был выговориться — во что бы то ни стало.

— Каждому человеку определено его существование. Поэтому все встречи предопределены. Люди реагируют друг на друга как химические препараты — в зависимости от характера всегда одинаково. Эту неизбежность называют любовью. Или ненавистью. Или равнодушием. Когда как. Мы с Саскией испытали все возможные химические реакции.

Берит подумала о химии — предмете, по которому у нее, как и у большинства девушек, были плохие оценки. Вспомнила преподавателя — маленького толстенького человечка, и то, как он наливал жидкости в реторты, добиваясь при этом самых неожиданных эффектов.

Иногда появлялась пена, иногда происходило окрашивание содержимого в разные цвета, иногда выпадал осадок, иногда ничего не происходило. Это развлекало, но не более того. Ей никогда не удавалось установить взаимосвязь между этими феноменами и формулами на доске. Когда они вместе со Стробо, что происходит с химической точки

зрения? Что-то вроде электрического разряда: все энергии сливаются и получается мегаэнергия. Белый свет, идущий наружу. Но это, скорее, физика. Растерянная, Берит молчала. Но Даннер говорил дальше, как будто ему было безразлично ее мнение.

— У нас была фаза страсти, фаза отрезвления, фаза борьбы, фаза разочарования. Наши отношения становились пресными.

— И вы не выдержали этого.

— Верно, — согласился Даннер. Он снова сел рядом с Берит, подняв лицо с закрытыми глазами к небу, как будто загорал. — Никто не может этого выдержать, тебе это тоже предстоит.

— И поэтому вы ее... — она не смогла закончить фразу.

— Говорят, никто не может быть для другого всем. Но я этого требую, понимаешь, Берит? Тот, кто со мной, должен быть со мной весь, без остатка. Я был целиком с Саскией. Ни разу не ходил налево за все годы. А она постоянно отдалялась.

— Но оставалась с вами, — возразила Берит.

— Она внутренне ушла далеко-далеко. Она никогда не рассказывала мне о том, что творилось в ее душе.

— Может быть, она боялась.

Даннер быстро покачал головой.

— Чего она должна была бояться, скажи на милость?

И вдруг Берит показалось, что она поняла. Все очень просто. У Даннера было свое представление о ней: свободолюбивая, понимающая, толерантная. Он *верил* в это. А Саския знала другого мужа, который приходил в ярость, когда она позволяла себе проявление свободы, который, несмотря на свои красивые теории, не мог держать себя в руках.

— Почему вы били Саскию?

— Я не бил ее. Иногда у меня поднималась на нее рука.

Берит ничего не сказала. Она знала, что это неправда, и Даннер знал, что она знала. Она же видела: его лицо без всякого выражения, глаза, глядящие в никуда, его яростные удары. Даннер повернулся и молниеносно схватил ее за оба запястья. Берит хотела вырваться, но он был намного сильнее.

— У нас с Саскией были особенные отношения. И не наша вина, что под конец они стали пресными. Мы прошли все стадии реакции. Все закончилось.

Берит стала ощущать что-то странное, возможно, к ней пришло понимание, но ей не хотелось ничего говорить. Она начала безудержно дрожать. Сколько они сидят здесь? Десять минут? Два часа?

— Мы оба чувствовали это, но не говорили об этом. Дело было исключительно в том, *как* это произойдет.

Берит попыталась посмотреть на часы, но циферблат оказался под пальцами Даннера, костяшки пальцев побелели — так крепко он схватил ее. Он впился в нее взглядом, и она, как зачарованная, смотрела в его глаза. У него длинные ресницы, немного веснушек, чуть заметный прыщик на левом виске. Зрачки маленькие, как дробинки.

— Мы должны были развестись. Об этом мы договорились.

Ей было уже все равно, который час, — она поняла, что не уйдет отсюда. Даннер выскажет ей все, и этого она не переживет. Ему теперь, в общем-то, нечего было терять. Его жена умерла, работы нет. У него нет будущего, нет друзей, никого нет. Ему, скорее всего, все равно, что случится потом. Он свободен, в определенном смысле. И все же он пленник, так

или иначе.

— Таков ход вещей. Умирай и рождайся, умирай и рождайся. Это всеобщий закон, и в первую очередь он действителен для отношений между людьми.

Умереть. Впервые в жизни Берит задумалась о смерти как о чем-то реальном, без всякого романтического ореола. Однажды она видела мертвеца, после автокатастрофы, из машины родителей — они медленно проезжали мимо места происшествия. Это был молодой человек, он лежал рядом с совершенно разбитым красным «гольфом», наполовину укрытый брезентом. Как будто о нем забыли суесящиеся вокруг полицейские, санитары, пожарные. С тех пор она знает, как на самом деле выглядит смерть. Не как в фильме, когда кадры сопровождается драматическая, грустная музыка. Реальность жесткая и банальная. Только что был человек со своими воспоминаниями, страстями, планами. И вот уже это просто телесная оболочка со стертым жестким диском вместо мозга. Ни на что больше не годный. Даже как мусор.

Берит увидела себя, лежащую лицом вниз в каком-то лесу, наполовину изъеденную червями, не вызывающую сочувствия, а только тошноту и ужас.

— Иногда легче сразу отрезать, чем долго прощаться.

Берит поняла: она умрет, не успев еще толком пожить, это точно. Даже не ощутив, что такое любовь.

И в этот момент она услышала за собой шорох чьих-то шагов.

Она испытала настолько сильное облегчение, что сердце на секунду остановилось и чуть было не потекли слезы. Она рванулась, и пальцы Даннера бессильно соскользнули с ее запястий.

— Оставь ее в покое, ты, свинья!

Это Стробо, его лицо искажено от ненависти. Никогда, никогда Берит даже мечтать не смела, что кто-то будет так разговаривать с Даннером.

— Ты, свинья, ты...

Даннер вскочил. Его лицо стало белым, словно это была маска. Он сделал рукой извиняющийся жест, но Стробо больше не обращал на него внимания. Он мягко коснулся плеча Берит.

— Вставай, мы уходим.

Стробо взял Берит за руку и потянул к себе, заставляя подняться. Его вязаные перчатки казались теплыми, живыми, приятными на ощупь. Ноги занемели и замерзли, и она вдруг испугалась, что не сможет пойти за ним. Но оказалось, что смогла. Даже побежала. За Стробо, через заросли, прочь отсюда. Забыть все. Забыть.

В квартире Фелицитас Гербер пахло несвежей постелью, испортившимися продуктами, холодным дымом и еще чем-то неуловимым. «Одиночеством», — подумал Фишер и невольно покачал при этом головой — как будто удивляясь себе и своим странным ощущениям.

Квартира находилась в пристройке к серой многоэтажке, возведенной в шестидесятых годах. Справа от маленького коридора были расположены две крошечные комнатки, а слева — кухня и ванная. Одна из комнат была наполовину выкрашена в желтый цвет, ведро с засохшей краской стояло открытым под окном. Мебели было очень мало, и выглядела она так, будто ее сделали из отходов. В первой комнате — стол и три пластиковых стула, а еще — выкрашенный в зеленый цвет буфет, во второй — узкая старая кровать из «Икеа»^[23], платяной шкаф оттуда же.

Постельное белье валяется на полу, простыня грязная. Серый дешевый ковер весь в пятнах и дырках, прожженных сигаретами.

Фишер открыл окно, хотя на улице было очень холодно. Действие чисто рефлекторное, он даже не совсем осознал, что сделал. Он был во многих квартирах, состояние которых было куда хуже, но они не производили на него такого гнетущего впечатления, как эта. В последнее время на него многие вещи стали производить сильное впечатление. То, что он не сумел уберечь Шаки, потому что на допросе не заметил, что он что-то скрывает. Потом эти неприятности с желудком. У него по-прежнему не было аппетита, он похудел на пять килограммов. Джинсы висели на нем, и вообще он чувствовал страшную слабость.

— Ганс, что там?

Фишер оперся на подоконник и издал странный звук. Ну, ему нужен свежий воздух, и что? Наконец он повернулся. Зайлер стояла прямо перед ним.

— Тебе нехорошо?

— Нет, все в порядке.

— Тогда закрой-ка окно. Жутко холодно.

Но Фишер не чувствовал холода, ему, наоборот, было жарко и душно. И это еще больше выбило его из колеи, ему и так уже казалось, что все проходит мимо него. Все у него не как у всех.

Он послушно закрыл окно, чувствуя спиной вопросительно-критичный взгляд Зайлер.

Но когда он снова обернулся, ее уже не было в комнате. Секунду он постоял в нерешительности, а потом в углу комнаты увидел что-то небольшое, накрытое пластиковой пленкой. Он осторожно снял пленку и увидел гончарный круг, а на нем — недоделанный глиняный сосуд.

— Мона! — крикнул он, сам еще не зная, зачем.

— Да?

— Иди сюда.

— Сейчас.

Фишер смотрел на круг, на сосуд на нем, и внезапно начал понимать. Он, не глядя, отбросил клеенку, которую все еще держал в руке, и сел на пол. За кругом, между двумя завернутыми в пленку кусочками дерева со следами свежей влажной глины, лежал кусок проволоки с двумя примитивными рукоятками на концах.

— Что случилось? — спросила Зайлер у него из-за спины. — Ты нашел что-то интересное?

Он, все еще сидя на полу, посмотрел на нее снизу вверх и улыбнулся.

— Ты помнишь тот фильм про гончара, который угробил всю свою семью проволокой?

— Что?

— Фильм ужасов. Я видел его, когда мне было двадцать лет или что-то около того.

— Ну и что?

Фишер протянул ей проволоку с рукоятками. Зайлер взяла ее в руки, все еще не понимая.

— Черт, Ганс, это же наше орудие убийства!

— Ага, — отозвался Фишер.

Он уже забыл о последних неудачных днях. Насчет орудия убийства он оказался прав.

— Она вся в...

— Это следы глины, — довольный, перебил ее Фишер. — Видишь сосуд? Он прилепливается на круг так прочно, будто он на клею, иначе над ним нельзя работать. А без этой проволоки его не снимешь. Поддеваешь его и тянешь на себя.

Зайлер улыбнулась.

— Это ты все видел в том фильме ужасов?

— Фильм был о гончаре, совершенно мирном типе, он переехал вместе со своей семьей в дом с привидениями. Ну и потом полтергейст свел его с ума, примерно как в «Сиянии». А потом ему явился его предок, которого обезглавили...

— Гарротой, — подсказала Зайлер.

Фишер улыбнулся.

— Да, именно. И однажды этот гончар совсем умом тронулся. Сначала убил жену, потом обоих детей. Убивал так, как был убит его предок.

— Проволокой.

— Да. Своеобразная замена гарроты. Жуткое зрелище. Головы отделял до плеч.

— Ну и фильмы ты смотрел, когда тебе было двадцать! Неудивительно, что ты такой хмурый.

Фишер решил ей этот выпад великодушно простить.

— Так что Гербер мы поймали.

— Это было бы замечательно, — сказала Мона. — Только она в бегах. И пока это лишь наши предположения.

Берит подставила стул под дверную ручку и положила сверху штук двадцать книг. Теперь дверь не откроет никто.

И повернулась к Стробо, лежавшему на ее постели и смотревшему на нее. Его взгляд был так чист и ясен, так любопытен и бесстрашен, что она на секунду почувствовала растерянность. Но потом что-то в ней решило: теперь все будет хорошо, что бы ни случилось. И у нее, чтобы насладиться осознанием этого, было достаточно времени.

Берит сделает то, чего так боится: предстанет перед Стробо, отдаст себя на его суд. Потому что сегодня вечером она должна узнать, как он относится к ней на самом деле. Теперь она настолько внимательна, что уловит любой нюанс, каждую фальшивую нотку, каждое критическое замечание. Ему не обмануть ее. Она медленно сняла свитер — черный, кашемировый, мягкий, как вторая кожа. Под ним ничего не было.

— Иди сюда, — сказал Стробо.

Он попытался улыбнуться, но смотрел на нее пристально и серьезно. Берит ласково улыбнулась и сняла юбку, сапоги, колготки. По всей комнате горели свечи — на столике между кроватями, на шкафу, на книжной полке, на письменном столе. Магическое освещение, оно делало ее красивее и одновременно неувереннее, потому что в этом мерцающем свете, в этих пляшущих тенях исчезали все границы.

— Иди же, — повторил Стробо, его голос прозвучал хрипло и глухо.

И она решилась.

— Раздевайся, — мягко сказала Берит и едва не засмеялась из-за поспешности, с какой Стробо стал выполнять ее просьбу.

Но она не позволила себе этого сделать, потому что чувствовала — секс со Стробо не может быть смешным. Пока еще нет. Снаружи кто-то стучал в дверь, кричал:

— Идиот, смотри в оба!

Но Берит не слышала ничего, кроме биения своего сердца.

Они стали на колени и медленно протянули друг другу руки. Оба знали, что это будет самый сладкий и самый сумасшедший миг — когда они впервые коснутся друг друга. Хотели растянуть этот момент. Наконец Берит коснулась Стробо, и в следующий миг они как сумасшедшие прижались друг к другу.

— О Боже мой, Берит! — тихо сказал Стробо, а потом, как во сне: — Я в тебе.

Из него полился поток слов, когда они с Берит нашли общий ритм: любимая, сладкая, самая красивая, я хочу иметь тебя часами, ты такая сексуальная, такая мягкая, такая красивая, у тебя все красивое, все...

Они хотели растянуть удовольствие, но не получилось. В последний миг черная река унесла Берит в никуда, и она испуганно ахнула от переполнявших ее чувств, которые были сильнее ее, и о существовании которых она не догадывалась.

Потом они вместе наелись бутербродов с «Нутеллой». Потом покурили. Потом снова переспали, на простыне, полной крошек, хихикая и безумно желая друг друга.

Потом разговаривали. Свечи гасли одна за другой. Скоро отбой, Стробо давно должен был уйти, но они все никак не могли расстаться.

— Ты счастлив?

— Глупый вопрос.

Больше ничто не стояло между ними. Ничто не могло разлучить их.

Полтора часа спустя Мона припарковала машину примерно в полукилометре от дома. Моросил дождь, снег таял, капало с крыш. Мона взяла портфель, сегодня он был в два раза тяжелее, чем обычно, потому что в нем лежали двадцать толстых тетрадей в черном переплете. Дневники Фелицитас Гербер, которые нашли Мона и Фишер в самом низу буфета, были хорошо спрятаны за чашками с отбитыми ручками, бутылочками из-под лекарств, тубиками из-под моментального клея и высохшими фломастерами. Записи, насколько можно было судить, все не датированные, но написаны чистым, четким почерком.

Половина двенадцатого, и, возможно, Моне предстояла еще долгая ночь. Зависит от того, насколько правдивыми окажутся записи. Может быть, Фелицитас Гербер записывала только свои галлюцинации, тогда эта находка не имела никакой ценности, но она могла описывать свои предполагаемые поступки — тогда у Моны в руках самая важная улика,

которой пока располагает КРУ 1.

Мона взяла портфель в правую руку, зонт — в левую, и при этом маневре ключ выпал из ее руки на мокрый асфальт. Ругаясь, она положила портфель на мокрую крышу машины и нагнулась за ключом. Ее руки слегка дрожали, когда она выудила ключ из сточной канавы. Вдруг ей показалось, что она услышала шорох, как будто кто-то был рядом с ней. Но это, скорее всего, шалили нервы. Она страшно устала, что совершенно было нормальным на данном этапе расследования. Такие нагрузки кого хочешь с ума сведут. Просто перестаешь думать, достаточно ли ты спишь и ешь. Это все мелочи — когда видишь первые плоды своих усилий и понимаешь, что конец близок.

«Ты просто слишком наивна, совершенно не видишь, что эти ребята тебя используют». Она стояла перед матерью, которая снова ухитрилась улучшить момент, когда она чувствовала себя откровенно. Никто, она просто никто. Все были бы счастливее, если бы ее не было. По крайней мере, если бы она была не такой, какой есть. Пухленькой, с плохой кожей и характером, который отпугивает людей.

Она — это, должно быть, Фелицитас Гербер. Или все же нет? Это ненормально — писать о себе в третьем лице, как будто речь идет о ком-то другом? На секунду Моне пришла в голову страшная мысль, что с ней сыграли злую шутку. Что, если имя Фелицитас Гербер так и не появится в этих записях? Что, если речь идет действительно не о ней? Что, если это просто проба пера Гербер? Что, если она купила эти тетрадки на барахолке?

О любви она знала из книг и фильмов. Она была счастлива, когда Ретт Батлер и Скарлетт О'Хара сошлись той ночью, когда Ретт не смог больше сдерживаться и взял Скарлетт так, как уже давно хотел: страстно, силой, не думая ни о чем. Она плакала, когда во время тяжелой болезни Скарлетт Ретт сидел у ее постели. И она едва сумела пережить боль, когда из-за этого жуткого недоразумения он ее все же бросил. Потому что ему надоело страдать. Потому что Скарлетт слишком поздно поняла, что он и есть тот самый, единственный.

Она искала такой любви в собственной жизни, но ее не было. В ее жизни любовь выглядела так: она добивалась человека, а человек в лучшем случае терпел ее. Никто не искал ее дружбы, ее расположения. Почему так было? Она не знала этого. Она рассматривала себя в большом зеркале в спальне родителей и видела девушку, ничем не отличающуюся от других девушек ее возраста. То есть то, что отдаляло ее, делало чужой, было невидимым. Может быть, нужно научиться рассматривать это не как недостаток, а как достоинство? Но, утешая себя этим, она уже поняла, что ничего не сможет сделать. Она ощущала любовь только в постели, на заднем сиденье машины, в потаенных местах в лесу. Стонущая и пьяная. Тогда, когда ребята теряли в ней себя, забывали себя, когда их лица на несколько минут становились мягкими, удивленными и беззаветно преданными.

* * *

Ее детские воспоминания были во многом отрывочны. Она помнила соседскую девочку,

которая была на пару лет старше ее, она ею восхищалась. Они ходили в школу одной и той же дорогой, и каждый раз, когда они встречались, она с надеждой улыбалась этой девочке. Но та ни разу не ответила на ее улыбку.

* * *

Когда ей было восемь лет, у нее было две подруги. При возникновении каких-либо недоразумений они заключали против нее союз. Лица у них при этом были ехидные — они знали, что причиняют ей боль. Им нравилось причинять ей боль.

Если что-то было не так, она всегда оставалась одна.

И так страница за страницей, бесконечный поток безрадостных человеческих переживаний. Разобраться было трудно, Мона не могла понять, когда что было написано. Пока она не обнаружила ни единого слова об Иссинге, Португалии, Симоне, Шаки или Даннере. Между тем уже было три часа утра. Мона сидела на полу, вокруг нее были разбросаны тетради, глаза буквально слипались. Завтра равно утром все придется начинать сначала.

Завтра? Сегодня!

Зевнув, она схватила какую-то тетрадь — последнюю на сегодня, решила она — и стала продирается сквозь строчки на пожелтевших, густо исписанных страницах. По почерку хотя бы понятно, что речь шла об одном и том же человеке.

... Черные дыры в белых скалах. Песок настолько горячий, что печет даже сквозь кожаные подошвы сандалий. Теперь она была у цели, но ее опять охватил страх, ее постоянный спутник. Может быть, ее здесь вовсе не ждали. Может быть, Симон приглашал ее не всерьез. Но зачем тогда он так точно описал ей дорогу, почему несколько раз взял с нее обещание, что она точно придет?

Она улыбнулась от этой мысли и пошла быстрее. Она чувствовала, что предстоящие несколько недель изменят ее жизнь. Она была готова к этому приключению.

Все началось с небольшого разочарования. Когда она, наконец, обнаружила пещеру, в которой жили Симон, Шаки и другие, все крепко спали. С нежностью смотрела она на их умиротворенные, уже сильно загоревшие лица, их стройные крепкие тела. Она с облегчением опустила на землю рюкзак. Вдалеке звало море, поэтому она надела купальник, бросила на друзей еще один взгляд и, взяв полотенце, побежала к морю. Прикосновения прохладной воды напоминали объятия, и она с наслаждением им отдалась. Она ныряла в волны, чувствовала, как распустились ее пропотевшие волосы, как вода смывала с нее грязь последних дней. Она немного поплавала, потом позволила волнам отнести себя на берег и, как была, мокрая, улеглась на полотенце.

Минут через десять она вскочила: она уснула под палящим солнцем. К счастью, она не обгорела. Она еще раз окунулась и пошла к пещере.

Тем временем они проснулись. Встретили ее приветливо, хотя и не слишком восторженно. Но это она могла понять, потому что она ведь даже не могла сообщить, придет ли. Может быть, они уже и не ждали ее. И всем теперь нужно было привыкнуть к новой ситуации. Они предложили ей выпить и закурить, потом все вместе пошли в бар на

пляже чего-нибудь перекусить. Хозяйка подала специально для нее фирменное вино, и под конец она действительно развеселилась. Вечером она заползла в спальник с сознанием того, что поступила правильно. Даже несмотря на то что именно Симон вел себя так, как будто внезапно пожалел, что пригласил ее.

Второй день начался поздно, уже около одиннадцати. Она чувствовала, что мышцы побаливают, остальным, казалось, было не лучше. Стояла такая жара, что было трудно дышать. Ветер совершенно стих, море блестело как зеркало, солнце сияло на мглистом небе. Они со стонами выползли из спальников и выкурили по первой сигарете. Миха поставил воду на горелку, Симон положил в пять грязных чашек «Нескафе» и сухое молоко: это был их завтрак. Она улыбнулась, хотя Симон совершенно забыл о ней. Но из таких чашек она все равно не стала бы ничего пить. Она решила, что будет заботиться о чистоте. Пещера была похожа на лагерь беженцев. Повсюду валялись грязные вещи, пластиковый пакет для мусора страшно вонял, песок смешался с хлебными крошками и табаком. Потом она обязательно займется уборкой.

— Ты купаться пойдешь? — спросил Симон, уже надевший плавки.

— Да, с удовольствием, — ответила она. — Я сейчас быстренько переоденусь.

— О'кей, мы пойдём вперед.

И пещера внезапно опустела. Она не торопясь надела купальник. Узкий. Слишком узкий. Она расстроено посмотрела на свои ноги, казавшиеся чересчур белыми и жирными, в отличие от загорелых тел остальных. Нужно сделать все, чтобы как можно быстрее загореть. И похудеть.

Наконец она взяла себя в руки и побежала к ребятам, которые уже резвились в воде, без нее. Потом она увидела, что Миха стоит на берегу и приветливо улыбается ей. Он бросил ей фризби (и она его, к собственному удивлению, поймала), и вдруг все стало просто. Она бросила фризби Симону и с воплем ликования прыгнула в воду. Остальные засмеялись. И вот она уже с ними.

Вечером они сидели у костра, ели хлеб, сыр, салями и оливки. Бутылка вина ходила по кругу, а на десерт была трубка, набитая тайской травой. Первоначальная расслабленность уступила место задумчивости. Началась дискуссия на тему «быть собой».

Симон: «Самое абсурдное состоит в том, что общество требует, чтобы ты носил маску. А потом делает все, чтобы ты ее сбросил. Чтобы ты стал беззащитным».

Шаки: «Надел маску — значит, ты в состоянии функционировать в этом мире. Но всегда есть люди, которым совершенно не нужно, чтобы ты функционировал».

Миха: «Ты можешь это делать, пока пытаешься доказать миру, что функционируешь по его законам. Но кто тебе сказал, что ты должен это делать?»

Роберт: «Все так говорят. Словом или делом, все равно».

Миха: «А даже если так, Роберт. Не нужно следовать любому приказу, кто бы его ни отдавал. Ты можешь быть собой в любой ситуации. Нужно только на это решиться. Решиться сказать: вот он я, я не притворяюсь, меня можно обидеть, я агрессивен — это я. Принимайте меня таким или оставьте в покое».

Симон: «И получишь по голове. Мы знаем, как это происходит».

Миха: «В этом-то и дело. Ты-то сам уже пробовал, Симон? Совершенно сознательно встать и сказать: или вы принимаете человека, которого видите и чувствуете, или можете продолжать и дальше мечтать о фантоме? Ты уже так делал? Пытался хотя бы?»

Симон: «Нет. Я часто хотел так поступить, но каждый раз вмешивался рассудок».

Миха: «Рассудок! Да выключи ты его, твой драгоценный рассудок. Слушайся тела. Тело знает, что для тебя хорошо. Для меня, например, хорошо сейчас положить голову на мягкие коленки. Это мое тело знает совершенно точно».

Миха положил голову ей на колени и улыбнулся ей снизу вверх. Она чувствовала себя замечательно. Казалось, все придвинулось к ней, как зябкие маленькие птицы, ищущие укрытия. Воцарилась тишина, нарушаемая только плеском волн вдалеке.

Потом она услышала голос Симона, хриплый и сонный:

— Давайте еще сходим к морю.

Они медленно поднялись на негнущихся ногах, у них слегка кружились головы. Ей ее голова казалась легкой, как воздушный шарик, готовый улететь. Миха взял ее за руку, когда они босиком шли по прохладному песку к воде. Он шел медленнее, чем остальные, и в какой-то момент обнял ее. Прошептал: «Пойдем, я знаю одно чудесное местечко для нас двоих. Там мы сможем купаться в лунном свете».

Она обрадовалась этому предложению, хотя ей не очень хотелось отделяться от группы. Ей так было хорошо вместе со всеми. Но Миха легонько укусил ее за ухо, она вздрогнула от прилива страсти, и пошла вслед за ним к скалам, на которые набегали волны. Миха вел ее за руку, поддерживал, когда она спотыкалась, и наконец они пришли на небольшое плато, которое, как он и обещал, было залито лунным светом.

Когда они вернулись, остальные уже залезли в спальники. Миха легонько поцеловал ее в губы и погладил по щеке. «Было чудесно», — прошептал он. Она не смогла ничего сказать в ответ. Она была счастлива и одновременно... Она не знала. Еще долго записывала в тетрадку, при свете фонарика, а остальные уже спали. Эта потребность — записывать переживания и опыт — появилась у нее лет с двенадцати или тринадцати, как будто это могло ей как-то помочь. Может быть, так оно и было.

* * *

На третий день она чувствовала себя растерянной, потому что Миха, хоть и был с ней приветлив, едва замечал ее. Зато Шаки был с ней особенно нежен, принес утром кофе в почти чистой чашке, когда она еще была в спальнике, держался к ней поближе, при каждой возможности обнимал... Вечером они поехали ужинать в «Фаро», большой, шумный, освещенный неоновыми лампами ресторан, где им подали устриц в чесночном соусе... Ночью Шаки пришел к ней, забрался в спальник, и они делали это тихонько, чтобы другие не слышали... Поцелуи Михи были грубыми и требовательными, поцелуи Шаки — мягкими и влажными. Она не знала, что ей нравилось больше, возможно, и то и то было одинаково... хорошо. Вечером они говорили о том, как важно набираться опыта. Миха сказал, что ощущение неудовлетворенности и боли зависит от оценки. Как только перестаешь оценивать, тут же перестанешь быть несчастным.

— Но и счастливым быть тоже не сможешь, — сказала она.

— Почему же нет? Ты можешь быть счастливой благодаря всему, что дает тебе новый опыт. Это исключительно твое решение — принимать жизнь с распростертыми объятиями, такой, как она есть, всеми чувствами, или нет.

— Хорошо, но один опыт более приятен, другой менее. Это так, и ничего тут не

поделаешь.

— Вот именно, что нет! Это фундаментальная ошибка западного человека, обусловленная христианскими догматами. Мы оцениваем и осуждаем, потому что рождаемся в религии, которая возвела это в максимум. Мы оцениваем и осуждаем, вместо того чтобы жить и принимать все, что приходит.

Когда она задумалась над этим, то вынуждена была признать, что он прав, даже в том случае, когда речь шла о ней. Откуда берутся душевные страдания? Из-за того, что она принимает суждения и оценки других людей за свои. Другие представляли ее вполне определенным образом. Они считали, что ее бытие, как выразился Миха, не совсем в порядке. И она начала видеть себя глазами других. Но то, что видят другие, просто ничего не значит, ведь речь идет о ее жизни. Что-то значит лишь ее собственное мнение. А она может считать, что все в порядке, даже если другим это не нравится.

Страшно освобождающая мысль.

На четвертый день пришла очередь Роберта. Она уже привыкла к смене партнеров, она была, как сказал Миха в первый день, женщиной, имеющей гарем из пяти мужчин. У Михи были такие гениальные идеи, что открывались двери в неизведанные пространства собственных мыслей. Теперь она старательно следила за тем, чтобы ничего не оценивать, а если сомневалась, то старалась оценивать с положительной точки зрения. Она уяснила: это работает. Все, все зависит от того, как на это посмотреть! Жизнь — длинная река, и она отдалась ее течению, вместо того чтобы постоянно с ним бороться. Каким все становится легким, если перестать думать и просто быть!

Любовь, к примеру. Если исходить из предпосылки, что ни один человек не может принадлежать другому, то открываются безграничные возможности — встречать других людей и превращать любовь в чистую энергию.

Роберт был неловок и, очевидно, более неопытен, чем остальные. Он был первым, кого она сама отвела в то место, которое нашла еще в первый день. Клочок песчаного берега между двух скал, места как раз достаточно для двоих. Роберт был неловок и сделал ей больно, но это не страшно. Когда он кончил, его лицо исказилось, и он громко застонал, почти что закричал.

* * *

Шестой день. В этот день ей пришлось серьезно поработать над собой, но это была хорошая тренировка: не оценивать, не осуждать. Она купалась одна и, очевидно, пришла раньше, чем ожидали ребята, по крайней мере в пещере ее не заметили. Все смеялись. Обрывки слов долетали до ее ушей, и не слушать она не могла. Они смеялись, и звучало это несколько иначе, чем когда она была с ними.

— Какой она была с тобой?

— Влажной и гладкой...

— ...давала...

— Ты свинья...

Все снова казалось зыбким, но ударение она поставила на слове «казалось». Ей было хорошо, все эти дни ей было хорошо, и только от нее зависело, будет так продолжаться или она снова замкнется в себе, обидится на всех, как всегда. И, таким образом, окажется

отрезанной от всего, что может ее расшевелить.

Никогда больше она не сделает этой ошибки. Эти каникулы — она чувствовала это с самого начала — изменят ее жизнь, и не могла же она всерьез думать, что это будет легко. Боль, сказал Миха, — неотъемлемая часть жизни. Она сказала боли «да».

Она сказала боли «да», и это было хорошо, потому что боль была ее другом.

** * **

Симон был единственным, кто продолжал ее игнорировать. Он не приходил к ней, в отличие от других. Она не знала, почему так было, да и не хотела знать.

** * **

Они все время крутились вокруг нее, часто вдвоем или втроем. Они спорили о том, кто будет сидеть рядом с ней, кто первым поцелует ее, кто потом, кто будет третьим. Они поили ее красным вином и накачивали наркотиками, они гладили ее, нежно брали за грудь, массировали ей спину... Женщина и мужской гарем... Иногда ей было просто слишком много, но, с другой стороны, она чувствовала, как ей недостает нежности, и вот наконец появилась возможность... «Мы любим тебя», — говорили они ей, и она отвечала: «Я вас тоже».

** * **

Тринадцатый день. Она совершила ошибку. Она подвела их, не смогла.

Все закончилось.

Зажатая коза.

Жирная корова.

Всем дает, а теперь заупрямилась. Смешно.

Она совершила ошибку. Слишком, это было уже слишком. Женщина не может держать гарем, для нее это уже чересчур.

Но они так жестоко наказали ее, так жестоко! Почему они это сделали?

— Я не думаю, что это было изнасилование, — заявила Мона. — Принуждение — да. Но не изнасилование.

— Так или иначе, — сказал Фишер, — по давности лет...

Было утреннее совещание, большинство собравшихся старательно подавляли зевки. Через окно в комнату падал холодный светло-серый свет, и так как лампы дневного освещения тоже были включены, все были похожи на страдающих от болезней желудка.

Нового мало. Во-первых, Фелицитас Гербер по-прежнему не обнаружили. Врачи психиатрической больницы, где она проходила курс лечения, предполагают, что она в данный момент слоняется по улицам, потому что и раньше бывало, что ее ловили за бродяжничество и доставляли к ним. Поиски среди бомжей и наркоманов пока ничего не дали.

Во-вторых, в газетах напечатали историю Симона Леманна, без особых подробностей, даже с фотографией, но они не указали полностью его фамилию, по этическим соображениям, как обычно. Симон Л. Это Фелицитас Гербер ни о чем не скажет, и, таким образом, Симон Леманн в качестве наживки оказался бесполезен. Но охрану не сняли — так велел Бергхаммер. Потому что никогда не знаешь...

В-третьих...

— Что в тех тетрадках? — спросил ПГКУП Кригер и зевнул, не прикрыв рот. — Извини. Он покраснел. Никто не засмеялся. Смеяться никому не хотелось.

— Тетрадь, где она описывает то, что было в Португалии, я нашла. То, что там написано, совпадает с тем, что содержится в письме Амондсена, и с тем, что рассказал Леманн. Гербер явилась в это португальское захолустье на берегу моря, и сначала ей никто не обрадовался, потом вспомнили, что она может пригодиться для сексуальных развлечений. Затем все пошло по их плану.

— Что это значит?

— Так, как они представляли себе это до поездки.

— А как именно?

Мона колебалась. Внезапно она почувствовала усталость, разлившуюся по всему ее телу как свинец. Ей так хотелось уронить голову на руки. Или выплакаться. Или принять горячую ванну и проспать двое суток подряд. Или купить билет на самолет и махнуть на Сейшелы или Мальдивы.

Но дело было не только в том, что она устала. Эта Гербер сидела у нее в печенке, а ведь они даже не были знакомы. Одних ее записей хватило, чтобы Мона с четырех часов до половины седьмого провалялась на кровати без сна. Пока будильник не возвестил начало нового двенадцатичасового рабочего дня.

Охотнее всего она сейчас встала бы и вышла. Но вместо этого сказала:

— Они представляли себе, что как следует поймеют Гербер.

— Поймеют?

О Боже мой, Кригер же знаком с показаниями Леманна!

— Будут иметь с ней половой контакт. В интернате у нее была слава девушки легкого поведения, считали, что она ляжет в постель с любым. Поэтому Леманн заранее сказал ей, куда они едут. И все получилось именно так, как мальчики и хотели. Фелицитас Гербер

приехала спустя неделю, и они занимались с ней сексом. Сначала по очереди, потом договаривались. А потом все сразу.

— Как? Одновременно?

— Как это? Один за другим, я так думаю. В этом месте ее записи становятся невнятными. Только ключевые слова и намеки. Посмотрите сами, я отметила в тексте. Я думаю, она вдруг почувствовала, что это чересчур, она поняла, что ее не любят, а просто используют. Для нее это было, вероятно, шоком.

— Но она должна была понимать, на что идет.

Мона взглянула на Кригера и подумала: такое может прийти в голову только мужчине. И сказала:

— Из записей становится ясно, что она об этом даже не догадывалась. Пожалуй, она вбила себе в голову, что все действительно любят ее. Как человека, я имею в виду. Возможно, она просто не хотела видеть правду, я не знаю.

— А потом?

— Потом она уехала, в расстроенных чувствах. В любом случае, на этом месте записи обрываются, остальные страницы в этой тетрадке чистые. В других тетрадках тоже больше ничего не написано о Даннере, Шаки, Амондсене, Леманне, о Португалии. И, что странно больше ни слова об Иссинге.

— Может быть, каких-то тетрадей не хватает, — предположил Фишер.

— Все может быть.

— А как насчет событий, менее отдаленных по времени?

— Я уверена, что записей в последние годы она не делала. Она еще кое-что записывала о своих... галлюцинациях. О том, как лежала в психиатрической клинике. О своей жизни, довольно одинокой. О любовных историях, которые не имели продолжения. Иногда о политических событиях.

— Ничего о настоящем времени? Об убийствах?

— Ни слова. Самая «свежая» тетрадка относится ко времени падения стены.

— Высказывает свое отношение?

— Да. Но очень... в литературном стиле, пожалуй. Она сравнивает это со своей ситуацией, со стеной в ее голове, которую она не может убрать, а если и разрушит, то разрушит саму себя... Могу зачитать.

— Это не обязательно, — сухо сказал Кригер.

Его круглое лицо омрачилось. Только что казалось, что они идут по горячему следу.

— Это изнасилование, или, если вам угодно, принуждение, когда было, напомните?

— Летом 79-го.

— Целую вечность назад.

— Точно.

— То есть прошло много лет, и эта женщина вдруг решилась на кровавую месть. Почему именно сейчас, скажите на милость?

Кригер обвел всех взглядом.

— Она же в бегах, — робко сказал кто-то.

— В бегах! Это мы так думаем. Она бродит где-то, даже не зная, что мы объявили ее в розыск, а вообще-то ее место в больнице. Не первый же раз она живет на улице.

— Да, — согласилась Мона, — но такое совпадение едва ли можно считать случайностью, не так ли?

— Может быть, мы просто знаем не обо всем, что произошло, — предположил Фишер. — Я имею в виду, между ней и мальчиками. Может быть, все это имеет продолжение.

— Может быть.

Из уст Кригера это прозвучало иронично и не без горечи. Сегодня во второй половине дня в отделение явится Бергхаммер и захочет получить отчет, подтверждающий, что расследование продвинулось. Информацию, которую можно было бы использовать на ежедневной пресс-конференции.

Самое отвратительное — просыпаться. Каждый раз ей требуется не один день, чтобы мыслительный процесс набрал нужное число оборотов, чтобы можно было как-то жить в реальном мире. Голоса постепенно становились тише и тише, пока не превращались в шепот, потом оставляли ее, и она ощущала себя предметом, выброшенным на песок морем. Странно: когда голоса приходили, она была им не рада, как незваным гостям, а когда они, наконец, отступали, она чувствовала себя опустошенной и одинокой как никогда.

Она не все забыла. Были островки воспоминаний. Когда она закрыла Конни глаза. Когда она в последний раз погладила Шаки по щеке. Когда она перевернула Роберта на спину, чтобы он под дождем не был похож на человеческий мусор, брошенный и забытый. Это были последние знаки любви, которую она могла им отдать. Ведь она была жива, а остальные нет. Она всех их пережила. Хорошее чувство, хотя она и не понимала, откуда оно взялось. Что могла изменить смерть любимых и ненавидимых друзей лично для нее?

Ответ был странным: все. В лучшую сторону.

В эти моменты у нее прояснялось в голове. Все остальное было черной, красной, желтой пустотой.

Она была грязная, и, вероятно, от нее плохо пахло после всех этих (кстати, сколько их прошло?) дней без душа. Она похудела, потому что времени на еду практически не было. Теперь она мерзла на холодном ветру. Пора было идти домой. Она сделала все, что могла.

Она огляделась. Она стояла неподалеку от колонны Марии, между палатками рождественского рынка. Люди толпились перед входом в универмаг. Все волокнистые пакеты и сумки. Множество людей в пальто, стеганых куртках, анораках, кожанках пили глинтвейн за высокими столиками, ели бутерброды с рыбой, с которых свисали бледные кусочки лука. На светящемся табло над ратушей она увидела дату и время: 8 декабря, 17:03. Скоро Рождество, и она снова проведет этот день одна, как уже много лет подряд.

Но сейчас мысль об этом не задела ее. Она была сильно измотана, но для ситуации, в которой находилась, настроение у нее было хорошее. Несколько секунд ей потребовалось, чтобы понять: впервые за долгое время она самостоятельно вышла из *бессознательного состояния*. Без лекарств, без врачебной помощи. Она никогда не думала, что это еще возможно. Классно!

Взбодрившись от этих мыслей, она стала пробираться сквозь толпу. У нее в кармане еще оставалось несколько купюр. Она бы с удовольствием что-нибудь съела, а затем пошла бы домой. А там она будет в полной безопасности и, успокоившись, разберется со своей жизнью так, что снова увидит в ней смысл. Например, найдет себе работу. Ничего особенного. Важно, что ей будут платить за то, что она будет делать сама, — именно она и никто другой.

Но сначала — она это ясно понимала — она должна в последний раз разобраться с прошлым. Прошлым, которое годами держало ее за горло. Прошлым, которое позволило умереть в ней всему замечательному: мужеству, веселью, оптимизму. Потому что разочарование было таким ужасно пошлым и болезненным. И потому что любовь из нее, несмотря ни на что, не хотела уходить. Любовь, живущая в ней, не хотела видеть то, что видели все. Любовь заставляла ее принимать фальшивки за чистую монету. Любовь бушевала в ней, как болезнь. И поэтому нужно было теперь задать себе вопрос: в чем же ценность этого вроде бы благородного чувства? Чего стоит любовь, если она может ввести человека в заблуждение?

Любовь ослепляет и отупляет. Любовь не показывает ценность человека, она просто делает вид, что она есть. Она запутывает, вместо того чтобы прояснять. Она никогда не бывает честной и чаще всего несправедлива. Поэтому ею можно — нужно — пренебречь. Любовь не принесла ей счастья, только неизлечимую путаницу в мыслях. Любовь навредила ей. Любовь — это полная противоположность познанию. Поэтому любовь вредна для таких людей, как она.

Она пошла в переход метро, направляясь к булочной «Рихардс». Когда она ехала на эскалаторе, зажатая между подростками в джинсах и куртках из кожзаменителя, посмотрела на себя со стороны: как она чувствует себя в этой ситуации? Испытывает ли она агорафобию? Вроде бы нет. Все нормально. Очередь в булочную она тоже выстояла без проблем. Взяла кусок шоколадного торта, который стала торопливо есть, и снова пошла на эскалатор. Она решила идти домой пешком: ей доставляло огромное наслаждение знать, где она находится. И видеть, и слышать действительно только то, что видят и слышат все.

Тогда... Все шло к развязке, к последнему столкновению. Они — Конни, Шаки, Миха, Симон, Роберт — наседали на нее все сильнее, как будто хотели добиться от нее того, чего не могло быть. Они больше не давали ей спокойно покурить, поесть, расслабиться. Они всегда были рядом: когда она шла купаться, в кафе, в туалет. Всюду, даже на людях, они целовали ее, трогали ее, приставали к ней. Когда она пыталась вяло защититься, как эхо раздавались хриплые голоса: «Эй, да брось ты, мы же тебя любим». Это было их паролем, который открывал все двери. Как будто таким образом ее можно было запрограммировать — впрочем, так оно и было. Стоило заговорить с ней о любви, и она становилась послушной, как марионетка.

Но, возможно, им нужно было, чтобы она, наконец, взорвалась. Может быть, это было их тайной целью: вывести ее, чтобы она все испортила.

Слишком много времени ушло у них на попытки представить все в выгодном свете. Женщина и мужской гарем — все было ложью, не было у нее никакого гарема. Она была только пешкой в игре, которую они придумали. В той, которая, возможно, стала им не по силам.

Тринадцатый день.

Она проснулась раньше всех. Солнце уже взошло, но на пляже еще не было ни души. Она осторожно выбралась из спальника, чтобы никого не разбудить. Хотя бы часок-другой ей хотелось побыть одной, чтобы ее никто не трогал, не приставал: рай. Она взяла полотенце и, согнувшись в три погибели, стала выбираться из пещеры, мимо пластиковых бутылок, испортившихся остатков еды, грязных вонючих носков и не менее грязных кроссовок.

Это был самый лучший момент за все последние дни, когда она, наконец одна-

одинешенька, нырнула в море, такое тихое в это время, такое неподвижное — как озеро. Она заплыла далеко, и берег в утренней дымке уже был едва виден.

Но в какой-то момент силы стали покидать ее, и пришлось возвращаться к любимым мучителям (так она называла их про себя, упрощая ситуацию, как обычно). Она поплыла обратно, и на сердце стало тяжело.

Так не может дальше продолжаться.

Но она же ничего не делала!

Ты позволяешь делать это с собой. Но становится только хуже.

Да. Какие-то запреты она должна была ввести. Ей не нравились грубые поцелуи с языком, и не нравилось, когда ее лапали, и секса каждый раз с другим парнем ей тоже больше не хотелось, она уже и так их путала. Ей было противно постоянно стонать от страсти, которую она больше не ощущала. Она знала, чего не хочет. Но чего ей хотелось вместо этого?

Она вышла из воды, все еще не зная, что делать. Навстречу ей шел Конни, он улыбался, у него была такая сияющая теплая улыбка, что она забыла обо всем: о своем недомогании, о чувстве, что ее принуждают, о только что принятом решении больше не позволять делать с собой все, что им хочется. Конни поднял ее полотенце и протянул его ей.

— *Мы скучали без тебя.*

Выражение его лица было приветливым, а голос звучал слегка возбужденно. И снова она ничего не сказала о своем недовольстве.

— *Мне очень жаль. Но вы еще спали.*

— *Тебе не нужно извиняться. Кстати, ты только это и делаешь.*

— *Что?*

— *Извиняешься. Это нормально — то, что ты существуешь, что у тебя есть свои желания.*

Когда они медленно шли к пещере, она, задумавшись, искоса посмотрела на Конни. Солнце уже начинало припекать. По лицу Конни нельзя было ничего понять. Что он имел в виду? Что он хотел этим сказать? Что-то подсказывало ей, что он хотел сказать ей нечто, касающееся только ее.

— *Что ты имеешь в виду?* — решила спросить она.

Конни повернулся к ней, открыл рот, но прежде чем он успел что-то сказать, они услышали, что остальные зовут их.

— *Идите сюда, люди! Мы хотим есть.*

Конни больше ничего не сказал, сжал губы и пошел быстрее. Ей ничего не оставалось, кроме как пойти за ним.

Когда они подошли, остальные стояли перед пещерой, готовые отправиться в кафе на другом конце пляжа.

— *Идите вперед, я переоденусь в сухое.*

Пару минут ее никто бы не трогал. И ей даже пришла в голову идея, как эти минуты использовать. Сбежать из этого плена, как она, наконец, решила это назвать.

Но Миха, как будто догадавшись, что она задумала, сказал:

— *Мы с удовольствием подождем тебя.*

И Конни, который, по крайней мере, пока они шли с берега к пещере, был ее союзником, присоединился к остальным, разорвав их некрепкий союз. Они выстроились шеренгой, мимо которой она прошла с опущенной головой и вымученной улыбкой. Они

стояли стеной и бросали на нее жадные взгляды, пока она переодевалась. Она не взяла полотенце, чтобы прикрыться, потому что они все равно хорошо знали ее, видели все ее прелести. У нее больше не было ничего своего, ничего интимного. Они исследовали и захватили каждый сантиметр ее тела, и ее душа, казалось ей, тоже была во власти захватчиков.

Но она промолчала. Она послушно натянула джинсы и последнюю более-менее чистую футболку. Улыбаясь. Как будто все было в порядке. Как будто обязана была им подыгрывать. Как будто никто не должен был заметить, каково ей на самом деле. Никто, даже она сама.

«Что было бы, — спросила она сама себя много лет спустя, когда шла по промерзшей пешеходной зоне с куском шоколадного торта в руке, — что было бы, если бы она тогда ушла? Если бы она сказала: «Вы как хотите, а я так больше не могу», — и тут же уехала бы?» Теперь она была уверена, что они отпустили бы ее, без всяких «но». Им уже и самим не нравилась эта игра. Они просто ждали, чтобы кто-нибудь сказал: хватит.

Почему она не использовала этот шанс, когда еще не было слишком поздно?

Потому что тогда пришлось бы признаться самой себе, что две недели она позволяла себя использовать по доброй воле. Что она дала себя уговорить. Что она вела себя легкомысленно и простодушно и тем самым вызвала такое отношение к себе.

Ну, поскольку все, кроме Симона и Михи, мертвы, всем, кто был свидетелем ее позора, теперь пришло время уяснить, что она чего-то стоит. Она пошла быстрее, ее мысли все еще крутились вокруг последнего дня, когда все началось или закончилось — смотря как посмотреть.

После того как они позавтракали галао и сладкими рожками с маслом, они вернулись в пещеру. На пляже тем временем сталолюдно, песок был раскаленным, и когда она закрывала глаза, появлялись пляшущие круги. Вдруг все стало невыносимым, все, что еще пару дней назад казалось ей «раем». Рай. Именно это слово использовала она, а теперь оно казалось ей фальшивым и затасканным.

Но на этом ее мысли прервались. Снова она почувствовала руки — слева и справа, на плече — на этот раз это были руки Шаки и Роберта. Они разговаривали через ее голову, речь шла о синтезаторе, который хотел купить Шаки. Они обменивались сведениями об инструментах разных фирм. Она не слушала. Впереди шли Конни, Миха и Симон. Симон постепенно стал вести себя по отношению к ней так же, как и все остальные. Ничего не осталось от их особенных отношений, от того, что их объединяло. Симон, казалось, отбросил все, как старые тапочки.

Было уже около одиннадцати, когда они пришли в пещеру и тут же попадали на спальники. Она вздохнула, надеясь, что, может быть, они теперь заснут и оставят ее в покое. Шаки начал: встал и бросил свой спальник возле нее.

— *После еды нужно покурить или женщину полюбить.*

Конни присоединился к ним, потом Миха, потом Симон, последним был Роберт. Они окружили ее и начали медленно раздевать. Каждый снял одну вещь, пока она не осталась совершенно голой. Она не сопротивлялась, хотя ей хотелось уйти, сейчас же уйти. Первая рука оказалась у нее на груди, вторая — на животе, который показался ей жирным и отвратительным (в последнее время она слишком много ела, хотя собиралась на каникулах начать худеть).

— *Не сейчас.*

— *Да брось ты! Ты же хочешь.*

— Да, но снаружи люди. А если кто-то заглянет?

— Люди. Плевал я на людей, bella^[24].

— Но я сейчас не хочу.

— Как это — не хочешь?

— Не знаю. Просто не хочу.

— Чего не хочешь?

— Ну... этого.

— Чего?

Хриплый льстивый смех. Они были как многоголовая гидра. Отрубишь одну голову, вырастают две новые.

— Просто расслабься. Мы не сделаем ничего, что тебе не понравилось бы. Позволь нам тебя побаловать.

Разве они были не правы? Разве ей не было приятно, когда ее так ласкали? Разве их руки не были нежны? Она закрыла глаза и попыталась получить удовольствие. Она размеренно дышала, в ритме ласкающих ее рук, которые были везде, в самых потаенных местах ее тела.

Она была кем угодно, но не недотрогой. От этой мысли она улыбнулась.

— Что?

Она сказала. Парни засмеялись. И продолжили. Вдруг повисла подозрительная тишина. Она не открывала глаз, но слышала, как они снимали с себя джинсы и футболки, пока не остались тоже голыми, как она. Она попыталась получить удовольствие от того, что они прижимались к ней. Она попыталась принять их горячие, мокрые от пота тела.

Но у нее не получалось. Внизу все было сухо и зажато. Она ненавидела сама себя, потому что позволила им зайти так далеко, а теперь вот не могла.

— Эй, что случилось?

Пальцы в ее влагилице, неловко пытающиеся возбудить ее. Сделать так, чтобы она стала влажной и можно было войти в нее.

— Ну же! Ты же не даешь.

Бесполезные болезненные попытки проникнуть в нее. Она лежала как доска, как мешок с картошкой, — как кто угодно, но только не как желанная женщина. Она не открывала глаз, она пыталась.

— Эй, вообще не входит.

В этот момент один из них — Конни, Шаки? — вошел в нее. Она чувствовала себя как шлифовальная бумага. Ей сразу же стало больно, и она сжала зубы. Когда-нибудь это закончится.

— Не получается.

— Пусти меня.

Еще один. Попытался. Как же больно! Но уже никто не мог остановиться. Теперь это нужно было довести до конца.

Туда-сюда. Пыхтение. Боль. У нее на глазах выступили слезы.

— Ничего с ней не получится.

И вдруг она осталась совсем одна на острове из спальников, гольшом. А остальные быстро натянули плавки, посмеялись над какой-то шуткой Конни или Шаки и исчезли. Оставили ее, как сломанную игрушку. Голой! Абсолютно голой!

Более чем через двадцать лет она снова увидела себя лежащей там, обливающейся потом, грязной, некрасивой, ненужной. Спустя несколько минут она встала, тяжело, как старуха. Горячая боль внизу живота заставила ее согнуться. Она нашла свои вещи, не глядя запихнула их в рюкзак, свернула спальник. Ребята не вернутся, пока она не уйдет. Все закончилось. Она подвела их. Во всех смыслах.

Более чем через двадцать лет она смогла примириться сама с собой. Она совершила ошибку, это точно. Но такого отношения она не заслужила, нет.

Виноваты они, не она. Она больше не будет страдать.

Она перешла проезжую часть Зонненштрассе, не обращая внимания на сигналы машин и ругань водителей. Глаза ей застилала слезы, но ей стало легче.

«Теперь, — думала она, — можно начинать новую жизнь».

Этой ночью Моне приснилась мать. Как всегда, это был печальный и страшный сон, потому что вызвал воспоминания, которые Мона обычно гнала прочь.

Она снова на Дюльферштрассе, возвращается домой из школы. Она идет мимо одноэтажного строения Дюльферхайм, в котором вообще-то должен быть молодежный клуб, а на самом деле там напиваются рокеры, прежде чем сесть на свои мотоциклы и с ревом умчаться. Лето. Очень-очень жарко. Под резиновыми подошвами кроссовок асфальт кажется мягким, от аромата чая кружится голова.

Ей еще нужно пойти к Майдлю, купить пива. Жара сводит маму с ума. В такие дни она носится по квартире, дергает занавески, начинает все чистить в кухне, потом бросает ведра и тряпки на дороге, идет в ванную, начинает чистить унитаз — и все это резкими, агрессивными движениями, которые очень сильно пугают Мону.

Когда маме лучше, она пытается объяснить Моне, как чувствует себя в такие периоды. Ей тревожно, говорит она, как зверю в клетке. Как тигру или пантере в зоопарке. Очень хочется выбраться оттуда, а прутьев решетки перед собой зверь просто не видит. Мечется туда-сюда по клетке и просто не понимает, откуда она вообще взялась и почему не исчезает. Вот так и мама Моны, только ей еще хуже. Потому что решетки — в ней самой. Она хочет убежать от себя, но не получается. И это так нервирует, что ее охватывает отчаяние.

В таких случаях ей помогает холодное пиво. Чаще всего бутылочкой пива она не ограничивается — ей нужно их пять или шесть. Потом мама засыпает, а Мона может отдохнуть от проявлений ее странных состояний.

Поэтому, прежде чем идти домой, Мона решает купить пива. Вообще-то продавец не имеет права продавать ей пиво, ведь ей всего восемь лет. Но если она скажет, что это для мамы, то он продаст. Здесь дети покупают алкоголь для своих родителей, и причины, по которым родители сами не могут прийти, интересуют продавца как прошлогодний снег. Он всегда очень приветлив и после каждой покупки дарит Моне жвачку «Даббл-Баббл», потому что Мона особенно любит такие. Но хотя он смеется и треплет ее за щечку, глаза его остаются холодными.

— Что угодно сегодня маленькой леди? — спрашивает он всегда, когда она заходит в магазин.

— Шесть бутылок пива «Августинер Эдельштофф».

Сегодня утром она специально взяла больше денег, потому что день обещал быть жарким. Позже она еще раз пойдет за покупками, за такими важными вещами как хлеб для тостов, масло, сыр, колбаса и пара банок консервов. В такие дни мама об этом забывает.

— Шесть «Августинер» для леди. — Продавец улыбается, треплет ее за щечку, дает «Даббл-Баббл».

Все как обычно. Мона раскрывает жвачку, засовывает ее себе в рот и чувствует маленький взрыв вкуса, который примиряет ее с миром. Она берет два пластиковых пакета и благодарно говорит:

— До свидания.

— До свидания, маленькая леди.

Она всегда радуется, когда выходит из магазина, где пахнет старой влажной бумагой и несвежей вырезкой, которая медленно портится под прилавком.

На улице ее встречает жара, обволакивает как полотенце. Дюльферштрассе пуста. Только Мона еле ползет со своими двумя пакетами домой. Конец июля. На следующей неделе начинаются летние каникулы, и Мона окажется привязанной к квартире на шесть долгих недель. Об этом лучше не думать. Остается надеяться, что погода не испортится, чтобы можно было играть на улице. Но не бывает, чтобы все шесть недель была хорошая погода, так просто не бывает. Две, а то и три недели будет идти дождь, и тогда ей придется постоянно сидеть возле мамы, а мама не выносит, когда Мона долго рядом. Раньше Мона могла пойти к бабушке, но бабушка уже два месяца как умерла.

Мона вошла в полумрак подъезда, где от плитки на полу еще немного исходит прохлада. Здесь тоже никого. Невольно Мона замедляет шаг. Она не заходит в лифт, идет по лестнице, хотя они живут на пятом этаже. Она даже боится подумать, в каком состоянии обнаружит маму. Конечно, такой вопрос возникает каждый день, а особенно если жарко, душно и солнечно, как сегодня. Когда Мона уходила утром из дома, мама еще спала.

Было бы здорово, если бы ее не было дома. Иногда мама ходит в гости к своей подруге Берте, они там сидят и курят целый день. Но в последнее время она так не делает. Мона по некоторым признакам поняла, что мама с Бертой опять поссорились.

На третьем этаже Мона слышала сильный шум. На четвертом стала надеяться, что этот шум раздается не из их квартиры. На пятом этаже она уже не сомневалась. Кто-то кричал и швырял вещи.

В их квартире. Где же еще?

Мона присела на верхнюю ступеньку отдохнуть. Может быть, все еще обошлось бы, если бы она принесла пиво раньше. Она опоздала. После школы она еще поболтала со своими лучшими подружками Сабиной и Марией, обе они живут в нескольких автобусных остановках и поэтому Мону редко отпускают к ним в гости.

Не то чтобы маме нравится, когда она сидит дома. Но она страшно боится, что с Моной что-то случится, а она будет виновата. Потому что тогда все поняли бы, что она — человек ненадежный.

Потому что она ненадежная. И все подозревают это, и всем, кто это подозревает, жаль Мону. Но это нисколько ей не помогает. Возможно, когда-нибудь ей найдут других родителей. Или позаботятся, по крайней мере, о том, чтобы она жила с отцом.

Отец уже забрал ее сестру Лин, и еще у него трое детей от его новой жены. Он живет теперь в другом городе. Он не может заботиться еще и о Моне, у него просто недостаточно места в его трехкомнатной квартире. Каждый месяц он посылает матери деньги. Большого сделать он не может. Это Мона должна понять. И не такая уж ее мать больная. Странно, да? Но она не больна в прямом смысле этого слова.

Отец просто не хочет понять, что за последние годы ситуация ухудшилась. Он звонит раз в месяц, и когда говорит с мамой, та ведет себя совершенно нормально, смеется и шутит, как раньше, когда они еще были женаты. Когда Мону зовут к телефону, она не может говорить открыто и всегда вынуждена притворяться, что все хорошо, все в порядке. Потому что мама всегда стоит рядом и вслушивается в каждое слово, в каждый смешок, улавливает каждое колебание голоса.

Кажется, что из дома все ушли. Мама бушует в квартире, а никто не жалуется на нарушение общественного порядка, даже не спросит, в чем дело, почему крик. Потому что соседи не хотят знать, что случилось. Потому что тогда им придется действовать и искать Моне новых родителей. Мона встала и потащила пакеты с пивом к входу в квартиру, где

лежит коричневый коврик в форме таксы. У всех остальных жильцов — нормальные прямоугольные коврики, только у них лежит эта дурацкая такса, потому что она кажется маме «жутко смешной».

— Мама, это я. Ты слышишь?

За дверью раздается шум. Мона вставляет в замочную скважину ключ.

— Я вхожу.

Ключ поворачивается в замке, Мона толкает дверь, но та открывается только на пару сантиметров. Коврик в прихожей сдвинулся и заблокировал дверь.

— Мама! Открой!

Шаги приближаются. Кто-то пыхтит за дверью.

— Оставь меня в покое!

— Тут никого нет. Пожалуйста, открой мне дверь. Я принесла пиво.

— Пиво?

Она рывком тянет на себя коврик. В следующий миг мама просовывает голову в дверной проем. Лицо все пошло пятнами от слез, тушь растеклась. Она так сильно начесала волосы, что они торчат во все стороны — как бушующий огонь.

— Эти свиньи не оставляют меня в покое. — В ее голосе слышны слезы, и кажется, что он вот-вот сорвется на визг.

— Впусти меня, пожалуйста!

Мать смотрит на нее сверху вниз. Медленно, очень медленно она понимает, кто это. Начинает всхлипывать и вытирать пальцами сопли.

— Они просто не хотят оставить меня в покое.

— Я принесла пиво, — настойчиво повторяет Мона.

Она вынимает из пакета бутылку «Августинер Эдельштофф» и сует матери под нос, как будто та зверек в зоопарке. Потом дверь открывается, и квартира поглощает Мону.

Мона уже не сопротивляется. Потому что ей больше некуда идти с тех пор, как умерла бабушка.

У нее осталась только мать, а у матери — только она, и никто ничего не изменит.

Но, может быть, на этот раз пиво поможет.

Мона открыла глаза. Темнота вокруг кажется всепроникающей. Уже много-много лет ее мать постоянно находится в психиатрической лечебнице, и, тем не менее, у нее все еще есть власть над снами Моны.

Иногда, в самые неприятные моменты своей жизни, Моне кажется, что мать обладает силой, способной преодолеть все — смирительную рубашку, стены, расстояние. Иногда ей кажется, что мать точно знает, где она сейчас, что она делает и — что хуже всего — о чем она думает и что чувствует.

«Я многое вижу», — сказала мать после очередной попытки самоубийства. Тогда она лежала на белоснежной больничной койке, бледная, уставшая, с тупым пустым взглядом, придававшим ее словам лживый оттенок. И, тем не менее, она всегда знала, когда Мона говорила неправду. В моменты просветления она говорила Моне о ее характере такие вещи, о которых та сама даже не подозревала. И мать всегда оказывалась права.

Мать все еще следит за ней. Мона чувствует это, хотя не рассказывает об этом даже своей сестре Лин. Та подумает, что у нее не все дома. Уже не говоря о том, что могут подумать другие.

Среди ночи Фелицитас проснулась от звонка и стука в дверь.

— Откройте, полиция!

Ну вот. Этого следовало ожидать. Все же ее свобода продлилась несколько часов, те несколько часов, когда она прекрасно себя чувствовала. Она успела принять душ, поесть, сделать записи. Вот все и закончилось.

Самое удивительное, что весь страх куда-то ушел. Все, что теперь произойдет, предопределено. Она не помешала, и тем самым сделала себя виновной. Поэтому все, что сейчас произойдет, она заслужила.

Она встала, включила свет. В ногах на ее кровати лежали изрезанные газеты, из которых она весь свой последний свободный вечер вырезала статьи о Конни, Шаки и Роберте, а потом клеивала их в альбом. Полиция найдет их и сделает из этого соответствующие выводы. Так что все в порядке. Она сама сделала себя виноватой и понесет за это наказание.

Она открыла дверь после того, как причесалась и надела чистые джинсы и шерстяной свитер. Она не хотела произвести плохое впечатление даже на чужих людей.

Перед ее дверью стояли двое полицейских, мужчина и женщина. Она жестом пригласила их войти.

— Хотите кофе?

Те переглянулись и одновременно отрицательно покачали головами.

— Это ваша квартира? — спросил мужчина. У него был сильный баварский акцент.

Она кивнула. К чему ходить вокруг да около?

— Вы — госпожа Фелицитас Гербер?

— Да.

— Мы вас арестуем по подозрению в убийстве.

Возможно, многие преступники чувствовали себя так же, как она, когда их, наконец, ловили: она не злилась, не пришла в отчаяние, а ощущала только огромное облегчение. Больше не нужно напрягаться. Все решат за нее. Это как в больнице: нужно всего лишь лечь туда и стремиться выздороветь. Остальное сделают врачи и медсестры.

Она взяла пальто и надела свои крепкие ботинки. Брать зубную щетку и мыло или не брать? Ну, это, скорее всего, ей дадут.

— Можем идти, — сказала она.

Она чувствовала себя легко, беззаботно. Она жила. И ничего плохого с ней уже не могло случиться.

Михаэль Даннер чувствовал свободу каждой клеточкой своего тела. Уже поздняя ночь, но ему не спится. Он уже давно мало спит. Спать вредно. Пустая трата времени. Он действительно так думает, хотя у него теперь масса времени. Теперь не важно, что делать: все уже решилось. Долгие годы он жил с ложью, впрочем, не один он на этом свете. С той лишь разницей, что остальные притворщики так и остаются нераскрытыми. Ему не повезло. К сожалению, не повезло.

Он кивнул сам себе. Нет, не все пути ему закрыты. Он может, к примеру, написать книгу. Многие преподаватели мечтают о том, чтобы у них появилось достаточно времени для написания книги. Например, роман, в котором будет все лучшее, что есть в современной литературе. Или памфлет о современном немецком воспитании.

Но все это на самом деле не интересует Михаэля Даннера. Его тема — это любовь и все

ее чудесные, болезненные и злые проявления. Он любил Саскию и причинил ей боль, он любил Фелицитас и причинил ей боль. Это нормально. Настоящая любовь — это неудержимая сила, дикая, живая, неуловимая. Она приходит и уходит, когда ей вздумается, и никто в этом не виноват. Каждый может совершить преступление из-за страсти, потому что любовь нельзя затянуть в корсет, ограничить рамками. Она заставляет людей делать вещи, которыми они гордятся или которых стыдятся. Вот об этом Михаэль Даннер охотно написал бы, с воодушевлением — если бы был кто-то, кого бы это заинтересовало.

Он сидит за письменным столом в темноте и смотрит в сад. На улице начинается дождь. Снег, тяжело лежащий на крышах домов и кронах деревьев, скоро будет мягко падать на землю, и на Рождество снова все зазеленеет, как каждый год.

Рождество. Не все ли равно, что будет на Рождество? Но психика работает иначе, по крайней мере, его психика. Дело в том, что Михаэль Даннер очень быстро приходит в себя. С объективной точки зрения его положение просто безвыходно, но он уже не чувствует себя подавленным и бессильным, как после грубо прерванного разговора с Берит Шнайдер. Вместо этого он ощущает беспокойство, которое становится час от часу все больше. Он не тот человек, который будет просто сидеть и смотреть, как другие люди решают его судьбу. Он должен взять все в свои руки.

Вопрос только в том, с какой стороны взяться.

Он встал, потянулся. Впервые с тех пор, как умерла Саския, он сознательно наслаждался одиночеством, без тяжелого чувства вины. Саския ослабляла его своим присутствием, уже тем, что была: такова правда. Он скучал по Саскии больше, чем когда-либо мог себе представить, но для него лучше, что ее больше нет. Теперь он может сделать то, о чем мечтал уже долгие годы. Начать сначала — вот чего он хочет. Где-нибудь, в какой-нибудь жаркой стране, с новой профессией, с новой женой. В какой-то момент жизни об этом мечтает каждый мужчина. Таков закон природы.

Он улыбнулся, и в тот же миг почувствовал на глазах слезы горя и облегчения. Этот мир сошел с ума. Женщина должна умереть, чтобы мужчина мог выжить.

Фелицитас Гербер. Она смотрит на Мону, не отводя взгляда, как всегда поступала мать Моны (и теперь так поступает, только по ночам). У нее карие глаза, не голубые, но взгляд такой же неприятный. Как будто она видит Мону насквозь.

Мона отвела взгляд. Что она себе вообразила? Половина пятого утра, она устала, все устали, все на взводе. И больше ничего. Она снова посмотрела на Гербер. Теперь та показалась ей, как и остальным, совершенно нормальной.

Они так долго вели расследование, так много говорили о ней, столько размышляли об этом деле, а теперь все чуть ли не разочарованы. Фелицитас Гербер невысокого роста и не такая полная, как на фотографиях. На ней — джинсы и выцветший серый шерстяной свитер. Короткие темные локоны уже кое-где тронула седина. Лицо бледное, под глазами круги, поэтому она выглядит старше, чем есть на самом деле, а ей тридцать восемь лет. Ногти ей нужно подстричь и сделать легкий макияж — стала бы очень симпатичной. А вообще она не производит впечатления запущенного человека и не кажется удивленной. Ведет себя так, как будто точно знает, зачем она здесь, и теперь только ждет правильных вопросов. Чтобы не испугать ее, они продвигаются вперед медленно.

На улице все еще темно. Мона единственная закуривает сигарету. Глупо курить так рано, вредно для желудка. Но странное чувство не покидает ее.

Поначалу было трудно получить от Фелицитас Гербер точную информацию. Она пояснила, что в последнее время ездила по разным городам южной Германии, спала в основном на улице или на вокзале. Но утверждает, что точно не знает, когда где была.

— Ваши врачи сказали нам, что вы страдаете шизофренией, — сказал Бергхаммер, решая идти напролом.

Фелицитас Гербер улыбнулась, но промолчала.

— Это так? — спросила Мона и закашлялась.

— Что?

— Ну, что вы...

— Да, иногда я немного ненормальна. Сумасшедшая, если хотите. Не нужно иностранных слов. Врачи используют их только для того, чтобы казаться умнее, чем они есть на самом деле.

Мать Моны тоже так говорила. *Они не могут мне помочь, поэтому хотя бы выдумывают странные слова.* Одно время она называла себя мисс Кататония и считала, что это забавно.

Кригер решил зайти с другой стороны.

— Знакомы ли вам эти имена: Саския Даннер, Константин Штайер, Роберт Амондсен Кристиан Шаки?

— Да, — ответила Фелицитас Гербер, и ее взгляд снова упал на Мону, и только на нее.

Мона отвела взгляд, когда Фелицитас Гербер набрала в грудь побольше воздуха, чтобы взорвать бомбу.

— Я в ответе за их смерть.

Вот и признание. Самое настоящее признание. По крайней мере, так кажется. Или все-таки нет? Мона, Кригер, Фишер, Бергхаммер напряженно смотрят друг на друга. Несколько секунд так тихо, что, кажется, можно услышать звук падения иголки. Многонедельный поиск, бесконечные сверхурочные, долгие ночи, а теперь все закончилось. Простое признание, подтверждающее, что они были на правильном пути и что вся работа проделана не напрасно. Они справились.

Конечно, теперь нужны подробности, если потребуется, придется потратить на это несколько часов. Все-таки речь идет о четырех убийствах.

Четыре убийства. Они не смотрят друг на друга, но чувствуют, что думают остальные. Эта безобидная на вид женщина. Четыре убийства. Но в их практике уже были убийцы, по виду которых нельзя было сказать, что они на это способны. В их профессии нет ничего невозможного.

И Мона ждет от этой женщины чего угодно.

К концу этого дня Мона выкурила десять или двенадцать сигарет, так много она не курила уже долгие годы. Ее горло похоже по ощущениям на терку, и ко всему прочему она практически ничего сегодня не ела. У нее начался кризис. Этого никто не понимает, но она знает, что это так.

Глаза этой женщины. Острые как иглы, и глубокие, как колодцы, опасные, как... Подходящее сравнение в голову не приходит. Древние глаза, легко уязвимые и злые одновременно.

— Дрянь какая-то, если вам интересно мое мнение, — сказал Фишер.

Они сидят в любимой пиццерии Бергхаммера на Гетештрассе. Бергхаммер пригласил их, но не праздновать.

— Это не она, — сказал Кригер. Он выглядит озабоченным.

— Она говорит, что она, — возразила Мона. — Она знает то, что может знать только убийца.

— Подумаешь! Она сказала, что закрыла глаза Штайеру и Шаки. Хорошо. Но это может утверждать кто угодно, — заявил Фишер. Голос его прозвучал глухо.

— Она знает все. До мельчайших подробностей.

— Неправда. Она знает то, что было написано в газетах, а остальное просто додумала и, оказалось, угадала. Но кое-что не совпадает.

— А зачем ей признаваться, если это была не она?

— Черт ее знает. Есть же тщеславные люди...

— Женщины так не поступают. Женщина не пойдет на такое.

— Кошмар, снова за старое!

— Прекратите, — сказал Бергхаммер. Он ковырялся в салате. — Все не так, — продолжил он, наконец, и обвел их взглядом. — Это не она. Она не способна сделать такое. Вы только посмотрите на нее! Знает она то, что может знать только убийца, или это не так, до всего можно додуматься. Просто все иначе. Не тот рост, не та сила... Ничего...

Но Мона не согласна. Она видела, на что способна мать во время таких фаз. Однажды она подняла тяжелый дубовый стол на шестерых человек и пошла с ним прямо на Мону, как будто он был картонным. Мать, рост которой был сто шестьдесят четыре сантиметра, и весила она не более пятидесяти килограммов.

Но она сказала:

— Не такая уж она и маленькая.

Бергхаммер покачал головой и глотнул пива.

— Все иначе, — повторил он.

— Но она это сказала! Она признала себя виновной, однозначно!

— Послушай, Мона, — начал Бергхаммер, — может быть, она хотела это сделать. А потом это сделал кто-то другой. Взял, так сказать, на себя ее работу. Конечно, она думает, что виновата. А что, если у нее мания величия? Она думает, что всеильна, потому что исполнилось ее страстное желание, ну, что-то в этом роде, — подытожил он. — Мы еще попросим психолога поговорить с ней.

— Но...

— Мы еще раз все проверим, процесс совершения преступления и так далее. Дважды,

трижды — сколько захочешь. Но я тебе и сейчас могу сказать, что это была не она.

— А кто же тогда?

Молчание. Фишер склонился над пиццей «Капричиозо», а Кригер уставился на свое отражение в окне. Перед ним стоял нетронутый салат из помидоров.

— Если это была не она, — невозмутимо сказала Мона, — мы можем начинать сначала.

— Нет, если она кого-то прикрывает, — возразил Фишер.

— На этот вопрос она вообще никак не отреагировала.

— Конечно нет. Если она кого-то прикрывает, то не захочет, чтобы об этом узнали.

Поэтому она не отреагировала. Логично.

В этот момент Мона готова была растерзать Фишера, этого женоненавистника с наглой манерой не принимать ее доводы, пренебрежительно относившегося ко всем и каждому.

— Тебе нравится быть дежурным лохом, а?

Мужчины уставились на нее, Фишер не донес вилку до рта.

— Ну-ну! — Бергхаммер хмыкнул. — Получил, Ганс? Хорошая подача, Мона. — Он попытался превратить все в шутку, но Мона и Фишер не обратили на его слова внимания.

— Некомпетентность иногда очень сильно раздражает меня, — тихо сказал Фишер.

— Н-да, Ганс, тогда я на твоём месте в дальнейшем поднапрягся бы. Компетентность приходит с опытом.

Кригер моментально доел салат, как будто ему за это заплатили. Вот таким он был всегда. Стычки между коллегами он игнорировал в принципе, потому что не знал, как быть с этой мистической штукой, которую называют «человеческим фактором».

Фишер, плотно сжав губы, ковырялся в пицце. Он больше ничего не сказал, потому что знал: еще чуть-чуть — и он выскажет все, что думает.

— Не пора ли нам идти? — вдруг спросил Бергхаммер.

Половина десятого вечера. Последнюю неделю они еще ни разу не освобождались так рано.

— Еще не поздно, — не согласился Фишер. — Мы можем еще раз пройтись по всему, посмотреть показания...

— Мы идем по домам, — сказал Бергхаммер. — Встретимся завтра в семь в офисе. Нам всем нужно отдохнуть.

Мона слушала вполуха. Пиво, которое она выпила слишком быстро, урчало в животе. Внезапно у нее возникло чувство, что она где-то далеко отсюда.

Фелицитас Гербер. Они что-то пропустили, что-то, доказывающее, что она — убийца. Потому что все это совершила именно она.

Мона сидела одна в одиннадцатом отделении. Дверь в коридор была открыта, и каждый раз, когда она поднимала взгляд от бумаг, через открытую дверь она видела выкрашенную в зеленый цвет стену. Цвет отвратительный, зато практичный — не маркий. «Видеть сигналы, слышать крики о помощи» — плакат, призывающий не игнорировать жестокое обращение с детьми, висит на доске объявлений уже целую вечность. Мона уставилась на плакат. Тогда никто не хотел видеть никаких ее сигналов, слышать ее криков о помощи. Сейчас все иначе, сегодня дети с такими проблемами, какие были у нее, уже не так одиноки. Могут рассчитывать на помощь, поддержку.

Перед Моной — стопка папок. Всего одиннадцать. Там лежат длинные протоколы свидетельских показаний, фотографии трупов, результаты вскрытий. Она просмотрит все

еще раз, а заодно и показания Фелицитас Гербер. Она просто уверена, что пропустила что-то в этой груде материала. Такое часто бывает, не нужно себя упрекать. Она взяла наугад одну из папок. Там, кроме всего прочего, находится протокол, написанный ею по памяти после разговора с бывшим преподавателем Иссинга Альфонсом Корнмюллером, которого ученики называли Ницше.

Он знает то, что, возможно, не знает больше никто. Но этого из него ни за что не вытащить. Тайна закрыта в его больном мозгу, как в самом надежном сейфе, ключ от которого потерял. И тем не менее Мона углубилась в свои записи.

Роберт Амандсен доверил Ницше какую-то тайну, такую страшную, что старик оттолкнул любимого ученика, а потом вообще оставил работу в школе. Скорее всего, Роберт Амандсен рассказал ему о сексуальных оргиях в Португалии — хорошо, об этом они знают достаточно.

Вопрос в том, только это ли тогда произошло. Или Ницше узнал о чем-то еще?

Берит лежала на постели Стробо и ждала его. Она была удивлена, потому что уже начало двенадцатого, а он все не появлялся. Она специально пришла из своей комнаты, чтобы удивить его, она знала, что Стробо сейчас живет в комнате один.

Через пять минут она, обеспокоенная, встала. Берит повернула лампочку на ночном столике, чтобы она освещала не только кровать, но и всю комнату. Зажечь больше света она не решилась, ведь уже был отбой, и иногда преподаватели делали обход, чтобы проверить, все ли выключили в комнатах свет. Берит на цыпочках подошла к письменному столу Стробо, практически пустому: только пауэрбук, две ручки на черной подставке, выглядящей так, как будто она сделана из мрамора, скотч на подставке из того же материала, калькулятор. Все очень аккуратно разложено. Берит села за стол и провела указательным пальцем по деревянной поверхности.

Пыли нет. Стробо действительно очень аккуратен, раньше она этого не замечала.

Открыла ящик стола. Чисто случайно. А почему бы и нет? Они со Стробо любят друг друга. У них теперь между собой нет тайн.

В левом ящике лежит пара исписанных тетрадей и старый аттестат. Берит посмотрела на дату рождения Стробо: 13 мая 1980 года. Это значит, что Стробо по крайней мере один раз оставался на второй год, прежде чем поступил в Иссинг. Ну, у каждого свои тайны. Потом Берит открыла правый ящик. В левом заднем углу шкатулка с замочком. Она медленно вынула ее, как загипнотизированная, одновременно прислушиваясь, не идет ли кто. Никого. В доме стояла мертвая тишина.

Ключ в замочке. Может быть, Стробо забыл его вынуть, может быть, он обычно не запирает шкатулку, потому что там ничего особенного нет.

Но нет. Замок закрыт. Берит повернула ключ. Она уже не думала, действовала автоматически. Как будто кто-то водил ее рукой, кто-то, кто хотел, чтобы она... что? Ей не узнать этого, если не отроет крышку.

Открыла.

В первый момент она почувствовала разочарование. Письма, написанные от руки, наверняка их невозможно прочесть. Кто еще так пишет письма? Может, родители Стробо? Берит не знает о них ничего. Развернула письмо.

Допрашиваемый: Эльфрида Корнмюллер

Пол: жен.

Семейное положение: замужем

Дата рождения: 30.08.1925

Место рождения: Бергиш Гладбах

Допрашиваемая сообщает об изменении поведения ее мужа после встречи со своим учеником Робертом Амондсенем. После этой встречи существовавшие раньше хорошие отношения были прекращены по инициативе Альфонса Корнмюллера.

Факт первый: Роберт Амондсен, измученный нечистой совестью, решил исповедаться любимому преподавателю в надежде, что тот отпустит ему грехи. Этого не произошло. Все вышло иначе.

Факт второй: добрых двадцать лет спустя, незадолго до того, как был убит, Роберт Амондсен написал письмо своей жене Карле, в котором признался ей в том, что изнасиловал (принудил к половому акту) Фелицитас Гербер.

Но почему именно сейчас? Вопрос, который они постоянно задавали себе, но так и не нашли ответа. Причина может быть только в том, что убийца связался/лась с ним, и Амондсен испугался. Но Фелицитас Гербер отрицает, что разговаривала с Робертом Амондсенем незадолго до убийства.

Факт третий: Константин Штайер за несколько недель до того, как был убит, попросил врача выписать ему валиум, хотя его друзья, коллеги и родители утверждают, что характер у Штайера был веселый, ровный. Напрашивается объяснение: Штайер тоже знал своего/ю убийцу. Может быть, он или она пытались шантажировать Штайера.

Когда вы видели Роберта Амондсена в последний раз?

Когда он был мертв. Я перевернула его на спину. Он выглядел таким... одиноким.

К процессу совершения преступления мы сейчас перейдем. Когда Роберт Амондсен был еще жив — когда вы видели его в последний раз?

Давно. Не помню.

В школе? В Иссинге?

Да.

Позже — нет?

Нет.

Вы уверены?

Да.

Роберт Амондсен написал письмо, в котором рассказал о событиях в Португалии, о которых мы с вами уже говорили. Незадолго до смерти. Вы утверждаете, что виновны в его смерти.

Да. Я виновата.

Вы убили Роберта Амондсена?

Да. Убила.

Тогда вы должны были видеть его незадолго до смерти.

Нет.

Как это может быть?

(Свидетельница молчит. Улыбается.)

Попробуем иначе. Поскольку Роберт Амондсен не был ясновидящим, он не мог знать, что вы собираетесь его убить. Верно?

Не знаю.

Так что вы должны были с ним как-то связываться до того, как он написал это письмо.

Почему?

Потому что иначе он не написал бы это письмо. Не сейчас, не в это время. Это было бы совершенно невероятным совпадением. Понимаете, что я имею в виду?

Не знаю. Больше ничего не могу сказать. Не знаю.

Мона потеряла глаза. Они болели. В пепельнице перед ней дымилась незатушенная сигарета. Вонял горящий фильтр. Взгляд ее снова упал на открытую папку, в которой лежал протокол допроса Эльфриды Корнмюллер.

Допрашиваемая рассказывает о нескольких происшествиях в Иссинге летом 1979 года. Вообще-то они непосредственно не касались Альфонса Корнмюллера или Роберта Амондсена. Поэтому они для следствия не интересны.

Согласно показаниям допрошенной, речь идет о нескольких выговорах, алкогольном отравлении и беременности.

Беременность.

Что произошло с той девушкой, которая забеременела? Мона не спросила.

У какого ребенка не было повода плакать над своими родителями?

Не Ницше ли сказал это? Во время своей проповеди о целомудрии и греховности?

Она не написала об этом в своем отчете, потому что это показалось ей неважным. Мона уронила голову на руки. Потом закурила новую сигарету и посмотрела на часы. Половина двенадцатого.

У какого ребенка не было повода плакать над своими родителями?

Она невольно вспомнила о Лукасе. Он сейчас мирно спит, опять у отца, потому что после того как отметил день святого Николая у Лин, он захотел вернуться к Антону. Мона взмолилась: «Боже, сделай так, чтобы Антон не влез ни во что незаконное. А если бы и влез, то пусть его не поймают». Когда все это закончится, нужно будет больше уделять внимания Лукасу. Быть для него настоящей матерью, как говорится. Но у нее такая работа, что нужно или отдаваться ей целиком, или бросать. А так не пойдет. Она должна быть финансово независимой, и пусть Антон говорит, что угодно. Она не может позволить, чтобы Лукас полностью попал под его влияние. Антон — хороший отец, но он же...

А что, собственно, случилось? Об этом лучше не думать.

Эльфрида Корнмюллер.

Одна из учениц забеременела, это точно. Летом 1979 года. Вроде бы ясно: до летних каникул. Или нет?

Может быть, и позже. Может быть, уже осенью.

Дорогой мой, любимый сын!

Я так счастлива, что мы нашли друг друга. Ты — самое лучшее, что было в них. Поэтому я прошу тебя: не убивай их. Если бы их не было, не было бы и тебя. Если они

умрут, твое одиночество будет полным. Я уверена, ты не хочешь этого...

Берит шумно выдохнула, и этот звук был похож на свистящий хрип. Так она дышит, когда ездит на велосипеде по горам. После трудного подъема. А теперь у нее такое чувство, что кто-то сдавил ей грудь.

Она потащилась к постели Стробо, но лучше ей не стало. Паника сковала ее грудную клетку, словно железным обручем.

Мона набрала номер Корнмюллеров. Она звонила долго, пока не раздались гудки «занято». Она снова набрала номер. Никто не подходит. Может, они оба плохо слышат. Позвонит завтра — сегодня — еще раз.

Она вынула из папки письмо Роберта Амондсена. Впервые она обратила внимание на то, что письмо не подписано. Потому что Роберт Амондсен не закончил его? Потому что еще не все рассказал? Потому что смерть помешала ему?

Пять минут первого. Сейчас Мона пойдет домой и наконец-то поспит больше четырех часов кряду, по крайней мере попытается. Охотнее всего она улеглась бы сейчас на диван в офисе Бергхаммера, настолько устала. Но вместо этого она спустилась на лифте в подвал, в подземный паркинг.

Ее машина стоит на сто двадцать втором месте. После поворота сразу слева. Мона еле идет, и на секунду она задумывается, не поехать ли лучше на такси. Ближайшая стоянка такси находится прямо напротив одиннадцатого отделения, рядом с Центральным вокзалом. Пара лишних шагов — и ей не придется искать, где поставить машину. Но тут же она опускает руку в сумку в поисках ключа.

Это было похоже на резкий разрыв пленки. Она не заметила, как кто-то подкрался к ней сзади. Она только поняла, что ее толкнули в спину, она потеряла равновесие и упала на машину.

Теперь у нее на шее что-то холодное. Вдруг стало не хватать воздуха. Острая боль.

— *Ты в опасности, Мона. Я чувствую это.*

— *Не выдумывай...*

Фишер проснулся. Ему приснился кошмар. Он сел и включил лампочку на ночном столике.

И в следующую секунду, по крайней мере, ему так показалось, он был уже в ванной, плеснул в лицо холодной водой. Посмотрел на себя в зеркало, на покрасневшие глаза, на четырехдневную щетину. Выглядел он жутко. Нужно как следует выспаться. Нет смысла позволить работе доконать себя, никому не будет толку от перегоревшего ГКУП.

ГКУП Фишер. Мысли замкнулись в петлю, и он едва не задремал стоя, опершись руками на умывальник.

Он вернулся в спальню, влез в джинсы, натянул теплые носки, прочные ботинки. В шкафу нашел последнюю чистую футболку. Серый шерстяной свитер, который Фишер носил уже несколько дней, он купил всего пару месяцев назад, а свитер уже весь потерся и ворсинки торчали.

Ну да ладно. Бывает и хуже.

Взял ключи от машины со стола в кухне. Ключ от квартиры Фелицитас Гербер лежал у него в кармане брюк.

Он решил заглянуть в ее жилище еще раз. Пока квартира не опечатана, по крайней мере, он так считал. Квартиру тщательно обыскали, но Фишеру все чудились полки с секретом или потайные ящички в шкафу. Никогда ведь не можешь быть уверенным, что ничего не пропустил. В любом случае не помешает заглянуть туда еще раз.

Он не стал задавать себе вопрос, почему именно сейчас.

— Что...

— Заткнись! — это было сказано хриплым шепотом, голос принадлежал молодому человеку.

Он стоял прямо за ней, она чувствовала его сильное напряженное тело. Всем весом он прижал ее к закрытой водительской двери. Натяжение провололочной удавки на шее стало немного слабее, перед ее глазами мелькнуло что-то похожее на складной нож.

— Не поворачивайся.

— Хорошо.

— Видишь это?

— Да.

Нож исчез из ее поля зрения, а потом она почувствовала легкий укол над правой почкой. Что там за орган? Кажется, легкое.

— Я нажму, если не будешь делать, что я скажу.

— Хорошо. Нет проблем. Что делать?

В подземном паркинге ни души, по крайней мере она никого не видела. Она совершенно одна. Открыла обе двери.

— Садись. Поверни голову вправо.

Мона послушалась. Он схватил ее за волосы, и теперь нож упирался в ее шею. Повторяет ее движения. Она полностью проснулась. Все рефлексы в порядке, но это не поможет, пока у него есть нож.

— Пристегнись. Продолжай смотреть вправо. Только попробуй повернуть голову влево!

— О'кей.

Мона стала искать ремень левой рукой. Наконец она нащупала металлическую защелку. Потянула вниз.

— Дай мне руку. Левую руку. Смотри направо!!! Продолжай смотреть направо!

И в этот момент что-то скользнуло по ее левому запястью, потом по рулю: пластмассовые наручники. Теперь она сможет вести машину, но выйти ей не удастся. Движения крайне ограничены. Дверь захлопнулась за ней, и она услышала, как он сел на заднее сиденье.

— Поезжай. — Проволока, охватывающая шею, снова натянулась. — Зеркало заднего вида. Подыми его.

— Мне придется выезжать задом. Оно мне нужно. Без зеркала я не смогу.

— Тебе хватит бокового.

Мона подняла зеркало заднего вида. Она не увидела ничего. Даже есть ли на нем маска. За паркингом ведется видеонаблюдение. Но, возможно, в последнее время никто это не контролирует.

Все произошло очень быстро. Всего лишь минута. Вот так и сходят с дистанции.

Она чувствовала его дыхание у себя на шее, когда сдавала задом по направлению к выходу. Проволока крепко сжимала шею, а на спине она чувствовала руку убийцы. Она могла управлять машиной, переключать скорости. Не более того. Снаружи это выглядело так, как будто женщина ведет машину и везет мужчину, который сидит не рядом, а почему-то сзади. Но это само по себе не подозрительно.

— Мне нужно потянуть за цепочку, чтобы открыть ворота. Правой рукой я не смогу этого сделать.

— Остановись напротив цепочки. Я потяну.

Когда он выходил, она мельком увидела его в боковом зеркале. Он был без маски. Но он промелькнул слишком быстро, и она не узнала его.

Берит закурила сигарету и немного успокоилась. «Любовь, — сказала она сама себе, — означает доверие». Она прочтет еще пару писем. Чтобы совсем успокоиться. Только поэтому. Она прочла кое-что, вырванное из контекста. Убить. Может быть, речь шла... о животных. Не может это быть тем, о чем она подумала.

— Куда мне ехать?

— На автобан.

— На какой?

— Который ведет к аэропорту.

Страх. У страха множество лиц. На этот раз он притворился болью в желудке и холодным потом.

— Кто вы?

— Это не важно.

— Чего вы хотите?

С заднего сиденья раздался бестелесный смех. Он держался спокойно и самоуверенно, как будто уже тысячу раз захватывал заложников.

— Хороший вопрос. Наконец-то правильный.

— Но отвечать вы на него, тем не менее, не хотите.

— Почему же. Отвечу. Когда мы будем на автобане.

Пошел дождь, огни города сливались перед усталыми глазами Моны.

— Это ваша служебная машина?

— Да. А что?

Убийца снова засмеялся. Должно быть, он юн, может быть, лет восемнадцать-девятнадцать.

— Это же «Опель-Астра». И вы не боитесь выезжать на нем на улицу!

— Мне тоже больше нравится «Ауди ТТ».

Засопел.

— На нем сегодня каждый дурак ездит. Далеко еще?

— До автобана?

— Да.

Убийца нездешний. Все знают дорогу к автобану на Нюрнберг, с которого есть съезд к аэропорту.

— Еще пару минут. Мы уже подъезжаем к Внутреннему кольцу.

Что-то было в его голосе. Точнее, в манере говорить, делать ударение в словах.

Напоминает Иссинг.

Мона повернула на Внутреннее кольцо. Руки как будто примерзли к рулю, хотя отопление работало на полную мощность.

Берит взяла подписанный от руки конверт. Отправитель — Фелицитас Гербер.

Кто такая Фелицитас Гербер?

В ней некстати вскипела ревность. Что-то не так со Стробо, чего-то очень важного она не знала, Берит чувствовала это так же ясно, как прикосновение. А она думала только о том, нет ли у него другой девушки!

И она открыла следующее письмо.

— У вас Фелицитас Гербер. Я хочу, чтобы вы отпустили ее.

— Как вам такое в голову могло прийти? Что вы знаете о Фелицитас Гербер? — Но Мона уже все поняла, как только задала вопрос. Все сложилось.

1979 год, забеременевшая девушка.

— Это не она.

— Что — не она?

— Это сделал я. Дайте мне диктофон, я наговорю вам все, что хотите. А потом отпустите ее. Потому что тогда вы поймете, что это сделал я.

— Запись ничего не даст, — сказала Мона. — Суд не примет ее в качестве доказательства.

Тем временем они выехали на автобан. Машин практически не было. Мона ехала на скорости около ста километров в час. Очень удобная скорость. Он говорил ей прямо в ухо.

— Это сделал я, и баста. Больше я вам ничего не скажу.

Это сделал я. Это было сказано очень тихо и мягко, почти сексуально. Как будто это признание доставляло ему удовольствие.

— Вы — сын Фелицитас Гербер? — Вопрос рискованный, потому что он сбил его с мысли. Многих это злит.

«Хайко, любимый мой Хайко, я так рада, что мы нашли друг друга после всех этих лет, и ты простил мне то, что было. Я вижу тебя малышом с большими темными глазами, обвиняющими меня в том, что я тебя бросаю. Но я не могла иначе — и я не знала, как сказать тебе, что у тебя не один отец, а...»

«...милый Хайко, хотелось бы, чтобы ты об этом даже не думал. Твой план страшен, и мне стыдно, что я зародила в тебе такое разрушительное чувство. Я не должна была рассказывать тебе о том, что было. Теперь я знаю, что я была тебе плохой матерью и что правильно поступила, отдав тебя на усыновление — ты ведь рос в нормальной семье.

Хотя я была так счастлива, когда узнала, что ты искал меня, я проклинаю тот день, когда увидела тебя на пороге своего дома, выросшего, молодого и красивого, как твои отцы тогда... Я чувствую, что зло, которое я хотела удержать подальше от тебя, все-таки добралось до тебя, и мне так стыдно за это... Прошу тебя, прошу тебя, Хайко, не делай этого! Живи своей жизнью, помни о своих родителях, которые сделали для тебя все то, что я была сделать не в состоянии, и забудь обо мне...»

— Она думает, что это она виновата, но это не так.

— Ну, хорошо. Начнем сначала.

— Я не хочу, чтобы она понесла наказание за то, что сделал я.

— Вы ее любите.

— Она — моя мать. Я люблю ее. Она самый невероятный человек из всех, кого я когда-либо встречал. Она такая умная. И такая слабая, но одновременно с этим очень крепкая как сталь. Понимаете?

— Да.

Мать Моны тоже была слабой. И крепкой как сталь. Мона почувствовала, что слезы начали застилать ей глаза. Казалось, в ней что-то оттаяло. Что-то очень тяжелое и холодное. Она любила свою мать. Это правда. Она любила свою мать не только потому, что у нее больше никого не было, кого можно было бы любить. Она любила ее как личность, такой, какая она есть. Сумасшедшая, непредсказуемая, интересная. Фея, злая ведьма, испуганная маленькая девочка, переодевавшаяся перед зеркалом. Ни у одной из ее подруг не было такой матери. Ни одна нормальная мать не могла общаться с матерью Моны.

— Никто этого не понимает.

— Нет. Я понимаю. Вы хотели отомстить за мать.

— Нет. Не так. Сначала мне хотелось иметь отца.

Фишер сидел в кухне Фелицитас Гербер. Ослепительно ярко светила стоваттная лампочка без абажура. Он ничего не нашел, но, тем не менее, у него было такое чувство, что он что-то упустил.

— Первым был Михаэль.

— Михаэль Даннер?

— Да.

— Фелицитас Гербер назвала вам его имя.

— И имена остальных. Я приставал к ней до тех пор, пока она не сказала. Первым был Михаэль. Ясно, его достать было легче всего.

— То есть вы пошли к нему и сказали, что он — ваш отец. Так это понимать?

Он протянул руку и взял у нее диктофон. Мона чувствовала на шее его дыхание.

— Я пришел к нему во время тихого часа и сказал, что знаю.

— Что именно?

— Сказал, что считаю его своим отцом. Просто хотел посмотреть, как он отреагирует. Я имею в виду, он вполне мог быть моим отцом, но остальные тоже.

— Вы могли выяснить это с помощью теста на ДНК.

— Это было не так важно. Для меня это было не важно.

Удавка крепче сдавила ее шею. Мона попыталась дышать глубже, осторожнее. Если она будет дышать слишком часто, она может запаниковать, и тогда — конец.

— А что было важно? Чего вы хотели?

— Чтобы он поддержал меня. Чтобы хотя бы один из них поддержал меня.

— Но никто этого не сделал.

— Михаэль сказал, что если я решил его шантажировать, то обломаю себе зубы.

Михаэль Даннер открыл глаза.

Хайко снова здесь, он будет здесь всегда. Хайко Маркварт, потерянный сын. Хайко, воскресивший прошлое, здесь, в кабинете, в его хрупком раю.

Когда состоялся тот разговор, Саския ходила за покупками. Даннер в который раз вспомнил страшную ярость, которая охватила его, как нечеловечески сильный противник. Это была та самая ярость, которая охватывала его, когда Саския в очередной раз творила какую-то невообразимую гадость. Он пытался (да, силой пытался) вытеснить эту путаницу у нее из головы, но ничего у него не вышло. С Хайко он связываться не стал, хотя с удовольствием ударил бы его.

Что хочет от него это создание, объявившись спустя восемнадцать лет? Даннеру нечего дать ему. Ни любви, ни денег.

— *Если ты решил меня шантажировать, то вперед. Я обвиню тебя в клевете, и ты уже сам не будешь рад, что живешь на свете.*

— *Есть тест на ДНК. Можно доказать...*

— *Да. Сначала протащи это через суд. Это продлится годы, дорогой мой.*

Почему он не рассказал полиции о Хайко?

Потому что ему было все равно. После всего того, что произошло, ему было все равно. И более того: он даже наслаждался тем, что обвел их всех вокруг пальца. Что-то в нем хотело, чтобы остальные понесли наказание. Шаки, Роберт, Конни.

Он свинья. Он наблюдал за тем, как Хайко убивал. По крайней мере, это было практически то же самое. Он заслуживает самого страшного наказания.

Но ему по-прежнему совершенно все равно. Его жизнь кончена. Теперь уже не важно, что произойдет. Он останется здесь. Не начнет новую жизнь в южной стране, потому что у него нет больше ни сил, ни желания. Он все равно что умер.

— Почему вы хотели убить Михаэля Даннера?

— Я ненавидел его. Его и остальных. Они заслужили это.

— Зачем вы убили Саскию Даннер?

— Случайно. На ней был анорак Михаэля. И она была довольно высокой для женщины. Мне показалось, что это он.

— Вы видели, как она вышла из хижины?

— Я был на улице с остальными. Все были уже готовы.

— Как вы и планировали?

— Конечно.

— Значит, то, что они курили, принесли вы?

— У нас у всех кое-что было, я принес только тайскую траву. Обмакнул ее в гашишное масло. Очень сильно действует. Поэтому так и сработало.

— О'кей. Все были готовы. А потом?

Равномерное урчание мотора действовало усыпляюще, но постоянный прилив адреналина не давал Моне уснуть. Перед ней возник знак поворота на аэропорт. Действительно ли ему нужно в аэропорт или он это просто так сказал? А если так, то что ему там нужно? Исчезнуть на веки вечные?

— Я поднялся к Даннеру.

— Вы хотели убить Даннера? Или еще раз с ним поговорить?

— Я хотел, чтобы он спустился. А потом убить. Где-нибудь среди скал. Я предвкушал, как убью его. Он ничего не стоит. Свинья и только.

И в этот момент Мона поняла, что это ее последняя поездка.

Было ли это действительно только актом мести? Или ему нравится убивать? Нравится? Определенно, что-то в нем только и ждало этой возможности.

Берит взяла шкатулку и задвинула ее в дальний угол ящика.

Стробо — убийца. И возможно, сейчас он снова кого-то убивает. Она выключила свет и осторожно вылезла в окно. Завтра утром она позвонит комиссарше. Она предаст Стробо, которого любит. Но это еще не самое страшное. Самым страшным было то, что в ней что-то надломилось, надломилось бесповоротно. Еще пару недель назад ее жизнь была никому не нужной, но приятной и беззаботной. Теперь она стала мрачной и запутанной, а недоверие к людям не исчезнет никогда.

Как мог Стробо быть таким нежным и одновременно творить эти вещи? Если такое возможно, то безопасности вообще не существует.

— То есть вы поднялись по лестнице на второй этаж, чтобы позвать Даннера. Что случилось потом? — Ее голос не должен дрожать. Если он заметит, что она боится, шансов у нее не будет никаких.

— На середине лестницы я услышал, что там кто-то ходит. Скрипели половицы. Я не знал, кто это, поэтому снова спустился по лестнице и сел за стол.

— За обеденный стол.

— Да. Другого там не было. Хижина крохотная, очень примитивная.

— Был ли за столом кто-то еще?

— Да. Сабина и Петер. Они полностью отъехали. Петер постоянно что-то рассказывал Сабине, а та просто таращилась на свечу.

— А потом?

— Раздались шаги. Кто-то спускался. Да. Тогда я вышел к остальным и стал следить за входной дверью. Вышел Даннер. По крайней мере, я подумал, что это он. На этом человеке был его анорак, и капюшон был наброшен. Лица не было видно.

— А как вы узнали анорак?

— На нем была большая белая эмблема. Она светилась в лунном свете. Отвратительно, и в глаза бросается.

— И вы пошли за этим человеком.

— Да. Я не знал, куда он собрался. Но меня это не смущало.

— Вы преследовали его, чтобы убить.

— Да.

— Вы планировали это.

— Да. Я не был уверен, представится ли такая возможность позднее, но если бы представилась, я бы использовал ее.

— Когда вы поняли, что это не тот человек...

— Было уже поздно. Но дело приняло другой оборот.

— Потому что автоматически стали бы подозревать Даннера.

— Верно. Человек, который регулярно бьет жену... Ситуация, в которой он тогда оказался, хуже всякой смерти. Лучше и не могло быть.

— То есть вам доставляло удовольствие убивать?

— Нет.

Но Моне показалось, что это ложь.

Впереди появились огни аэропорта. Мона знала, что здесь ее жизнь и закончится, если не случится чудо. Он совершит свое пятое убийство, и произойдет это в одном из огромных, бесконечных подземных паркингов аэропорта, где ее будут искать в последнюю очередь. Только когда запах разложения станет настолько невыносимым, что будет чувствоваться сквозь багажник, кто-то из тех, кто припаркуется рядом, известит уголовную полицию.

Она больше никогда не увидит Лукаса, Лин и Антона тоже. Она больше никогда не увидит солнце.

Останется только его голос на кассете с признанием.

Он великолепно все рассчитал. Возможно, у него даже есть билет на самолет. Пройдут месяцы, прежде чем его поймают. К этому времени от ее тела не останется ничего, кроме водянистой зловонной массы.

Она прикована наручниками к рулю — абсолютно беспомощна.

Фишер был прав. Гербер кого-то прикрывала. Своего сына. Мать всегда прикрывает сына, что бы он ни натворил.

— Где Мона? — спросил Бергхаммер.

Семь часов утра. Кригер и Фишер, как и договаривались, сидели у него в офисе, а Моны не было. Лицо Бергхаммера помрачнело, что бывает с ним редко. Вообще-то он человек веселый. Но это дело — просто кара небесная. Так он и сказал сегодня жене, которая варила ему в шесть утра кофе: кара небесная. И лицо у жены стало обеспокоенным, потому что обычно он не говорил с ней о своей работе.

— Ни малейшего понятия, — сказал Фишер.

Он устал и нервничал. После того как он побывал в квартире Фелицитас Гербер, — что оказалось совершенно бесполезным, — он поспал всего пару часов, спешно принял душ и, не позавтракав, поехал в отделение.

— Ее машины нет в паркинге, — сообщил он.

Бергхаммер набрал номер домашнего телефона Моны, потом мобильного.

— Не отвечает, — удивленно сказал он.

— Может, выключила? — спросил Кригер.

— Нет, гудок идет нормальный.

Тут в дверь просунула голову секретарша Бергхаммера.

— Тут какая-то Бербель Шнайдер, она хочет поговорить с Моной. Говорит, что это очень важно. Соединить?

— Берит Шнайдер, я думаю, — уточнил Фишер. — Девочка из Иссинга, из товарищества Даннера.

— Соединяй, — сказал Бергхаммер.

Секретарша исчезла, и две секунды спустя зазвонил телефон Бергхаммера.

— Мой самолет улетает в девять. Я должен убить тебя.

Логично. Он сделал все, что хотел. Наговорил три полных кассеты, изложил все подробно. Саския Даннер, Константин Штайер, Роберт Амондсен, Кристиан Шаки. Не хватало только Симона Леманна для комплекта. Потому что он взял фамилию жены и оказался недостижим.

— Как тебе удавалось так часто уезжать из Иссинга, что никто не обращал на это внимания?

— Совершенно официально: чтобы навестить родителей. А на самом деле я встречался с Фелицитас Гербер. А потом я...

— ...убил Штайера, Амондсена и Шаки. Но почему ты еще раз не попытался убить Даннера? — Мона должна спрашивать дальше, обязательно должна. Пока он будет говорить, она будет жить.

— Я что, с ума сошел? За ним же следили.

— А что с алиби Даннера? Ты вызвал его в город, прежде чем Штайера?..

— Конечно. Я сказал: десять тысяч марок — и все в порядке. Десять тысяч марок, и у него будет железное алиби, я заявляю, что он не выходил из хижины. Никто не узнал бы, что он избивал свою жену. И что у него есть сын от изнасилованной ученицы. И так далее. Мы договорились встретиться с ним в «Йоганнескафе».

— Но ты не пришел.

— Я сказал ему, чтобы он оставил деньги в пакете под стулом. Он сделал это. Я пришел и забрал.

— А потом ты пошел к Штайеру, который жил как раз неподалеку. А так как официантка опознала Даннера, он попал под подозрение уже не только по поводу убийства своей жены, но и убийства Штайера.

— Да. Умно, правда?

— Почему Штайер впустил тебя?

Пауза. Было слышно его дыхание. Они стояли в огромном подземном паркинге возле аэропорта. Мона слышала, как мимо них проезжали машины, довольно часто. Никто не тормозил, никто не обращал на них внимания. Левая рука Моны, лежавшая на руле, затекла, да еще и судорога схватила. Наручники впивались в запястья.

— Мы с ним договорились.

Внезапно Мона поняла.

— Он тоже должен был дать тебе деньги?

— Именно.

— Он надеялся окончательно избавиться от тебя.

— Он был, как и Михаэль, дураком. Он сказал: десять тысяч, не больше. Если ты появишься еще раз, я вызову полицию, и мне все равно, всплывет ли при этом, что ты мой сын. Десять тысяч за то, что тогда я совершил огромную ошибку.

— Шаки и Амондсен. Они тоже заплатили тебе?

— Шаки — да, Амондсен — нет. Он что-то говорил о вине и грехе и даже не впустил меня в дом. Но я его все равно выследил.

— Деньги у тебя с собой. Сейчас.

— Конечно. — Снова этот смех, в котором не чувствовалось ни капли напряжения и усталости. — Я уже начал новую жизнь.

И в этот момент зазвонил ее мобильник. Ее сумочка лежала на заднем сиденье, рядом с убийцей, ей не дотянуться. Пять минут восьмого. Должно быть, это Бергхаммер. Он удивлен, что она не пришла. Она услышала короткий писк. Убийца выключил ее телефон, так что теперь нельзя было даже определить ее местонахождение: последняя слабая надежда рухнула. Радио в машине тоже выключено. Она может включить его. Теоретически. А практически на ее шее находится кусок проволоки, которая не дает ей двигаться.

Больше вопросов у нее не было, кроме последнего.

— Кто ты?

Смех был ей ответом.

— Ее машины нет в подземном паркинге, — сказал Бергхаммер. — Она вчера утром приехала на машине?

— Да, — подтвердил Фишер.

— Ты уверен?

— Да, я паркуюсь рядом с ней. На сто двадцать третьем номере.

Бергхаммер сказал:

— Вчера вечером мы все, кроме тебя, Ганс, поехали домой на такси. За казенный счет. Так что ее машина должна быть где-то здесь.

— Может быть, она потом решила вернуться в отделение и забрала машину?

— Зачем? Это же глупо, — заметил Бергхаммер.

Вмешался Кригер.

— Может быть, она хотела посмотреть кое-какие документы, касающиеся дела. Или забыла что-то.

Бергхаммер уставился на него.

— Бинго, — сказал он, и из его уст это прозвучало совершенно не к месту.

Вдруг секретарша встала и вышла. Через минуту вернулась.

— На столе Моны полно папок. Вчера вечером, когда мы уходили, все было убрано.

— Ганс, позвони в Иссинг. Пусть проверят, где этот Хайко или как его там, в комнате или где. Ну, тот, о котором говорила Шнайдер.

Спрашивать больше было не о чем. У Моны пересохло во рту, горло болело.

— Пить хочется, — сказала она.

— Это пройдет. Возьми. — Он сунул ей в руку письмо, адресованное Берит Шнайдер.

— Что мне с ним делать? — Слабая, хрупкая надежда.

— Просто держи в руке. Они найдут его вместе с тобой.

Что она могла бы сделать? Но не сделать ничего хуже, чем сделать что-то неправильное. Нельзя просто дать себя задушить какому-то молодому недоумку. Мона хрипло вскрикнула, выбросила правую руку назад и схватила убийцу за волосы. Вцепилась в его густые волосы, потянула голову на себя и стала кричать, кричать, кричать — как ненормальная. И думала только об одном: «Я не хочу умереть так. Я НЕ ХОЧУ УМЕРЕТЬ ТАК». Почувствовала что-то горячее на правом плече. Нож. Следующий удар будет в горло. И тогда все закончится.

Все закончится.

Лукас. Антон. Лин. Боже! Пожалуйста!

Кажется, барабанные перепонки сейчас лопнут. Шум стоит такой, какого она еще никогда в жизни не слышала. Сзади лопнуло стекло. Крик. Удар, бросивший ее на руль, так что она разбила лоб.

И вдруг — тишина.

На плече — рваная рана. Но она ничего не чувствует. С хрипом хватает ртом воздух.

Дверь водителя открылась, и она почувствовала знакомый запах.

— Антон, — прошептала Мона. Осторожно подняла голову. Все болит. Голова, шея, плечо, все. — Что ты тут делаешь?

Антон. Тараторит как ненормальный. Как всегда, когда взволнован.

— Я случайно оказался на Центральном вокзале. Увидел свет в твоём офисе. Подумал, что надо тебя забрать. Хотел позвонить, но тут свет погас. Поэтому я подумал, что ты пойдешь в паркинг. Тут твоя машина выехала, а сзади сидел этот тип. Я решил, что тут что-то нечисто, и поехал следом.

— Ты всю дорогу ехал за нами?

— Точно.

— Ты три часа просидел в гараже и наблюдал. И ничего не сделал.

— Я же все видел только сзади. Думал, у него оружие. А у меня с собой была только бейсбольная бита в багажнике. Я ее вытащил и ждал благоприятного момента. А потом, когда ты начала кричать, я понял, что больше ждать нельзя. Прыгнул на багажник и как сумасшедший стал бить по заднему стеклу. Хорошо, что в ваших служебных машинах не бронированные стекла...

— А вызвать полицию тебе не пришло в голову? Никогда бы не пришло.

— Ищек? Ты с ума сошла! — Он прижал ее к себе. Ее волосы все были в осколках стекла.

Тип, сидевший сзади нее, выглядел неважно. По крайней мере, он надолго выбыл из строя.

Антон знал, что остальное лучше предоставить полиции. Естественно, он считал свое присутствие здесь нежелательным. Пусть Мона все уладит.

Он поцеловал ее в лоб, туда, где не было крови.

— Разберешься?

— Дай мне мобилку. Она в сумке на заднем сиденье. Можешь включить? О'кей, а теперь набери номер...

— Ты себя нормально чувствуешь? Мы можем проверить это все позже. — Фишер. Еще никогда он не был так мил.

— Я в порядке. Не нужно в больницу. Ничего у меня не болит.

— У нее шок, — сказал Фишеру один из санитаров. — Вы только посмотрите на ее плечо!

— У меня ничего не болит.

— Вот именно, девушка. Это шок.

Два санитары подняли носилки и отнесли ее в машину «скорой помощи».

— Можно, я поеду с вами? — спросил Фишер.

— Да, но только если вы не будете ее волновать.

Мона закрыла глаза. Так лучше, потому что благодаря этому у нее будет еще немного времени.

Некто спас ее на свой страх и риск, вместо того чтобы вызвать полицию. Ее знакомый, который находится под следствием, против кого ведется расследование.

Все всплывет наружу. Ее многолетние отношения с «полууголовником». И то, что Антон — отец Лукаса. Все.

Но так ли это плохо?

— Можешь рассказать мне кое-что обо всем этом? — раздался сверху голос Фишера. Тихий и тактичный. Но, тем не менее, неприятный.

— Оставьте, наконец, ее в покое!

Мона почувствовала легкий укол в сгиб правого локтя и рискнула приоткрыть один глаз.

— Сейчас сделаем укольчик, и вам сразу же станет легче.

Спать. Это действительно хорошая идея.

— Вы знали, что собирался сделать ваш сын Хайко?

— Да.

— А почему вы не предприняли ничего? Почему не остановили его?

— Может быть, я хотела, чтобы он сделал это. Вместо меня.

— Вы были на месте убийства Штайера, Амондсена, Шаки?

— Да. Я закрыла им глаза. Роберта перевернула на спину, чтобы он еще раз посмотрел на небо.

— Откуда вы знали, когда он убьет их?

— Мне сказали голоса.

— Какие голоса?

— Они появляются у меня в голове, когда мне плохо. Они мне сказали.

— Как?

— Они сказали мне, и я последовала за ними. Голоса могут преодолеть все. Пространство, стены, расстояния. Они знают все.

— То есть эти голоса сообщали вам место и время убийства? Не более ли вероятно то, что ваш сын приходил к вам перед убийствами и сообщал вам об этом?

Лицо Фелицитас Гербер расплылось в улыбке.

— Вы меня поняли?

— Да.

— Ладно, забудьте. Это не имеет смысла. Вы знаете, что вам предъявят обвинение в соучастии?

— Да, вы уже говорили. Хорошо.

— Отлично, тогда... У меня больше нет вопросов.

— У меня есть вопрос.

— Я слушаю.

— Мне хотелось бы увидеть Хайко. Это возможно?

— К сожалению, это невозможно, госпожа Гербер. Он уже в тюрьме. Надеюсь, навсегда. Самый молодой серийный убийца в истории.

Берит, любимая, когда ты получишь это письмо, я буду либо далеко отсюда, либо мертв. Я знаю, что сейчас ты меня ненавидишь, но я клянусь тебе, что наша любовь — не обман. Это самое настоящее и правдивое, что со мной когда-либо случалось. Я использовал тебя, это правда. Я знал, что ты сдашь Даннера. Ты прямодушна и честна. Поэтому я люблю тебя. Потому что ты честна. Вся моя жизнь — сплошная ложь. Я — человек, у которого пять отцов, и из них никто не знает, что я существую. Смешно, правда? Я — человек, единственным другом которого была мать, регулярно попадавшая в сумасшедший дом. Я — конченный человек, прогнивший изнутри, как больное дерево. Я притягиваю к себе больных людей. Я искал их. И всегда находил. Я общался с ними, они делились со мной своими самыми страшными тайнами, и мне этого всегда не хватало. Хочется пережить нечто подобное.

Вот так все и началось, еще задолго до того, как я встретил Фелицитас.

Когда я увидел ее впервые, я понял, что это моя судьба. Я знал, что она все простит

мне, и это словно прорвало во мне плотину. Я знал, что есть на свете человек, который никогда не ударит меня. Это придавало мне сил, и я сделал то, что я должен был сделать.

Я знаю, Берит, что ты сейчас думаешь. Ты думаешь, что я не должен был этого делать. Ты думаешь, что жизнь каждого человека в его руках, каждый может повлиять на свою судьбу. Но это ошибка, любимая. Твоя воля ничего не стоит, твой разум — это иллюзия. Тобой, мной, всеми нами управляют чувства, происхождения которых мы не знаем, в тайны которых нам не дано проникнуть... У нас нет власти. Мы — марионетки, годные только на то, чтобы играть по готовому сценарию. К примеру: я увидел мамин гончарный круг, а рядом лежало оружие. Мое смертельное оружие. И все сложилось, казнь смогла осуществиться. Ты помнишь тот фильм про гончара, который по поручению своего предка убил всю семью с помощью гарроты? Тогда я понял, что хотели мне сказать этим фильмом. Что у меня было задание: отомстить за маму. За себя. Так должно было случиться. Только теперь я по-настоящему свободен.

Я люблю тебя. Ты была для меня как послание из лучшего мира, но мы встретились слишком поздно, когда уже многое произошло.

Если я все-таки выживу, ты никогда не услышишь обо мне, не бойся. Но ты должна знать, что я всегда буду с тобой. Даже когда мы оба будем мертвы.

Больше книг на сайте - Knigoed.net

Благодарности

Ничто не возникает без помощи, а тем более роман.

Я благодарна за компетентные советы и многое другое:

Директору одиннадцатого отделения уголовной полиции

проф. Вольфгангу Айзенмайеру с кафедры судебной медицины

Эльфи Штойерер, координатору полиции

Дорите Планге, полицейскому репортеру из «Абендцайтунг»

Йенсу Шнабелю

Катрин и Аки Рибарч

Хорсту Линдхофер

Сиси Лукшандрль и Францу Дилю

Барбаре Хайнциус, моему опытному учителю

Веронике Кройцхаге за замечательную работу с прессой

Георгу Ройхляйн, который сделал возможным все

И не в последнюю очередь моим родителям, которые всегда меня поддерживали и продолжают поддерживать.

Нельзя просто дать себя задушить какому-то молодому недоумку. Мона хрипло вскрикнула и схватила убийцу за волосы. Вцепилась в его густые волосы, потянула голову на себя и стала кричать, кричать, кричать — как ненормальная. И думала только об одном: «Я не хочу умереть так. Я НЕ ХОЧУ УМЕРЕТЬ ТАК». Почувствовала что-то горячее на правом плече. Нож. Следующий удар будет в горло. И тогда все закончится...

www.ksdbook.ru

ISBN 978-5-9910-0107-6



9 785991 001076

www.bookclub.ua

ISBN 978-966-343-689-0



9 789663 436890

Что она могла бы сделать? Но не сделать ничего хуже, чем сделать что-то неправильное. Нельзя просто дать себя задушить какому-то молодому недоумку. Мона хрипло вскрикнула и схватила убийцу за волосы. Вцепилась в его густые волосы, потянула голову на себя и стала кричать, кричать, кричать — как ненормальная. И думала только об

одном: «не хочу умереть так. Я НЕ ХОЧУ УМЕРЕТЬ ТАК». Почувствовала что-то горячее н правом плече. Нож. Следующий удар будет в горло. И тогда все закончится...

Внимание!

Текст предназначен только для предварительного ознакомительного чтения.

После ознакомления с содержанием данной книги Вам следует незамедлительно ее удалить. Сохраняя данный текст Вы несете ответственность в соответствии с законодательством. Любое коммерческое и иное использование кроме предварительного ознакомления запрещено. Публикация данных материалов не преследует за собой никакой коммерческой выгоды. Эта книга способствует профессиональному росту читателей и является рекламой бумажных изданий.

Все права на исходные материалы принадлежат соответствующим организациям и частным лицам.

| |
|-------|
| notes |
|-------|

Наслаждаться жизнью *(фр.)*. *(Здесь и далее примеч. пер.)*

Лофт — от англ. *loft* (чердак, галерея) — апартаменты, обычно большой площади, переделанные из промышленных объектов и сохраняющие стиль этих объектов.

Район Мюнхена.

Разговорное сокращение, используемое для обозначения криминальной полиции.

Музыканты, играющие на бонго — сдвоенных барабанах.

Автобан в Германии.

Район Мюнхена.

Города в Швейцарии.

Стиль живописи, при котором рисунок выглядит как кардиограмма.

Кому это выгодно? (*лат.*).

Сам по себе (*φρ.*).

Берит — шлюха. Задница Берит (*англ.*).

Ликер золотистого цвета из яблок и пшеничной водки, как правило, 18–20 % об.

На дороге в никуда *(англ.)*.

Мы — на дороге в никуда, на-на-на-наа... *(англ.)*.

Роман Джеймса А. Миченера, американского писателя (1907–1997).

Государство полностью берет на себя расходы по содержанию квартиры.

Лицом к лицу (*фр.*).

Затрагивающую легализацию наркотиков (*фр.*).

Разговор (фр.).

Берит обломалась (*англ.*).

Дословно: Заячья горка.

Европейская фирма, занимающаяся продажей дешевой мебели.

Красотка (*порт.*).